



**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

НА ЧУЖОМ ПИРУ

НА ЧУЖОМ ПИРУ

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

З В Е З Д Н Ы Й

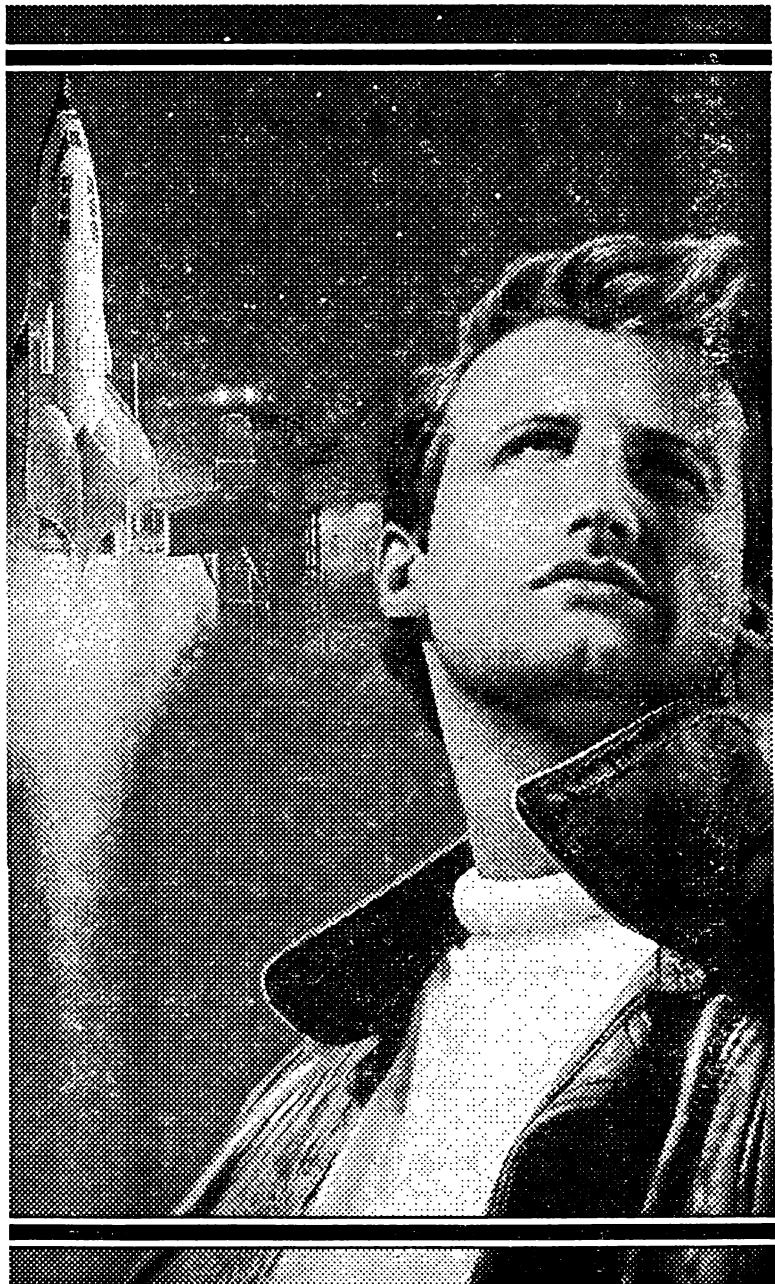
Л А Б И Р И Н Т



З В Е З Д Н Ы Й



Л А Б И Р И Н Т



ЛАБИРИНТ

ЗВЕЗДАНЫЙ

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

**НА ЧУЖОМ
ПИРУ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО **АСТ** • МОСКВА • 2000

TERRA FANTASTICA • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ББК 84 (2Рос-Рус) 6
P93

Серия основана в 1997 году

Серийное оформление Александра Кудрявцева

Дизайн книги Анатолия Нечаева

*В оформлении обложки использована работа,
предоставленная агентством Fort Ross Inc., New York.*

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству АСТ.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Рыбаков В.

P93 На чужом пиру: Фантастический роман. — М.: ООО «Фирма
«Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2000. — 400 с. —
(Звездный лабиринт).

ISBN 5-237-05438-2 (ООО «Фирма «Издательство АСТ»)
ISBN 5-7921-0312-7 (Terra Fantastica)

Можно ли написать в наше время фантастический роман о любви? А
фантастический шпионский роман? Можно — если за дело берется
Вячеслав Рыбаков.

«Очаг на башне». «Человек напротив». И вот теперь — «На чужом
пиру».

Первая книга — о прошлом. Недавнем прошлом.

Вторая — о настоящем. ТАКИМ оно могло бы стать. ТАКИМ оно не стало.

Третья книга — о том, КАКИМ стало. О недалеком будущем. Нашем с
вами — или нет?

Говорят, будто в научной фантастике уже нет новых идей?.. Вот они — в
новом романе Вячеслава Рыбакова!..

© В. Рыбаков, 2000

© Дизайн книги. А. Нечаев, 2000

© ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000

® TERRA FANTASTICA

Государь рассмеялся:

— Людей талантливых всегда достаточно. Помнишь ли ты время, когда их не было? Талант — всего лишь орудие, которое нужно уметь применять. А посему я и стараюсь привлекать к себе на службу способных людей. Ну, а коли не проявляют они своих талантов — и нечего им на свете жить! Если не казнить, то что прикажешь с ними делать?

Бань Гу

Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует... Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнях.

Протопоп Аввакум

Пролог

И я поплыл

Они помирились. Они вновь стали вместе. Я думал, это просто счастье, а это оказалась — судьба.

Я не сразу понял. Поначалу... долго... попросту млея оттого, что у меня теперь семья. Не только мама — в любви и надрыве, и всегда с закушенной губой; а семья. Мужчина и женщина, родные тебе, рядом с тобой, и любящие друг друга. Смотришь на них изо дня в день, топчешься бок о бок, и потихоньку понимаешь, как надо жить.

Тогда уже и не столь важно, что тебя — они тоже любят.

Когда тебе двадцать лет, то, что родители любят тебя, воспринимается как некий само собой разумеющийся и явно второстепенный довесок к главному, сиречь к собственной персоне и глубокомысленным размышлениям о ней. Приятный туман, дурман. Иллюзия вседозволенности. Адаптируешься к сверстникам, к миру вокруг, а к

любящим родителям можно не адаптироваться — они вне формирующей среды, для них какой угодно сойдешь.

Но основной микрэлемент, на котором растет и зреет душа, постепенно приобретает способность стать человеческой, — то, что родители любят ДРУГ ДРУГА. Только от их огня можно зажечься умением любить самому.

Наверное, именно за это — и я их полюбил. Уже не как ребенок, а как взрослый, прошедший... многое.

То есть, конечно, нельзя сказать: «за это». Любят не за что-то; за что-то конкретное полюбить невозможно, любовь — не оценка по поведению и не кубок на чемпионате. Брак может стать оценкой или кубком, даже удачный брак может стать оценкой или кубком; любовь — нет. Но можно сказать хотя бы «поэтому»? Или приверженцы разухабистой свободы, снабженные широко трактуемой и оттого донельзя удобной фразой «поскольку ветру и орлу...», сочтут, что даже простая констатация причинности унижает человеческое достоинство и ограничивает полнокровное волеизъявление да страстеизлияние? Не властны мы, дескать, в самих себе — и отвали, моя черешня. Я миленка полюбила, а наутро разлюбила. Почему да почему? Похмелюсь — тады пойму...

Но, в таком случае, уж простите, мне плевать. Поэтому. Вот ПОЭТОМУ и я их так полюбил.

Конечно, вначале пришлось тяжеловато. Можно интегрально боготворить и при всем том что ни день лезть на стенку из-за мелочей. Притирка.

Меня и то порой скручивало; нервишки после грозненской бойни и урус-мартановских зинданов, мягко говоря, оставляли желать лучшего. А уж как срывалась мама, привыкшая к беспощадно пустой свободе, к иступленному одиночеству наготове к бою, будто она единственный страж золотого запаса страны и к стражу этому кой уж год не приходит смена... не просто привыкшая — пропитавшаяся всем этим насквозь.

Только па Симагин не срывался. Огорчался, мрачнел, когда срывались мы, и чувствовалось, как у него обессилен-

но опускаются руки — да; но сам не срывался. И потому, едва-едва остыв, можно было подойти к нему и по-мужски попросить прощения: будто ничего не произошло, спросить о чем-то, или совета попросить, а потом внимать с подчеркнутым вниманием и уважением, будто мальчишка-козопас седому аксакалу, главе рода и верховному владыке табунов и отар. Это было совсем не трудно, он всегда говорил интересно и дельно, и при том — ничего лишнего.

Хотя, должен признаться, немного странно подчас.

Ну, а мама просила прощения по-женски, и если она медлила хоть на пять минут относительно минимально приемлемого для ее достоинства срока, я мысленно уже начинал подгонять ее в выражениях едва ли не окопных. И до чего же легко делалось на сердце, когда я слышал, как она торопливо шлепает, скажем, из кухни в комнату и кричит еще с порога, то ли смеясь, то ли плача: «Андрюшка, ну прости дуру! Ну милый! Столько лет одна сидела — озверела и человечью речь забыла, как Селкирк. Мы ведь это уже проходили — помнишь, молодые. Ты же знаешь, я на самом деле не такая. Спаси меня от ненастоящей меня, пожалуйста...» А потом слов было не разобрать. Они ворковали, сидя рядышком, — будто и впрямь взмывали в первый свой год, который плотным солнечным сгустком сверкал у меня в памяти — даже ярче, быть может, чем у них. По-летнему сверкал.

Лето Господне...

Из детства мне помнилось, что он — удивительный человек. И когда увидел его по прошествии этих лет, был, признаться, разочарован. Ну, приятный, ну, умный, ну, явно добряк... И лишь после первой ссоры — случилась она, к счастью, весьма скоро, и я тут не кривлю душой, потому что благодаря ей это чувство вернулось скоро; а ведь чертовски приятно чувствовать, что твоя мама живет в любви с удивительным человеком и он тебе теперь снова отец...

После первой же их ссоры я понял, что он и впрямь удивительный человек.

Потому что ни она, ни потом я не испытывали ни малейшей неловкости, когда отпраплялись мириться. Не знаю, как объяснить. Он и не кочевряжился, теща гордыню и пытаюсь продлить удовольствие момента, когда провинившиеся низшие твари ползают на коленях; но и не снисходил, давая понять, что, конечно, ладно уж, этак равнодушненько все прощу, потому что все ваши выходы мне тьфу, чего от вас иного ждать, глупая самка и ее одичавший отпрыск... Он всерьез, до отчаяния страдал от размолвок; зато, когда все вставало на свои места, сразу радовался весь.

И поэтому его особенно хотелось радовать.

Нет, кажется, не сумел объяснить. Но, думаю, кто знает, о чем я, тот поймет, а кто по этим смутным словесным наворотам не понял, — тому бесполезно объяснять, ибо тот вообще не знает, о чем речь, не ведает подобных чувств.

Вот. Он всегда был открыт навстречу. Для примирения никогда не нужно было преодолевать его. Только себя. И, стоило пересилить, скажем, гордыню и ткнуться к нему, ощущалось всей кожей, как стремительно восстанавливается треснувшее от нелепой случайности прекрасное, светлое, всем нам позарез необходимое единство.

Нет. Чем больше жую, тем хуже. И, разумеется, сразу от полной беспомощности пошел навинчивать одну красоту на другую: прекрасное, светлое... вот ведь бодяга. То ли дело помойки и умертвия описывать — сколько экспрессии! Кишки волочились поверх закопченных кирпичей, и он, еще пытаюсь бежать, отчаянно старался запихнуть их обратно... в горле распахнулся, казалось, второй рот, из которого выхлестнуло густое черное... Таким текстом можно за пару недель выстлать путь от Питера до Владивостока, а потом еще вечером — и через океан, через океан, поперек; к каменным истуканам Пасхи, им такое в самый раз. Менее физиологичным текстом этих ушастых не прошибить.

Вообще-то я решил надиктовать рассказ об определенных событиях, и только; да и то оговорил, что с утайкой, а не просто так. О тончайших движениях души — увольте. Вот вам несколько выписок из Сошникова — о текстах с его дискеты еще много будет впереди, и цитировать я буду обильно. «В мире том нет взаимоспротивления, а только — взаимопроникновение. ...Там нет никакого разделения, как на земле, там — единство в любви и целое выражает частное, а частное выражает целое... И замечают себя в других, потому что все там прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо со всех сторон.» Если верить Сошникову — я, как вы понимаете, не проверял, не до того было, — это из Плотина. Из «Мыслимой красоты», что ли...

Плотин — мастер слова, мягко говоря, покруче меня, в веках известен; но стало ли вам яснее?

То-то.

А вот с той же дискеты, но совсем из другой, казалось бы, оперы, — хотя, в сущности, о том же самом. У нас до этой степени, слава Богу, несчастья не доходили, но при любом напряге поведение родителей исчерпывающе описывалось одной-единственной фразой из японца по имени Камо-но Тёмэй. Это когда он рассказывает про жуткий голод, поразивший страну где-то там в затертом веке: «И еще бывали и совсем уже неслыханные дела: когда двое, мужчина и женщина, любили друг друга, тот, чья любовь была сильнее, умирал раньше другого. Это потому, что самого себя каждый ставил на второе место, и все, что удавалось порою получить, как милостыню, прежде всего уступал другому...»

Только вот милостыни они никогда не просили. Это уж из цитаты, как из песни, слова не выкинешь. Справлялись без милостыни, как бы ни гремела и ни ревела, как бы ни пузырилась тупая социальная стихия снаружи.

Вы представляете, как спокойно и надежно жить в такой вот семье? Сколько сил... сколько уверенности — безо всякой самоуверенности! — в сегодняшнем и даже завтрашнем дне? Насколько подвластным и не враждебным представляется будущее?

Хотя такого будущего, конечно, мне и в самом сладостном кошмаре привидеться не могло.

Я не оговорился. Кошмар-то кошмар, действительно, но до чего же я рад, что все произошло именно так. Что я хотя бы это смог! Не получается сейчас припомнить точное число тех, кому я и мои друзья вернули полноценную жизнь... да, жизнь, ведь полноценность — это не только коленки, хребет и почки-селезенки; это способность создавать, оставлять после себя НЕЧТО. Как человек потом распорядится возвращенной способностью, — его ответственность, его счастье и проклятие, но способность-то снова с ним. Ему снова есть, чем распорядиться. Двести? Сто восемьдесят? Двести сорок? Это немало. Особенно если речь всякий раз идет именно о том, для кого жизнь — это не только почки-селезенки-семенники, но и пресловутая, трижды проклятая им же самим потребность и способность оставлять после себя нечто. Немало.

Только такой мелочный, дотошный подсчет — сколько конкретных людей? сколько конкретных дел? — и дает реальную картинку. Без него столь любезные нашему сердцу масштабные препирательства и проповеди о путях развития, о социальном благоустройстве — не более чем треск сучьев в костре, который не тобою зажжен и горит не для тебя.

Даже самые убедительные проповеди. Даже те, в которые я сам поверил.

Сбился.

Не могу точно вспомнить, когда па Симагин познакомил меня с Александрой Никитишной. Для меня это произошло настолько на периферии бытия, что обратить особое внимание на кого-то одного — ну, пусть

одну — из его знакомых мне и в голову не пришло. Хотя, должен признаться, жили мы довольно замкнуто. Не то чтобы мой дом — моя крепость; скорее, мой дом — мой храм... церковь. Монастырь. Очень редко па Симагин созванивался или, тем паче, встречался с кем-то из друзей. Мама, как и положено нормальной женщине, больше нас вместе взятых висела на телефоне; встречаясь же с подругами, она чаще уходила к ним, нежели приглашала к нам. Иногда уходила одна, иногда с па Симагиным. Ну, а я тоже не спешил восстанавливать отроческие связи, прервавшиеся пару лет назад и, в сущности, совершенно стусевавшиеся перед вдруг возрожденной из пепла ослепительной жизнью в той комнате, где я когда-то был маленький мальчик, с теми же, что и тогда, папой и мамой.

На именины, что ли, он к ней с подарочным тортом поехал и взял меня с собой, коротко объяснив: она очень хороший человек, и, кроме того, мы с мамой ей многим обязаны. В смысле, не я и мама, а мама и он. Чем именно, даже не намекнул. Он ведь очень немногословен, на самом деле, мой па Симагин.

Александра Никитишна уже в ту пору была очень плоха. Совсем еще не старая, она выглядела... как это у Цветаевой о Казанове: ничего от развалины, все — от остова.

Эта женщина производила впечатление, что правда, то правда. Она могла кое-как себя обиходить и делала это с поистине фанатичным тщанием. В комнатухе — ни малейшей затхлости, ни малейшего запаха болезненно распадающегося пожилого женского тела. Накрахмаленные салфеточки, скатерочки; массивные ряды и стопы строгих и малопривлекательных для малограмотных, без рыночной размалеванности, еще не лотковых книг; а в открытую — похоже, раз и навсегда, навечно — форточку затекает бодрый воздух из крохотного дворового сквера, настоящий на мокрых осенних листьях хоть и трех с половиной, да все равно

живых деревьев. Но матерый дух табака, ввевшийся в каждую из бесчисленных скатерочек и книжек, даже эту свежесть превращал, чуть отойди от фортки, в прокуренный холод вагонного тамбура. Натужно передвигаясь, но назло падающему в смерть здоровью куря сигарету, обутую в старомодный мундштук, Александра неторопливо угостила нас прекрасно сваренным кофе. Иссохшие руки — буквально птичьи косточки, обтянутые пергаментной кожей почти уже без вен — заметно дрожали, но каким-то чудом ухитрились не проливать ни капли. Манеры, манеры! Па Симагин церемонно, всем ее действиям под стать, ее поздравил и извлек торт.

Они общались друг с другом с какой-то поразительной, ненарочитой корректностью и уважительностью, которые явно призваны были заменить им дружескую непринужденность, невозможную при очевидной разнице в возрасте и физическом состоянии. Мне это понравилось, очень

Мне сразу захотелось здесь бывать.

Па меня ей официально представил — как престарелой королеве. Она, наверно, и сама догадалась, кто есть сей вьюнош, но до официальной церемонии меня как бы не замечала. А тут приветливейшим образом улыбнулась своим иссохшим, почти уже безгубым лицом и пристально, оценивающе оглядела. Както слишком пристально. Слишком оценивающе. Чтото она про меня знала, чего я сам, быть может, не знал, — и знала, разумеется, со слов па Симагина, больше неоткуда. Потому что, когда немного позже я, словно бы невзначай, упомянул ее имя в разговоре с мамой, оказалось, что мама, хоть и знает ее имя от па Симагина, сама с нею не встречалась ни разу. Похоже, мама и не подозревала, что чем-то этой Александре Никитишне обязана. Приходилось верить па Симагину на слово. Впрочем, если ему не верить, то кому вообще?

Разумеется, со слов па Симагина... Это мне тогда разумелось. Сейчас я знаю, что ничьи слова ей не были нужны, она знала сама.

Наверное, уже в тот день она положила на меня глаз.

Любопытство во мне разыграло с первого визита. Я не мог понять, какие отношения связывают па Симагина и эту гордо умирающую почти старуху. Знакомство по бывшей работе? Не похоже. Я знал, что, когда па встряхивает своей невеликой стариной и выходит на контакт с кем-нибудь из бывших коллег, они так заводятся, что через пять минут нормальному человеку в разговоре их не понять ни слова. И на бывшую школьную учительницу не похоже. О чем говорить с бывшей учительницей? Во-первых, рассказывать о своих нынешних достижениях ей и, во-вторых, узнавать о расплзшихся по своим отдельным жизням одноклассниках от нее. Здесь этим тоже не пахло. И уж совсем невозможно было предположить, скажем, некую застарелую боковую любовь или, по крайней мере, роман, от которых, скажем, остались вполне искренние дружба и уважение. Беседа шла такая в полном и первоизданном смысле этого слова светская, что теперь даже не вспомнить, о чем говорилось. Похоже, им просто нравилось быть друг с другом — и они аккуратно, не спеша, прихлебывали кофеек и обменивались мнениями, скажем, о погоде.

О политике не было ни слова, это я помню, потому что меня это порадовало. Зато, кажется, долго говорили о травяных чаях и о том, какой сбор от чего и какой при этом вкуснее пьется. Я еще подумал тогда: а па на высоте! Хотя тема для него была... не свойственная, так мне подумалось. Во всяком случае, со мной он никогда не разговаривал о чаях. К счастью для меня; я бы такой разговор поддержать не сумел.

Где-то через час стало явным, что она устала. И от удовольствия можно устать, особенно если ты стар и

болен,— и мы начали прощаться. Но тут она затрудненно поднялась со своей старорежимной кочковатой кушетки — слышали бы вы, как в утробе кушетки трубили пружины! — прошаркала к книжным полкам и со словами: вот я вам замечательную книгу дам о лекарственных травах, вы такой теперь уже нигде не найдете, сняла с полки затертую брошюрку и протянула па Симагину. Тот уважительно принял. Александра же покосилась на меня умным круглым глазом и добавила: только с возвращением не затягивайте, видите, какая я стала. Пусть через недельку мальчик ваш мне ее занесет.

Вот так это было. Так произошло.

Здесь тоже была судьба, но уже вторая ее производная от первой, главной.

А я, разумеется, не мог этого понять и попросту обрадовался, потому что суровая ведунья мне понравилась.

Понял ли па?

Не знаю. Не спрашивал, и никогда не спрошу. Отцу таких вопросов не задают.

Иногда мне думается, что он все просчитал заранее и нарочно познакомил нас за восемь месяцев до ее смерти, четко имея то, что потом произошло, в своем дальновидном виде. Иногда мне кажется, что он попросту вел меня, а тогда, значит, не исключено, что каким-то образом вел и дальше и, возможно, ведет до сих пор.

А иногда мне кажется, что думать так — просто паранойя.

А иногда — что конечно же, ведет, что он все для меня расчислил на годы и десятилетия, и это — ошеломляющее унижение, словно я живу свою жизнь не сам, а по программе, которую беспардонно составил для меня и нечувствительным образом в меня вложил один из самых любимых мною людей.

А еще иногда — что ничего тут зазорного и чудовищного нет; чем грешен отец, который не силком, а незаметно, неосязуемым дуновением в локоть помогает

сыну избрать направление жизни — настолько неназойливо и тактично, настолько невзначай, что даже по прошествии лет невозможно с уверенностью сказать, сделал он это или не сделал? И если сделал, то ведь — спасибо с поясным поклоном, потому что все сложилось, повторяю, как нельзя лучше, сладостным кошмаром!

Молодость — время прицеливания. Это интереснее всего — выбирать себе цель; и это легче всего, ведь тянуться к уже избранной цели гораздо труднее. Вдобавок, чувство свободы выбора удесятерит иллюзию широты возможностей и прав. Куда бабахнуть жизнью, во что? А потом только летишь по инерционной траектории, выстреленный много лет назад, и, как болванка, ни на какую свободу не способен; только валишься, валишься вниз, от секунды к секунде все более на излете... Вперед, но вниз. Ни вправо, ни влево. И любой успех, как бы далеко ты ни улетел, сколько бы ни сорвал восхищения и зависти, для тебя самого свидетельствует лишь об одном: все, ты уже попал в цель и дальше лететь некуда, инерция иссякла. Попал — значит упал.

Но стократ хуже так и прожить всю жизнь с разбегающимися от обилия целей глазами, упоенно вода из стороны в сторону дулом своего бытия, но так и не решившись нажать на спусковой крючок.

Чем же он виноват передо мной, если и впрямь как-то спровоцировал обретение мною преимуществ? Ведь я смог выбрать такое, чего никто не мог, кроме меня. Мог выбрать многое другое, обыкновенное, хотя тоже обогащенное преимуществами, но мог выбрать то, чего вообще не мог никто, — и выбрал именно это.

И смог полететь по выбранной траектории куда дальше, чем смог бы кто-либо иной, и еще неизвестно, как далеко улечу, — я, вы знаете, далек от мысли, что уже попал и упал. Хотя положение мое нынче... да. Противоречиво и прекрасно.

Спасибо, па.

Однако, если подумать спокойно, ты тут ни при чем. Невозможно это, как ни крути. Откуда тебе было знать? Просто так сложилось.

Наверное, пролог следовало назвать «Дар Александры». Но немного вычурно звучит, нет?

Словом, я побывал у нее раз, потом два, потом три. Иногда бегал для нее в магазин, иногда — в аптеку.

Заболтался, кажется. Это все еще только преамбула. Не нужны пока подробности, не нужны, они лишь мне самому ценны и важны... например, то, как странно было приходиться и всякий раз в первые две-три минуты, по контрасту с предыдущей встречей, понимать, что она буквально тает на глазах, но тут же забывать об этом, потому что она сохраняла достоинство, уважительность, ясность рассудка, остроумие... Мне было интересно с ней. Для меня она оказалась единственным и последним осколком целой эпохи, эпохи поразительной и, в сущности, таинственной — Ленинграда двадцатых-тридцатых годов, кое-как сохранявшего то ли традиции, то ли атавизмы рабочего Петербурга царских времен. Традиции не дворцов и особняков, опупевших от столоверчения, разврата и кокаина, взрастивших на сих благодатных китах так называемый Серебряный век, — но великих заводов и блистательных лабораторий и КБ. Ленинград, оказывается, ухитрялся сохранять их и при Зиновьеве, и при Кирове, даже до войны донес, и никак не удавалось заменить их на систему ценностей грозной толпы перепуганных одиночек, насаждавшуюся скрупулезно и кроваво... но тут Гитлер помог; а потом так просто оказалось не давать возвращаться домой тем, кто был именно отсюда эвакуирован широкой россыпью, зато щедро дарить пропуску кому ни попадя, кого прислали восстанавливать руины.

Да. Вот в основном об этом мы и беседовали. О системах ценностей, скажем так.

Никакая, оказывается, не дворянка она была со своей аскетичной статью, изысканной речью, строгими одежаниями, потрясающим пониманием человеческой души и вечной сигаретой в мундштуке, и вовсе не косила под салонных графинь, как показалось мне поначалу. Наследница династии мастеров и квалифицированных рабочих, вот смех-то по нашим временам! И, похоже, этой династии суждено было на ней пресечься, потому что хоть и был у нее где-то сын, но общались они редко и безо всякого, мягко говоря, душевного подъема. Как я понял — толстолобик в малиновом пиджаке.

На хилых, но упорных тополях под окошком распускались клейкие листья, и бесчисленные алые сережки увесисто болтались на ветвях, будто зардевшиеся от стыда лохматые гусеницы, — когда мы виделись в последний раз.

Каюсь, у меня и в мыслях не было, что этот раз — действительно последний. Я уже привык к тому, что она больна. Мне казалось, что так будет вечно. Мне даже в голову не приходило, насколько она сама-то устала, измучилась даже и, в сущности, заждалась.

Но я быстро ощутил, что обычного разговора не получится. Ее железное самообладание дало трещину, и лихорадка возбуждения лучилась наружу. И речь ее стала бессвязной и торопливой, — посторонний человек и не заметил бы изменений, но я уже не был посторонним, мне было с чем сравнивать.

Ни с того ни с сего она заговорила о том, как мало мы знаем даже о самых близких и самых любимых людях, как плохо их понимаем; как было бы чудесно, если бы мы проникали в чувства и настроения ближних. Я, в общем, поддакивал; я и впрямь был с нею согласен. И она это почувствовала, конечно. Уверен, она давным-давно сообразила, что в глубине души я сам чувствую потребность понимать и ощущать больше. Нет, нет, старательно подчеркивала она, конечно,

мысли читать нельзя, это хамство, это мерзость, это сплошное Гипеу... так забавно в просторечии двадцатых преобразилась знаменитая аббревиатура ГПУ, я это уже знал. Не конкретная информация, но состояние, ощущение, настроение, отношение. Образ.

А потом, уже откровенно спеша, спросила в лоб: ты бы так хотел?

Мне даже в голову не пришло насторожиться. Если бы двадцатилетнего парня спросили, хочет ли он уметь летать или плавать под водой, как рыба, — причем спросили не в лаборатории, где угрожающе поблескивают жутенькие приборы и инструменты для какого-нибудь там хирургического обрыбления... я пересадил ему жабры молодой акулы, как выражался доктор Сальватор... а попросту, за кофейком со сливками, в обыкновенной комнатенке, полной книг и горькой от табака, а за стеной гикают и скачут под небогатый руладами рэп соседи по коммуналке... Кто бы ответил «нет»?

Хотя, положив руку на сердце, если бы я что-то заподозрил, если бы хоть на миг вообразил, что разговор идет всерьез...

Боюсь, я ответил бы «да» еще проворней.

Правда хотел бы? И она плеснула мне в глаза возбужденным, страстно ждущим согласия взглядом.

Ну конечно, мечтательно ответил я.

У тебя чудесный отец, осторожно сказала она. Вот уж с чем я согласился мгновенно и безо всякой задней мысли. Но он — где-то за облаками, мне даже подумать страшно, где. Ты похож на него, такой же чистый. Но — ты при всем том здешний, ты на земле, значит, тебе нужнее. Я помотал головой; я не понимал. А она завела сызнова: у тебя замечательный отец. Но даже самому замечательному отцу не обязательно говорить все. Я с ним не советовалась и не уверена, что он бы меня теперь одобрил. А мне это нужно позарез. Не хочу, чтобы это на мне прервалось. Поэтому не говори ему.

Вот тут я в первый раз подумал, что она не в себе и, быть может, даже бредит. Спросил еще, дуралей: как вы себя чувствуете? Вы не устали? Может, дескать, мне уйти, и договорим в другой раз?

Как чувствую? Умираю, решительно ответила она. И другого раза не будет.

Эти слова лишь уверили меня в том, что она действительно бредит.

Но прощаться мы не станем, продолжала она торопливо, а вместо этого займемся делом. Нам лучшим памятником будет построенный в боях социализм. И она засмеялась коротко и хрипло — будто придушенно каркнула несколько раз. Я подумал, что это цитата, но не знал, откуда, и почему-то именно в тот момент собственная серость меня редкостно раздосадовала. Дай сюда руки. Я повиновался. А что было делать? Сказавши «а», нельзя не сказать «б». Да и как откажешь человеку, который в таком состоянии? Уважаемому тобою человеку, глубоко симпатичному тебе человеку... Вот так, вот сюда прижми пальцы. А я тебе свои — вот так. Не дергайся. Теперь смотри мне в глаза. Смотри, смотри... попробуй почувствовать, где мне больно. В глубине ее зрачков пылало по какому-то Чернобылю; где-то далеко-далеко окнами ада рдели раскаленные, излучающие безумные дозы осколки твэлов. У меня мурашки побежали по коже. Ну? Постарайся! Где? Мне ведь очень больно, Антон! Очень! Где?!!

Трудно описать... Как если бы я, скажем, в болотных сапогах бродил по колено в ледяной воде, и ноги, сухие и вполне прикрытые плотной резиной, все же стынут, — но вот где-то резина разъехалась, и понимаешь сразу, мгновенно, в какой именно точке стынь от воды за тканью сменилась мокрым холодом воды, попавшей внутрь. Я дернулся, кажется, ахнул даже. Попытался пальцем показать, куда воткнулся грызущий сгусток, — но она закричала страшно: не отнимай пальцев! Теперь почувствуй остальное!

И я почувствовал.

Наверно, труднее всего совершить изначальный, иницирующий прорыв той пелены, что спасает людей друг от друга. Затем она делается податливее. И Александра безошибочно избрала для прорыва свое страдание и мое сострадание.

Потом пошло легче, а потом — и совсем само собой.

Она устало уронила руки и откинулась без сил. Глаза ее закрылись. Вот такой дар, прошелестела она едва слышно. Мне он достался сам собой, не знаю, почему и как. Но я не могла допустить, чтобы вместе со мной он пропал.

И замолчала.

А я уже все чувствовал, она могла бы не говорить.

И поцеловал ее легкую и сухую, будто птичью, сморщенную руку.

Потом я почувствовал: она уже хочет быть одна. Все сделано, все кончилось, и человеческие привязанности остались там, где остается жизнь. Но она молчала, а я еще не привык вот так, без слов. Вы устали, нелепо пролепетал я. Я, наверное, уже пойду теперь, а завтра обязательно снова... проведать...

И почувствовал: она благодарна мне за то, что я понял. А еще почувствовал, что она чувствует про завтра.

Ничего.

Я действительно прибежал назавтра, даже раньше обычного. Но смог лишь удостовериться — другого слова не подберешь, ведь я чувствовал это, только еще не научился доверять своим откровениям, — что она умерла ночью.

На похороны мы пошли все втроем, там мама впервые, уже в гробу, увидела ту, которой, по словам па Симагина, они были так обязаны. Но я уже не был в полном недоумении; я уже что-то чувствовал от па — некую смутную, подспудную благодарность за то, что, если бы не Александра, они с мамой не помирились бы год назад. Почему так произошло? Я не мог уловить.

Но и этого было достаточно, чтобы... чтобы... Чтобы помнить ее всю жизнь, даже если бы не было ЭТОГО дара. Был другой дар — семья, а все остальное — производные от него. Я долго прижимался губами к ее восковому лбу, а окружающие, я чувствовал, недоумевали, кто я такой и чего ради этак выкаблучиваюсь — внебрачный сын, что ли?

Худошавый камергер шепнул, что этот молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: О?

М-да.

На похоронах я увиделся с ее сыном. Действительно толстолобик. Как это так получается? У нее — такой... Загадочно. Он был очень встревожен тем, что я увиваюсь вокруг; он, оказывается, знал, что я у нее бываю, и сильно подозревал, что я либо хочу спереть что-то, либо за комнатой охочусь. На какое-то мгновение мы встретились взглядами, и я почувствовал, что вот в эту самую секунду он решается решительно пойти ко мне и заявить, что я напрасно трачу время, все документы на жилплощадь у него прекрасно и однозначно оформлены. Я повернулся спиной.

Но это было через три дня — а в тот первый вечер...

На улице был просто кошмар, в какой-то момент я всерьез испугался, что не выдержу и спячу. И одергивал себя: она-то выдерживала, выдерживала годами и десятилетиями этот гам, какофонию налетающих вихрями, способных с ног свалить страхов, вожделений, похотей, нетерпений, подозрений... не перечислить, чего еще. Хаос.

По большей части, хаос отвратительный.

А дома...

Вы можете представить, что это: понимать про любимых родителей столько?

Нет, ничего не буду говорить.

Нет, одно скажу. Про па Симагина.

Он был совсем не весь здесь.

Правильно Александра сказала: где-то за облаками, страшно представить, где. В какой-то душной тугой мгле и духоте, зажат и стиснут, и неподвижен — странно, ведь здесь, у нас на глазах, он ходит, садится, наливает чай. Насильственно неподвижен, будто связан, и задыхается все время. Я не мог понять, что это значит, только чувствовал — и мне было страшно за него.

Он ни с кем не мог об этом поговорить.

Он спорил, балагурил, шутил, смеялся... с мамой они любили друг друга и могли беседовать о многом таком, о чем нельзя было со мной, — но об этой главной для него боли, главной муке, главном несчастье ему не с кем было даже словом перемолвиться.

Это открытие потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем сам свалившийся с небес невероятный дар.

И, по-моему, он не принимал этого мира. Напрочь. Будто возможен другой!

Прежде я всегда был уверен, что другой мир — это нелепость, потому что, если бы мир вдруг изменился, мы не заметили бы изменений. Мысли и чувства, претензии и надежды остались бы, по сути, теми же самыми.

Мир меняется лишь тогда, когда ты сам его меняешь.

Конечно, существуют объективные характеристики. Уровень рождаемости и уровень смертности, средняя продолжительность жизни и средний доход. Но если бы в том обществе, где продолжительность жизни в среднем на десять процентов больше, люди в среднем ощущали себя на десять процентов счастливее... Ничуть не бывало!

Хотя все это к слову.

Открытие меня потрясло. Буквально душу вывернуло. Любя нас, переживая за нас, и вообще живя вместе с нами, я же знаю, что не вчуже, а вместе, — он висит, спеленатый натуго, в каком-то черном аду.

Мне захотелось его обнять.

Но было нельзя. Ведь нельзя было дать понять, что я почувствовал.

Правда, мне казалось, он и без того что-то понял. И, когда мы, уютненько уютившись втроем вокруг стола и болтая о пустяках, пили чай вприкуску с крэнделем и вприглядку с каким-то импортным дюдиком из не очень дебильных, посматривал на меня особенно выжидательно.

Мне захотелось ему помочь.

Но было непонятно, как. Другой мир, другой мир...

Мне ли не помнить, как десяток лет назад он увлеченно рассказывал о светлом будущем, как он радовался и нас радовал своими грезами... Смешно.

А та душная мгла отчасти и была — утрата способности грезить.

И мне захотелось вернуть ему эту способность. Прежде всего — ему, кого я любил. Ни о ком ином я тогда не думал.

Но это тоже была судьба. Третья производная. Дальше уже пошла прямая. Прицеливание кончилось, начался выстрел.

А в тот вечер, когда мама с традиционной, даже ритуальной стыдливостью спряталась от нас на кухне покурить, и мы вдвоем остались созерцать скачущих сквозь напальмовое пламя мордобойцев, я сказал только: па, а ведь мне много дано, оказывается. Верю, ответил он. Значит, сказал я, и спрошено будет много. Тогда, серьезно ответил он, тебе надо срочно становиться мастером одиночного плавания. Потому что, как правило, люди вполне удовлетворяются, если им много дано, и о второй стороне этой карусели предпочитают не думать, — значит, коль скоро ты об этом задумался, ты уже оказался в изоляции. Я переспросил: одиночного, ты уверен?

Он помолчал, и я почувствовал, что он, поняв меня несколько превратно и решив, что я намекаю в первую очередь на него самого, остро переживает свое не

вполне для меня вразумительное бессилие. Я не смогу помогать тебе так, как хотел бы, сказал он честно. Надорвался в свое время, прости. А тут еще телевизор, газеты, разговоры кругом — и от всего, что видишь и слышишь, сам все виноватей и виноватей. Как будто всех убитых я убил, всех ограбленных я ограбил, все утраченное я расточил...

Странный был разговор.

Я его понимал едва-едва, да почти и не понимал. И он меня почти не понимал. Но какой-то энергией, каким-то единством мы заряжали друг друга. Противников с возможностями, превышающими обычные человеческие, у тебя не будет, сказал он, помолчав. Хотя бы это могу тебе гарантировать. Тут уж я совсем опешил. А он добавил будто нехотя, на самом же деле просто стесняясь хвастаться: в свое время мне удалось... и дальше опять замолчал. И, помолчав, лишь повторил: учись рассчитывать только на себя. Но я хлестко ощутил в нем отголосок некой чудовищной, и, что самое поразительное,— совсем недавней, битвы... мамин ужас мелькнул, тревога, что меня нет. Странно, в маме я этого совсем не чувствовал. Я едва не спросил его, но сдержался. Таких вопросов отцу не задают.

И другие миры там мелькнули. Которых, как я всегда считал, быть не может.

Хорошо рассчитывать только на себя, подумал я, если тупо уверен, что твоя правота — самая правая, а твоя совесть — самая чистая... Единственно правая и единственно чистая. Но если нет такой уверенности? Если и к чужой правоте, и к соседской совести относишься с уважением и доверием?

Хорошо, когда уверен, что выше тебя нет никого. Никого, кто глядел бы не СВЫСОКА, а именно С ВЫСОТЫ, сверху, точно зная, что происходит в каждый данный момент в иных, невидимых тебе, но туго сплетенных с твоими жилах и капиллярах невообразимо огромного организма жизни...

Ну что ж, сказал я и улыбнулся, делая вид, что понял и принял его слова как юмор. Хотя, сказать по совести, был совсем не уверен, что это юмор или даже просто какое-то иносказание, метафора. Сверхчеловеческих противников не будет — редкий случай. Обычно они кишмя кишат. Будем считать, мне здорово повезло, что у меня такой заботливый родитель.

Тогда пльиви, сказал он.

И я поплыл.

1. Последний осмысленный разговор с Сошниковым

— Знаете, я сильно подозреваю, что в шестидесятых и семидесятых годах архитекторы планировали размеры кухонь, руководствуясь исключительно какой-нибудь, например, закрытой директивой КГБ пресечь кухонные антисоветские разговоры. Проще пареной репы — сделать кухню такой, чтобы больше одного человека там уже не помещалось. И конец диспутам... А, ну вы, вероятно, не помните тех времен...

— Да, не застал.

— Я все забываю, что вы человек следующего поколения. Все ловлю себя, что отношусь к вам, как к... э-э... ровеснику. Странно, правда?

— Но я понимаю, о чем речь, — отвечал я, осторожно усаживаясь на табуреточку и экономно распределяя колени под столом, на котором каким-то чудом уже поместились две чашки, розетка с вареньем, заварочный чайник, сахарница... Марианна, подожди пятку! Поджал. Обе. Все равно колени уперлись в противостоящую табуреточку; она, словно бы сама собой, легковесно скрипя по линолеуму пола, выплыла из-под стола и уперлась Сошникову в ноги. Сошников чуть отступил и с привычной осторожностью, чтобы не воткнуться локтем в стену или в навесной шкафчик, снял с огня чайник.

В эту однокомнатную живопырку на Ветеранов он перебрался после размена, закономерным образом последовавшего за разводом пять лет назад.

— А ничего,— приговаривал он.— Поместимся. Всегда помещались, и теперь поместимся. А скоро я с этой клетушкой распрощаюсь навсегда, хотя... Жалко. Не представляю, как без нее. Вот потому мне и захотелось с вами именно здесь повстречаться напоследок. Вы знаете... Не знаете, наверное... А может, все ж таки по пятьдесят?

— Ради Бога,— отвечивал я, делая широкий жест рукой.— Только без меня. Я совсем не пью.

— Жил в Японии в восьмом веке поэт Отомо Табито,— нерешительно сказал Сошников.— Большой певец винопития. Среди его стихов есть такой: Как же противен Умник, до вина Не охочий! Поглядишь на него — Обезьяна какая-то...

И виновато хихикнул, замерев с чайником в руке и глядя на меня чуть искоса и с опасливым ожиданием. Я засмеялся, а потом несколько раз нечеловечески гыкнул и рьяно, обеими руками, почесался под мышками, подпрыгивая на табурете,— все на манер обезьяны из «Полосатого рейса», который после очередного многолетнего перерыва опять вдруг вспомнили и за каких-то полгода трижды или четырежды прокрутили по разным программам. На лице Сошникова проступило облегчение, и он засмеялся теперь от всей души, легко и безмятежно, как ребенок.

— Надо же...— будто сам себе удивляясь, проговорил он.— Еще пару месяцев назад я бы и не посмел... Если бы даже и смог вовремя сообразить пошутить, сразу себе рот зажал бы из страха обидеть собеседника неумным, грубым, хамским... выпадом. И в итоге со мной всем было скучно. Зато я на всех обижался, кто шутил... А вот ничего страшного...— Он напряженно и оттого неловко, до смерти боясь брызнуть горячим, разлил кипяток по чашкам.— Как интересно усилилась

поляризация привычек и образов жизни в вашем поколении,— избавившись от чайника, он тоже принялся усаживаться, явно очень опасаясь задеть, сбить, разбить, пролить, ошпарить... Он усаживался как бы поэтапно, по складам; в том числе и в буквальном смысле этого слова — складываясь, будто складной метр. Но в конце концов мы торкнулись коленками друг об друга, и он перепуганно крутнулся на табуретке на пол-оборота влево.— В наше время понемногу пили, понемногу не пили, в среднем одинаково. А теперь, если уж не пьют или не курят,— то железно, стопроцентно. Будто назло себе и всем окружающим. Ни глотка, ни сигаретки. А уж если курят и пьют, то...

— От всей души! — понимающе сказал я. Он засмеялся.

— Вот именно. И так во всем. Казалось бы, та усредняющая сила, которая заведовала нами в советское время, на еду, питье и курево не распространялась, ей это было все равно. И, тем не менее, усреднение сказывалось даже в неподведомственных ей областях... Много болтаю, да? Социолог на холостом ходу. Уже и незачем, уже и самому незачем, а башка все жужжит...

— Ну, будет вам, честное слово.

— Нет-нет, это я не грущу,— задумчиво проговорил он.— Просто... Фантомные боли. Варенья положи-те себе...

Я положил себе варенья.

— Я почему хотел по пятьдесят? Чисто символически. Ведь под чай у нас тосты произносить как-то не принято... а я хотел...

Да, за последние несколько месяцев он сильно изменился к лучшему. Говорил он застенчиво и сбивчиво, но это не шло ни в какое сравнение со спертой, подавленной речью, что характерна была для него в ту пору, когда я как бы случайно познакомился с ним в метро. Это была удивительная речь. Его неуверенность в себе

дошла до того, что, едва открыв рот, он тут же сам себя одергивал: наверное, меня неинтересно слушать, наверное, я порю ерунду. Все, что я говорю, — невпопад, все — банальность, глупость или неправда. Что бы я ни говорил, — слушать не станут; обязательно прервут или перебьют, не запомнят и не поймут. Что бы я ни пообещал, я исполнить не сумею, у меня не получится, как бы я ни старался, и я окажусь обманщик.

И он то и дело обрывал себя на середине фразы или, выговорив несколько совсем не шутливых слов, вдруг начинал приглашающе похохатывать над сказанным, сам заблаговременно предлагая собеседнику не относиться к услышанному всерьез... С ним очень тяжело было тогда.

Он даже двигался так, словно был уверен: шагну и упаду... попытаюсь взять и выроню... понесу и не донесу...

А теперь от всего этого осталась лишь некая легкая и даже обаятельная академическая неуклюжесть.

Жизнь, конечно, у всех не сахар, — но этот человек удесятирил ее давление, буквально расплужив себя завышением требований к себе. Буквально отжав из себя все соки по принципу «кисонька, еще тридцать капель!» Если ты всегда сам устало и безнадежно разочарован тем, что сумел и смог, потому что считал себя обязанным сделать вдесятеро больше и лучше, — не надорваться невозможно, в каких бы идеальных и тепличных условиях ни жил; пусть хоть теплица, но радости ничто не доставляет, только раздражение. А ведь реальность — ох, не теплица; и если ты вечно видишь себя недодавшим, недодарившим, недоделавшим, — все вокруг с превеликим удовольствием именно так и будут к тебе относиться: да, ТЫ недодал!.. ТЫ недоделал! У ТЕБЯ не получилось, у ТЕБЯ не удалось!

А был талантлив.

И, надеюсь, снова стал.

— Я не знаю, в чем тут дело... — говорил он. — Я вообще очень давно, буквально с юности, ни разу не сходилась так с новыми людьми, как сошелся с вами. И почему-то... может быть, это совпадение... то есть конечно же, совпадение! Но именно с того времени, как мы познакомились, у меня все пошло иначе. Лучше. Правильнее. Не исключено, конечно, что и те три сеанса в вашем «Сеятеле» помогли, вы так на них настаивали... но, откровенно говоря, думаю, дело не в них. Я будто опять начал дышать по-настоящему, кислородом, что ли, а не угаром, от которого задыхался так долго...

Задыхался. Какая избитая метафора. Но я опять вспомнил ту вязкую душную тьму, в которой ощутил па Симагина в первый вечер эры подарка Александры. Не метафора это. Если тело дышит, то почему не предположить, что душа тоже должна дышать?

И если ей дышать нечем, человек задыхается.

— Понимаете?

Еще бы мне не понимать. Мы протащили его через шестнадцать психотерапевтических горловин, через первые — буквально волоком, за уши и за шкуру...

Как я за это взялся? Как мне пришло это в голову и как я сумел это реализовать?

Нужны были организаторские и почти мафиозные таланты, унаследованные мною, вероятно, от моего спермофазера, во времена моего зачатия — факультетского комсомольского вождя, а нынче — то ли еще директора какого-то банка, то ли уже покойника. Внахлест с ними — благоприобретенная от па Симагина твердокаменная любовь к людям, спокойная и без самолюбования, без отбора «этот достоин, а этот нет», не ориентированная ни на гласность, ни, тем более, на благодарность; способная довести хоть до полного одиночества, хоть до мизантропии, хоть до противопоставления себя всему человечеству, ежели оно вдруг возжелает гармонии именно на слезинке ребенка, а не просто так. И оба реагента следовало хорошенько пропарить в одном,

так сказать, флаконе. В чеченской яме. А потом — один вечер посидеть с тихо стареющим, насмерть усталым человеком, которого любишь, и захотеть ему помочь.

Частный психотерапевтический кабинет «Сеятель». Было во времена былинные, помнится, такое издательство — «Посев». Уж не знаю, чего оно тут насеяло, сколько злаков, а сколько, наоборот, плевелов, — что сделано, то сделано; дело давнее. Мы не претендовали на то, что сеем МЫ. Мы занимались теми, кто способен сеять САМ, но у кого перестало получаться. Восстановление творческих способностей, скромно значилось в проспектах и пресс-релизах; к услугам теле- и радиорекламы, равно как к любой иной шумихе, мы не прибегали никогда. Не нужна нам была массовость. Не тот клиент. Штат — четыре человека: психолог, бухгалтер, секретарша и директор, он же владелец, он же вся вообще, как говорили когда-то, организующая и направляющая сила. Это я.

Аутотренинг, ролевые игры, индивидуальные программы домашних упражнений... Я спокоен, я абсолютно спокоен, у меня все хорошо, я уверен в себе... Все, как у людей.

Это — крыша. И одновременно — предварительный фильтр. Несмотря на отсутствие широкой рекламы к нам часто приходили восстанавливать творческие способности люди, никогда и в помине их не имевшие. На кабинете мы работали со всеми, кто обращался. То были деньги.

Но.

«Вы психолог милостью Божией!» — неоднократно говорил мне Павел Иосифович, пожилой и опытный наш психотерапевт, сам нанятый мною из депрессии, из долгого простоя, в который попал, потому что не желал бессовестно играть с пациентами в гороскопы, в сглаз, в ауру. Он и не подозревал, что никакой я не психолог, просто я ЧУВСТВУЮ...

Так вот, если во время первого собеседования я понимал, что передо мною и впрямь сеятель — кем-то замученный, или надорвавшийся от непосильных нош, или отупевший от невострребованности, но все же отмеченный пресловутой искрой, тогда в дело вступали иные люди и начиналась совсем иная игра.

Когда я задним числом задумываюсь над тем, какую кашу заварил, больше всего меня изумляет, пожалуй, то, что у меня нашлись единомышленники. Нашлись, ха. Как будто они сами собой нашлись.

Их было тоже очень немного. И они не состояли в штате «Сеятеля» — наоборот, работали кто где. В «Сеятеле» о них никто и не подозревал. Один в милиции, один на заводе...

Моя жена — заканчивала аспирантуру, и именно она...

Нет, о Кире — потом. Отдельно.

А вот что говорю сразу. Я упоминаю здесь лишь тех людей и те события, без которых невозможно рассказать саму историю. И, хотя в то время мы ухитрились работать еще пятерых пациентов, вы не найдете здесь упоминаний ни о них, ни о работавших их моих друзьях. Я совершенно не собираюсь засвечивать связанных с этой, мягко говоря, эпопеей людей, которым посчастливилось так или иначе избежать огласки во время последовавшей вскоре шумихи в СМИ. Избежали — и слава Богу. Просто имейте в виду, что в те дни происходило, по крайней мере, вдвое больше событий и делалось, по крайней мере, вдвое больше дел, чем описывается здесь.

А кроме того, уж совсем не собираюсь я рассказывать, КАК именно мы работали. Во-первых, методики формирования последовательностей психотерапевтических горловин — моя интеллектуальная собственность. Во-вторых, сколько мне известно, — за ними и без того идет напряженная и мне совершенно не симпатичная охота.

Пользуюсь случаем еще раз заверить охотников — исчерпывающей информацией никто, кроме меня, не располагает. Более того, — никто, кроме меня, не сможет ею осмысленно пользоваться. Александра, вероятно, смогла бы, — но Александры, светлая ей память, нет. Так что можете не суетиться.

Вкратце. Патологическое — не возрастное, не органическое, именно психопатологическое — угасание творческих способностей в девяноста случаях из ста обусловлено утратой уверенности в себе. Компенсирующим эту утрату оптимальным воздействием опять-таки в девяноста случаях из ста является провоцирование в жизни пациента необходимости помочь кому-то, кто пациенту дорог, причем желательно в некоей весьма сложной, даже экстремальной ситуации. Как ни парадоксально — впрочем, Гамлет говаривал: раньше это считалось парадоксом, а теперь доказано, — для психики человека гораздо полезнее, когда он помог кому-то, нежели когда помогли ему. Почему-то силы прибывают именно от первого, а не от второго. Хотя по элементарному закону сохранения энергии должно бы быть наоборот — один передал энергию, другой ее получил; но в мире душ все сложнее. Кто истратил энергию, тот и обогатился ею вдвое; а кто воспользовался, — тот, зачастую, потерял. И мы, как некие тайные агенты, разыгрывали вокруг ничего не подозревающих людей целые спектакли длительностью иногда до нескольких месяцев, в десятках, а то и в два десятка актов — мы называли их горловинами, поскольку конструировались они так, чтобы человек, угодив в некую коллизию, мог выкарабкаться, лишь совершив тот единственный поступок, который был ему, так сказать, рецептурно прописан, в противном же случае ситуация подвисала на неопределенный срок.

Иногда мне думалось: вот бы всю страну протащить через серию психотерапевтических горловин...

Но я тут же одергивал себя: увы, на такое способен только Бог. Если он есть, разумеется. А если есть, то, похоже, серия эта уже состоялась,— и страна не выдержала. Застрыла в очередной горловине, не в состоянии отыскать спасительный поступок, который выволок бы ее на простор, дал бы силы...

Или не в состоянии на этот поступок решиться.

Впрочем, возможно, дело в том, что горловинные методики пасуют, если пациент никого не любит, кроме себя. Его нечем напрячь. А что внешнее по отношению к себе может любить целая страна?

На уровне индивидуальном все, конечно, проще. Когда меня спрашивали, как в двух словах определить алгоритм поиска выхода из горловины, я отшучивался: выход всегда посредине; иди прямо, дескать, и упруешься. Вот только история живет в неевклидовом пространстве. Стоит возникнуть невиданному прежде центру тяготения, источнику новой энергии,— и мировые линии скручиваются в отчаянно напряженные, перепутанные пружины, и не разобрать уже, где прямая, а где кривая...

И вот тут я свои философствования всегда обрывал, потому что, когда вместо конкретного планирования начинается суета и блудомыслие насчет тождественности прямых и кривых,— пора мыть окна и пылесосить книги.

В итоге наших спецопераций, как правило, происходило вот что: пациент, усталый, но довольный, вытирал пот со лба и, счастливо отдуваясь, говорил себе: ай да я молодец! Никто бы не справился, а я справился!

Дать человеку почувствовать себя этаким Гарун-аль-Рашидом. Пусть ненадолго. Пусть микрорайонного масштаба. Забавно, но масштаб на интенсивности переживаний не сказывается. Масштаб под характер подбирать надо. Тот, кто спас дворнягу от злых мальчишек, может раздуться от гордости и ощущения своей незаменимости для мироздания покруче того, кто спас набитый под завязку пассажирский лайнер.

И откуда ни возьмись, в давно, казалось бы, сошедших извилинах вновь начинают заводиться и ползать мысли.

Что нам и требовалось.

Забавно, что попутно я и Бориса Иосифовича поднял после его простоя и депрессии. При комплексном применении методик — обычной кабинетной и горловинной — он, о второй-то ни малейшего представления не имея, но отмечая, как его пациенты буквально на глазах, за считанные сеансы становятся новыми людьми, — сам буквально на глазах расцвел и окреп, и сделался психологом гигантской силы и высочайшей квалификации. Просто потому, что к нему вернулась уверенность в себе. Может быть, достигла такого уровня, какого прежде у него и не было никогда. И поскольку он был хорошим человеком и хорошим специалистом, пошла она не в самодовольство, а в качество работы.

Вот только к па Симагину сию панацею оказалось невозможно применить; учуяв это в свое время, я грустил долго и мучительно. И с уверенностью в себе у него дела обстояли отнюдь не провально, и в стимуляции типа «во я, блин, даю» он не нуждался. Какой огонь в нем погас и почему, — я так и не смог понять.

И погас ли...

Сошников же был сейчас уверен, что всем преподавателям судьбы назло сумел воспользоваться своими старыми академическими связями, пробудить в прежних коллегах прежнее к себе уважение и помочь любимой дочери поступить на вдруг ставший ей позарез желанным — тоже не без нашего неявного влияния — факультет. Чего произойти, строго говоря, на самом деле никак не могло.

Пикантность ситуационного ряда заключалась в том, что жена и дочь давным-давно с Сошниковым не жили и, более того, бывшая супруга не разрешала ему с дочкой видаться — совсем как в свое время мама не разрешала мне видаться с па Симагиным. Конечно, сходство

чисто формальное; Сошниковская благоверная была на самом деле редкостная стерва. Хотя, положи руку на сердце, должен признать: Сошников сам способствовал ее превращению в стерву, буквально растлив обыкновенную, не шибко паршивую и не шибко замечательную тетку тем, что слишком много требовал от себя и практически ничего — от нее. Под занавес их супружества она уже запредельно боготворила себя и дочку, в грош не ставя мужа. Благодатный оказался материал для растления бескорыстием и покладистостью, чрезвычайно благодатный. Чего стоила фраза, сказанная ею на прощание: я думала, ты перспективный гений, а ты просто малахольный гений!

Вот только Сошников их по-прежнему... ну, любил, можно сказать... хотя, по глубокому моему убеждению, задавленный самим собой и жизнью человек не способен на столь энергичное и размашистое чувство, как любовь; но, во всяком случае, ему фатально не хватало возможности что-то ДЛЯ НИХ ДЕЛАТЬ. Он, похоже, и сам не отдавал себе в этом отчета, относя свою апатию на ситуацию в стране, на отсутствие общественного уважения к науке и мышлению вообще, и все это, безусловно, были вполне реальные факторы, что правда, то правда,— но, чем дольше он не мог ничего делать для оторвавшейся семьи, тем глубже проваливался в яму самоуничтожения и утрачивал способность делать вообще что бы то ни было.

Поначалу, непосредственно после разрыва, он превратил себя буквально в мальчика на побегушках у своих дам — дочке тогда было двенадцать. Некоторое время бывшую жену это даже устраивало, но был-то он совсем не ушлый; ну, в прачечную для нее сбегает, ну, квартиру ей пропылесосит... от него не быт, а душу хорошо было бы подпитывать — светлый человек был, покуда не запалил, не загнал себя. И она вскоре начала снова пилить его, словно он ей так мужем и остался, за то, что он мало для них делает и по большому счету ничего, в сущности,

не может дать семье. Она инстинктивно нащупала совершенно безошибочную тактику: поддерживать в нем постоянное чувство вины перед ними. Виноватый не имеет никаких прав и несет все обязанности; она же не имела никаких обязанностей и имела все права. В конце концов он не выдержал и сорвался с крючка, то есть, ни слова не говоря, перестал вообще появляться на их горизонте, — чем, по правде говоря, совсем их не огорчил, жена месяца полтора ходила злая и разобиженная на подлеца (я всегда, всегда знала, что он подлец — он подлецом и оказался!), но этим ее переживания и ограничились. Дочери пришлось потуже, но, в принципе, и ей было на него плевать. А он страдал до сих пор.

Вот тут мы и подросли.

Он не пришел к нам сам. Ему бы и в голову не пришло обращаться за помощью, поскольку он не находил, что утратил некие способности, а был убежден, что они у него просто были мизерные и сами вполне закономерно иссякли. Но у нас были и иные методы отслеживания тех, кто нуждается в нас. Сверкал-сверкал человек, публиковался, выступал, вызывал интерес — и внезапно стусевался куда-то. Исчезла фамилия из сетей, из оглавлений, из реферативных сборников... Стало быть, надо проверить. И я случайно познакомился с ним в метро.

Правда, потом я уговорил его и на кабинете пройти несколько сеансов, чтобы сделать его психику более восприимчивой и эластичной, динамичной, что ли... оптимизировать основное воздействие. Но денег у него было с гулькин нос, и, хотя якобы благодаря уже завязавшейся дружбе аж с самим директором мы провели его по самой льготной графе, — тремя занятиями пришлось ограничиться. Впрочем, Борис Иосифович свое дело знал, и этого хватило.

И вот Сошников опять семье помог. Да еще как!

— Мне кажется, я сумел бы сейчас работать... — говорил он, кончиком ложки бережно подцепляя себе

чуток варенья из розетки. Как будто стеснялся взять у себя свое варенье. Как будто в любой момент сам готов был негодуяюще рявкнуть на себя: обжора! — Да, собственно, что я говорю. Я уже немножко работаю... только это атавизм. Но все же разогнулся, кажется, слегка. Набрасываю на дискетку... Еще месяц назад это было бы просто невозможно. Просто невозможно. Знаете, ведь мне буквально спрятаться хотелось, в угол забиться. Чтобы никто-никто не видел, какой я... жалкий и как у меня не получается ничего... Мне же все время, если я был на глазах хоть у кого-то из знакомых, приходилось притворяться, будто я в состоянии телепатиться не хуже всех, а такое притворство хуже каторги... Да мне казалось, будто все машины двигаются так, чтобы меня задавить или перегородить мне дорогу. Всегда именно передо мною лезли без очереди... всегда именно мне в лицо чихали, сморкались, кашляли, будто я пустое место... Вот улица, идет кто-то издалека навстречу, но, именно поравнявшись со мной, вдруг, не прикрываясь даже, будто меня попросту нет, — чихает прямо мне в лицо... На лбу у меня написано, что ли, что на меня можно чихать! Что бы я ни решил — ошибочно, что бы ни выбрал — надо было наоборот, что бы ни сказал — не к месту, что бы ни попросил — проявил жуткий эгоизм. Ситуация прямо как из стругацковского «Миллиарда лет»... впрочем, вы, вероятно, не знаете... Это наше поколение их книгами зачитывалось...

— Отчего же, — ответил я, прихлебывая чай, — знаю.

Отчего же. Читывал. В свое время еще па Симагин, заметив у меня на кресле или под подушкой очередное «Кольцо тьмы», или «тумана», или «ужаса», или «жути», или еще какой-нибудь мути, говаривал: «Если уж хочешь развлекаться небылицами, читай Стругацких. Не согласишься — так хоть думать научишься. А с этими нынешними так дураком и помрешь в полной

уверенности, что по истинной жизни ты не Антон, а какой-нибудь эльф Мариколь или вовсе дракон...»

Читывал. И, пожалуй, именно оттуда между строк вычитал, почему оттепельные свободолюбцы так бездарно прогадали все на свете, когда их вынули на воздух. В том числе и самих себя. Потому что каждый из них считал себя одиноким Руматой в Арканаре. А любой соседний Румата казался не более чем каким-нибудь доном Рэбой; ну, Будахом в лучшем случае. И они, до слез умиляясь собственному дружелюбию, в пароксизмах стремления выпрыгнуть из осточертевшего одиночества пели «Возьмемся за руки, друзья», — но каждый с потаенной улыбочкой косился на соседей: а я все про вас знаю...

Правда, когда я поделился этими соображениями с па Симагиным, он неожиданно усмехнулся и прокомментировал спокойно: ну, я же говорил. Не согласился, зато задумался.

И я отполз в свой угол. Он опять оказался прав.

— А теперь это прошло, понимаете? Такой груз с души свалился... Даже если... ну и подумаешь, например, не сработал турникет — может, и не передо мной одним!

Как мало человеку надо для счастья.

Нет, тут грех иронизировать. Нормальному человеку даже близко не вообразить, какая внутренняя давящая нагрузка включается при каждом столкновении с подобной случайностью, если человек маниакально связывает ее связью причинности со свойствами собственной персоны. Можно сойти с ума. Когда мы познакомились с Сошниковым, все эти мании цвели в нем пышным цветом, — Господи, как больно было даже находиться рядом с ним!

А он жил с этим постоянно, час за часом, месяц за месяцем...

— Я никогда не был суеверен. Но как-то так получается, что в приметы, в символы какие-то... и не верю, а все-таки верю. И понимаете, Антон Антонович...

Да. Антон Антонович Токарев — это был я. Беззаветная моя мама сдала меня тому, кого любила, и по имени, и по отчеству, и по фамилии. Я не в осуждение говорю, упаси Бог; как можно вообще в таких делах осуждать мам. Она, верно, надеялась, что спермофазер рано или поздно поймет, какую ошибку совершил, ее бросив, и снизойдет — и ему сразу будет сюрприз: сына зовут, как отца, и отчество с фамилией, как у отца; то-то ненаглядному приятно и лестно станет, то-то он обрадуется!.. а может, наоборот, докатится до него, не понявшего и ушедшего, слух о моих выходных данных, — он и растает, и сообразит, как велика любовь, которой он было пренебрег, и порулит назад...

Одна из наиболее загадочных и трагичных закономерностей, по которым функционирует психика — неизбывное стремление задабривать преданностью тех, кому на нас плевать, то есть тех, перед кем мы беззащитны, и наотмашь предъявлять претензию за претензией к тем, кому мы дороги, то есть к тем, кто беззащитен перед нами. И чем порядочнее и щедрее человек, чем больше у него сохранилось веры в какие-нибудь там идеалы и прочие высшие материи, — тем, как правило, большую дань сему извращению он платит.

В этом смысле Сошников, последние силы отдававший тем, кто буквально уже издевался над ним: то не так! это не этак! — отнюдь не был какой-то аномалией; напротив, самой что ни на есть нормой. Просто он и тут ухитрился выдать пятьсот процентов сверх плана.

Нелепое создание — человек. Как нарочно, сконструирован так, чтобы мучиться побольше.

Мама поступила так, как только и могла поступить прекрасная и очень влюбленная юная женщина, — но я-то... Понимаю, в первой жизни с па Симагиным они просто не успели об этом подумать; я был еще совершенно мелкий, а у них, казалось, миллион лет счастья

впереди, потому ни про мое отчество, ни про мою фамилию подумать и в голову не пришло. А когда после почти десятилетнего мрака каким-то чудом началась вторая жизнь, я был уже и с паспортом, и с военным билетом, и еще с кучей проклятых бумажек, прикалывающих живого человека, как сушеное насекомое, к тому или иному потертому фону той или иной коллекции. И что по фамилии, что по имени — ни малейшего отношения, будто некий вегетативный гибрид, ни к па Симагину, ни к маме не имел!

Мне было бы приятно быть Симагиным. И наверняка ему тоже было бы приятно. Но он не заводил об этом разговора; а сам я... м-да. Иногда мне даже хотелось — ну попроси! Вот тут уж я пойду направо, все бумажки перебелю!

Но он был невозмутим. Во всяком случае, внешне. Теперь я понимаю: о таком нельзя просить. Я должен был сам. То, что я этого не сообразил вовремя, свидетельствовало явно и однозначно: в ту пору я так еще и не повзрослел по-настоящему, хотя, помнится, уже считал себя прошедшим все тяготы земные зрелым мужем.

Стрелять уже умел, а любить — еще нет. Довольно частая вещь по нынешним временам.

А теперь уже все равно.

Антон Антонович, и хрен с ним. В смысле, со мной.

— Понимаете, тот момент, когда у меня хоть что-то стало получаться... ну, не буду сейчас рассказывать, что именно...

Он думал, я не знаю.

— И тот момент, когда мы познакомились с вами, уважаемый Антон Антонович, так совпали, буквально с точностью до нескольких дней... что с вами у меня накрепко ассоциируется процесс какого-то... оживания, что ли... Я глупости говорю?

— Нет,— ответил я.

— Мы теперь вряд ли увидимся...

— Почему?

Я чувствовал, что он прощается, что всем своим существом он уже где-то в дальней дороге, но конкретных деталей не понимал.

Он нервно разгладил несуществующую складку на клеенчатой скатерке, покрывавшей стол.

— Понимаете, я... меня уже в третий раз зовут поехать в Сиэтл, прочесть несколько курсов лекций. Я отказывался, потому что мне вообще было рукой-ногой не шевельнуть, но теперь, кажется, я в состоянии. Значит, надо попробовать? Вдруг получится? Ведь здесь я никому не нужен... Если есть шанс встряхнуться и окончательно взять себя в руки... грех не воспользоваться, правда, Антон Антонович?

Я понимал. Но это был сюрприз.

Вот вам профессиональный риск в натуральную величину.

Умом всегда понимаешь, что врач не может и не должен пытаться влиять на будущую жизнь пациента. Подлечил — и отойди, не мешай. Дальше пациент будет жить так, как сочтет нужным. В конце концов, всякая мать рискует родить убийцу или жулика, но это еще не повод для того, чтобы женщины перестали рожать. И, вероятно, Сошников прав, радикально сменить обстановку для него сейчас — самое лучшее, чтобы закрепить результат.

А все равно обидно.

Восстановленный талант уйдет невесть в какую даль, и результаты его деятельности нас не коснутся. Или коснутся через длинную кишку посредников, в полупереваренном виде... Неизвестно, что хуже.

Я улыбнулся.

— Что же вы там будете делать? Вы не атомщик, не электронщик, не биолог...

Сошников помолчал, вертя чашку на блюде. При каждом обороте чашка тихонько взвизгивала донцем, и чай ходил в ней ходуном. Но не выплескивался.

Он смотрел мимо меня. По-моему, он чувствовал себя виноватым. Возможно даже — передо мной.

— Понятия не имею, — сказал он наконец. — Что предложат. Видимо, социологи и историки там тоже нужны. Денег хватает даже на столь никчемных... — он мимолетно, но очень печально усмехнулся. — Мне все равно. Мне сейчас вдруг захотелось наконец пожить для себя. А здесь у меня это, не получится, я знаю. Здесь мне все время хочется кого-то спасти... чушь полная, правда, Антон Антонович?

— Ну, как сказать, — осторожно произнес я.

— Да как ни скажи. И это, вдобавок, при том, что я на самом-то деле никому не нужен... ни семье, ни стране. Да и не могу я для них ничего... Что бы я ни начинал, в башке молотит: это никому не нужно. А там мне будет плевать — нужно то, что я делаю, или нет.

Тут я его понимал вполне. И он зря воображал, что подобная беда — удел ученых лишь его области. Мы работали и компьютерщиков, и ракетчиков, которые страдали тем же самым, — будто сговорившись, твердили: не могу работать, это все никому не нужно.

Недавно у нас по горловинам проходил один... Специалист по оптоволоконным технологиям, скажем так. На два года старше меня он был, нашего уже поколения. Талантливейший парень. Так ведь изнылся: что бы я ни придумал, — никому не потребуется. Руки опускаются, понимаете? Ну да, платят... теперь платят, ну и подумаешь. Но в дело все равно не идет. В лучшем случае за кордон удастся продать. Скучно!

— Там я буду честно делать ту работу, которую мне поручат, на одном ремесле, безо всяких страстей и упований... и думать лишь о том, чтобы результат и вознаграждение соответствовали. Понимаете?

Я понимал.

— Я чувствую, что сейчас смогу работать. Ну и надо поработать несколько лет, а потом... может, вернусь. Еще не знаю, Антон Антонович. Мне это сейчас неважно.

Важно избавиться от... наваждения. От желания, чтобы результат не просто приносил доход мне, но был бы востребован людьми и... как-то воздействовал...

Он замолчал, и я не стал ломать паузу. Прихлебнул чаек, положил на язык варенья. Умом я понимал, что варенье хорошее и вкусное, — но сладкого не люблю, и потому ограничился лишь пробной, буквально гомеопатической, дозой.

За быстро блекнущим окном, уставленным в мутное небо, вдруг зароились серые пятна. Снег пошел. Первый снег года.

Дожили.

— А бывшая семья? — спросил я.

Он будто ждал этого вопроса. Но, скорее всего, просто сам все время задавал его себе.

— Ну, что семья. Если я буду зарабатывать побольше... что весьма вероятно, надо признать... от меня им куда больше станет пользы, когда пойдут переводы. Говорят, через «Вестерн Юнион» это просто и быстро. Я им уже позвонил, пообещал, жена обрадовалась... Она давно так не радовалась — все-таки деньги. Пусть хотя бы деньги... — он запнулся, и я почувствовал, что он едва поймал себя за язык: хотел предложить выпить, но вспомнил, что уже предлагал.

— Я ведь, когда тоска начала отпускать помаленьку... попробовал взяться за ум. Хотел, как встарь, знаете. Но оказалось, что совершенно утратил способность работать для себя. Как когда-то говорили: в стол. Не могу в стол. Раньше мог, а теперь нет. Потому что сам я и так знаю, что будет написано, — а никому, кроме меня... даже когда я отмучаюсь и выведу все из головы в реальный текст, это не станет интересно. Мне теперь, чтобы заставлять себя сидеть, надо твердо знать: это либо принесет пользу кому-то, либо принесет деньги мне... и в конечно счете тоже принесет пользу, только гораздо более локальную — дочке. А раз ни то, ни другое не светит...

— Наперед нельзя знать,— сказал я.

— Можно...— с полной безнадежностью в голосе возразил он.— Можно, Антон Антонович... А знаете что?— вдруг встрепенулся он.—Только не отказывайтесь. Не захотите — не станете, пусть просто у вас валяется, может, если я вернусь, найду вас и возьму назад, у вас сохраннее будет. Благоверная-то моя наверняка попытается эту хатку для дочери приспособить, в целях устройства самостоятельного девичьего житья-бытья, и за сохранность моих архивов никак нельзя будет поручиться... А вы, я чувствую, человек ответственный.

— О да,— улыбнулся я, примерно уже понимая, о чем он.

Он воспринял это как согласие. Суетливо вскочил, едва не опрокинув коленками легкий столик, и, протиснувшись мимо меня, сияя, убежал в комнату.

Обаяние и незащищенность. Что тут поделаешь,— он нравился мне. Он был старше меня лет на двенадцать, но я не мог относиться к нему иначе, как к ребенку,— талантливому, пожилому, но так и не повзрослевшему; самое страшное, что ему некуда было взростеть. Такие, как он, взрослыми не бывают. Академиками бывают, а взрослыми — никогда.

Далеко не всех моих пациентов мне так хотелось опекать и пестовать. Далеко не за всех я так переживал.

Он быстро вернулся, держа двумя пальцами — как-то то ли бережно, то ли опасливо,— серую вербатовскую дискету.

— Вот...— и протянул дискету мне.— Это... последние наброски и выписки. Вряд ли я их когда-нибудь возьмусь систематизировать и выстраивать... Не для кого.

Вот зануда, прости Господи.

Я взял. Невозможно было не взять.

Да и любопытно было. Ранние его работы были очень нетривиальны, и совершенно не вписывались ни в какой из потоков. А при нашей демократии, точь-в-точь как

при бывшем тоталитаризме, такое являлось недопустимым. Просто тогда поток был один, а нынче — несколько. Все партии гомонили о великой России, — но каждая под Россией имела в виду лишь себя, а под россиянами — свой, мягко говоря, электорат. Сошников в свое время пустил — по аналогии с пушечным мясом военизированных времен — емкий и ядовитый синоним нелепому электромеханическому словцу: «урновое мясо». Этого, разумеется, никто ему не мог простить, будь то левокруты, любители закручивать гайки, будь то надутые от упоения своей правотой праводелы...

Хотя публицистикой он оттягивался нечасто. Только когда совсем уж становилось невмозможу от новостей.

— Стало быть, получается, что я — никто? — улыбнувшись, спросил я.

Он не сразу понял, а потом мучительно, как юноша, покраснел.

— Я совсем не то... Боже... Антон Антонович, я имел в виду...

— Я все понимаю. Спасибо, — сказал я и улыбнулся снова. — Постараюсь оправдать высокое доверие. Вот только не уверен, что успею до вашего отъезда. Вы когда трогаетесь? Уже известно?

Он помолчал, несколько раз вскидывая на меня смущенный, виноватый взгляд и тут же его опуская.

— Да... — проговорил он наконец. — Скоро. В четверг.

— Приду вас проводить, — сказал я. Он всплеснул руками.

— Конечно... если у вас найдется время, я буду очень рад! Правда, Антон Антонович!

— Созвонимся поутру, — предложил я.

— Да, в десять или в половине одиннадцатого, например...

Давно мы с ним не виделись. Дней пятнадцать, похоже, или даже шестнадцать... В тот раз ничего подобного я не ощутил в нем, — а нынче чемоданным настроением несло от него, будто ураганом.

Ну, дай ему Бог.

— У меня ведь совсем не осталось людей, с которыми мне хотелось бы как-то... по-товарищески проститься, — вдруг проговорил Сошников негромко. — Со старыми друзьями... коллегами... с теми, с кем пуд соли, казалось бы, съел еще на рубеже веков и эпох... встречаться тягостно, даже по телефону невмоготу. Кто адаптировался и преуспел, — способны говорить лишь о том, кто их купил и почему. Мне скучно. А кто маятся, — те лишь обвиняют всех и вся... Тоже скучно. Никто уже не думает... Это бедствие какое-то. Все долдонят о возвращении на путь, прерванный век назад большевиками, — но в чем этот путь заключался, так никто толком и не понимает и не дает себе труда попробовать понять... И я больше не буду. Хватит. Вот с вами мне... легко и тепло. Хотя, честно говоря, вы почти все время молчите, только я мемекаю — тем, наверное, и счастлив, — он застенчиво улыбнулся. — Завтра вот с Венькой Коммунякой выпью... немножко. А Алене просто письмо напишу и перекину перед самым уходом, чтоб она отреагировать не успела уже... Хотя она, наверное, и не станет реагировать. Ну, чтобы самому не маяться — отреагирует или нет. Перекину — и вон из дому, все.

— Понимаю, — проговорил я.

— Верю, — в тон мне ответил он. — Вы действительно... мне кажется, понимаете все. Все.

— К сожалению, не все, — сказал я, а потом, почуяв некие котурны в своих словах, некую выпренность, усмехнулся и добавил: — Например, не понимаю, зачем вам пить перед самым отъездом.

— Слегка, Антон Антонович, слегка! Обещал Веньке... Это сосед, двумя этажами ниже... Мы с год назад познакомились. Я, знаете, на лавочку присел пивком разнежиться, и он тоже, ну и разговорились... Презабавный молодой человек, возраста вашего или даже чуть меньше, но неистовый коммуняка, знаете ли...

Футболка с Брежневым, на все проблемы жизни один ответ — долой олигархов, ешь богатых, все народное... Мы с ним, бывает, так забавно спорим. Он, разумеется, ничего на своей шкуре не попробовал... Но иной раз высказывает чрезвычайно интересные суждения, я просто диву даюсь и запоминаю. Например: Сталин всю жизнь поступал бессовестно, вытравливал совесть из себя и из своего окружения, — но он по старой памяти знал, что такое совесть, какая сила в ней и как она функционирует, и зачастую поступал по совести именно благодаря тому, что все время с нею в себе боролся. И в других умел, когда надо, совесть пробудить. И потому был велик. А нынешние вообще даже представления об этой категории не имеют, нет ей места в рыночных условиях, — и потому такие мелкие, и страна потому при них так измельчала... Что-то в этом есть, правда?

— Вам виднее, — сказал я.

— Когда я ему сказал, что отъеду в Штаты минимум на несколько лет, он так огорчился... и просто-таки вырвал у меня обещание перед отъездом посидеть вдвоем как следует... Ну, а я что? Я с удовольствием, в общем-то... Нахрюкаться не нахрюкаюсь, с этим покончено, а поболтать напоследок этак, знаете, ни о чем, об общих проблемах и судьбах страны... С кем еще? Вы же не станете болтать о судьбах страны, правда?

— Правда, — усмехнулся я и отхлебнул чаю. Чай остыл.

— И американцы не станут... А мне это иногда необходимо... пока. От всей души надеюсь, что там я с этим покончу.

— Может получиться наоборот. Говорят, бывают такие нелинейные эффекты.

— Ну... ну, уж тогда я не знаю... тогда я там совсем спячу — сидеть в такой дали, и переживать... еще более попусту, чем теперь. Нет, нет! Не должно так случиться. Не должно...

Он замолчал, с трагической миной уставившись в стену. Снег за окном валил все гуще, и в кухне совсем стемнело.

2. Тень, так сказать, минувшего

Да-да. Пытаясь в свое время проникнуться внутренним миром па Симагина и понять, чем дышал он в детстве, я и до Ефремова добрался, поскольку пару раз слышал от па эту фамилию, припомненную не без уважения. Даже сподобился почитать — «Тень минувшего» в том числе. Блеск. Особенно блестел апофеоз: горняки, рабочие каменоломен, колхозники и охотники доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогали ему... Цитирую по памяти, поэтому за точность не ручаюсь. Обворожительно, правда? Откуда охотники и рабочие каменоломен прознали, что сей искатель истины есть известный ученый, а не шарлатан? А если не шарлатан, то тем более невероятно. Шарлатан хоть чего-нибудь живенького наплетет: тарелки, Шамбала, яйцекладущие колхозницы, — и за ним пойдут; а настоящий... подумаешь, смола застывшая, и в ней гнусных тварей видать. На фига нам твои твари? Потом: кто компенсировал им непроизводительные затраты потраченного на бескорыстную помощь времени — ведь, чтобы как-то сводить концы с концами, и двадцати часов в сутки не всегда хватает? Кто спонсировал самого этого известного в его многолетних факультативных поисках и поездках?

Я понял одно: мир, каким па Симагин и такие, как он, его представляли себе в отрочестве, существовать просто не может. Если его силком на минутку создали, он должен был рухнуть обязательно. Но вернее всего, на самом деле его и не было никогда, он таким просто притворялся — и, в конце концов, рухнул с облегчением и удовольствием, просто оттого, что притворяться устал.

Хотя иногда я думаю: а кто меня и моих друзей финансировал, спонсировал да компенсировал? Мы сами, никто кроме. Какого рожна мы бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, помогали,— уважая, так сказать, в своих пациентах... далее по тексту?

Нет ответа. Нам хотелось, и все.

Да, наверное, так может жить и действовать один человек, два, максимум — небольшая группа единомышленников. Однако не целая же страна!

Хотя, положила руку на сердце,— жаль, что не может.

Но мало ли чего нам жаль! Прыгнув с крыши, ты, как бы тебе ни хотелось, отнюдь не полетишь, курлыча, в жаркие страны пирамидами любоваться, а брызнешь мозгами по асфальту. Жаль? Конечно, жаль. Ну и жалей на здоровье, пока не надоест.

Назавтра я пришел в контору пораньше, чтобы поколдовать над финансовой документацией. Этому ответственному и тайному делу я отдавал все свободное время. В принципе, бухгалтер у нас экстра-класса,— но ему же невдомек, что часть средств, получаемых за кабинетную рутину с аутотренингом и прочими апробированными процедурами, утекает на финансирование спецопераций!

Наше счастье, что восстанавливать творческие способности, как я уже говорил, к нам зачастую приходили кошелекостые трудящиеся, отродясь этих способностей не имевшие и вдруг взалкавшие стать знаменитыми учеными или писателями. Милости просим, господа, вам здесь всегда рады. Моя правая рука тяжелая и теплая... моя левая рука тяжелая и теплая... вот счет за сеанс. Угодно ли вам продолжить? А-атлично! Вот этой вот вашей денежкой мы, нигде ее не оприходуя, тихохонько проспонсируем дочку Сошникова,— а Сошников будет гордиться собой и думать, что сумел победить судьбу. И что-нибудь после этого напишет для веков, чего в противном случае нипочем бы не написал.

Или, например, частные фирмы отваливали нам немалые деньги за интеллектуальную реабилитацию своих измотанных потогонной системой специалистов. С ними мы работали по высшему разряду, и, проводя обычные сеансы на кабинете, нередко дополняли их двумя-тремя терапевтическими горловинами в поле. Чтобы человек действительно очухался и начал сызнова плодоносить. Так создавался и поддерживался престиж «Сеятеля». Надо сказать, это удавалось. Престиж был совершенно уникальным.

Был у нас недавно пациент — блестящий архитектор неповторимых особняков для депутатов, финансистов, киллеров и прочих остро нуждающихся в улучшении жилищных условий полноправных граждан возрождающейся державы. И вдруг что-то надломилось у него в душе, — погнал штамповку. «Крыша» его в панику ударилась: конец заказам, конкуренция-то в этой области жесткая. Пришли ко мне. Вам сколько нулей после циферки? пять? шесть? Лучше шесть, скромно, но с достоинством сказал я тогда.

А архитектор в кризисе жестоком. Осточертело, нервно прикуривая сигарету от сигареты, говорил он мне на предварительном собеседовании. Хочу обсерваторию построить! Или больницу! Позарез хочу построить оздоровительный лагерь для детей беженцев, понимаете, Антон Антонович? А мне показывают в мэрии, сколько они выделить на него могут, — этого на остекление и то не хватит, разве что сочинить северную стену глухой, без единого оконца...

Как такого человека лечить? Ему в ножки поклониться за удивительные его достоинства да вербануть к нам в команду, очень бы мог быть полезен... Так и этот присматривался я к нему — нет, не решился. Тщеславен. Отнюдь не патологически, нормально для талантливого художника тщеславен, — но у нас, бойцов невидимого фронта, и этого нельзя. Раньше или позже похваляется кому-нибудь не тому, какие благие дела

творит втайне,— и все, завертелось-закрутилось; прощай, конспирация. Отступился я. Бились мы полгода, но ввели мужика в нормативное русло — делай, за что платят, и не дури. Опять начал чертить шале да шато, лучше прежних.

А мы остались. Со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах. Добились, понимаешь, успеха — из человека с совестью сделали высокоэффективный эвристический механизм. Вся бизнесменская конница и вся депутатская рать не смогли,— а вот мы, елы-палы, уж такие мастера!

Частные фирмы были основным источником дохода.

Но ломтик этого дохода, уж извините... Тачка, например, у нас каждому в команде нужна, иначе работать просто невозможно — сдохнешь в транспорте во время бесконечных и совершенно неизбежных метаний.

И, конечно, если незаявленное финансирование или утайка части доходов выплывут на белый свет, то, как говаривал в «Бриллиантовой руке» Папанов, спокойно, Козлодоеу, сядем усе.

Кто нас заставлял рисковать? Никто. Самим хотелось. Охотники и колхозники.

А главным жуликом в команде приходилось быть тоже мне.

Честно скажу: это ни с чем не сравнимое удовольствие — видеть, как изжеванный и остывший человек вдруг снова начинает звенеть и сверкать. Понимаете? Попробуйте понять. Удовольствие и радость. В сущности, из-за них все делалось.

Радости-то хочется. Мало ее.

Примерно с час я процеживал окаянные цифры и даты, пристально вдумываясь в каждую. Потом на столе у меня курлыкнуло, и голос секретарши Катечки сказал слегка виновато:

- Антон Антонович, время.
- Да-да,— ответил я.— Что у нас?
- Один новенький на собеседование.

— Записывался заранее?

— Да, еще позавчера.

— Запускай.

Я успел занять уверенную позу и сделать умное лицо. Дверь неторопливо отворилась, и передо мною предстала тень минувшего. Гаже всякого динозавра.

Я даже глаза прикрыл, чтобы совладать с собой, не видя его отвратительного лица.

Он меня, разумеется, не узнал. Сколько мне было, когда мы виделись в последний раз? Он бы на этот вопрос ответить не смог. Ни до кого ему не было дела, кроме своей драгоценной персоны.

Кто бы ведал, как я ненавидел его тогда! Кто бы ведал, сколько раз, заслышав из маминой комнаты сдавленные рыдания среди ночи, я его убивал — и в сладостных детских грезах наяву, и, тем более, когда ухитрялся уснуть наконец!

Подрбностей я, разумеется, не мог в ту пору ни выяснить, ни понять, да они мне и теперь не известны, — но уже тогда, восьмилетний, я знал совершенно точно, что мой мир взорвался из-за него.

Он не выглядел постаревшим. Не выглядел и посолднневшим. Он лишь разбух, обесцвветился и увял, будто его долго вымачивали. Одутловатое лицо без возраста, погасшие глаза... И веяло от него уже не апломбом и самолюбованием, а пустыней. Пока он неторопливо шел от двери к креслу посетителей, я вникал в него и так, и этак и не чувствовал ничего. Только пепел.

И одежда под стать. Униформа доперестроечного интеллигента средней руки. Сразу возникло впечатление, что она куплена еще при Совдепе, пиджачок за тридцать два рубля, рубашка за девять, — а теперь все это так и донашивается вот уж кой годок, аккуратно стирается, штукуется, штопается... В ней и похоронят. Мне показалось, что именно в этом костюмчике он приходил к нам. Воротник у рубашки протерся до основы, но был чистым. Локти пиджака лоснились и

светились там, где ткань совсем уже просеклась. Брюки пузырились на коленях, штанины понизу будто поросли мхом — так одряхла и истерлась ткань.

Но не было в нем наивной сошниковской прибитости напуганного неожиданной бомбежкой малыша. Только брезгливое равнодушие. И, садясь в кресло для посетителей, он изящно поддернул свои штаны, находящиеся на исходе периода полураспада.

— Здравствуйте,— произнес он сдержанно. Ни малейшего волнения, столь естественного для человека, в первый раз пришедшего к врачу. Ни малейшей, как бы это сказать, надежды, что ему помогут.— Мне порекомендовала обратиться к вам Алла Александровна Костенко. Она сказала, вы ее наверняка вспомните.

Да, разумеется. Алла. Она была поколения мамы, но мы быстро отказались от отчеств, это как-то само собой произошло. Славная женщина, энергии невероятной и со способностями намного выше средних. За помощью она к нам не обращалась, мы познакомились действительно случайно,— хотя, честное слово, я был бы рад ей помочь и без ее обращения. Но тут имел место редкий случай, когда все мои экстравагантные методики никуда не годились. При Советах муж ее был довольно крупным конструктором оборонки, потом быстро, по-молодежному перестроился и теперь опять процветал в совместной со шведами и немцами фирме, чего только не выпускавшей. Так что материально она не нуждалась. Числилась она всю жизнь в биологическом каком-то институте Академии наук, и, если бы там и впрямь оставалась хоть мизерная возможность работать, достигла бы, вероятно, немало; вполне серьезную кандидатскую она защитила, если я правильно помню, чуть ли не в двадцать пять лет. Но академические институты, господа, это ж такие странные заведения, которые и разгонять нельзя, потому что неловко, и цацкаться недосуг, а распускать, между

прочим, это тоже цацкаться; но и роскошь реально их финансировать страна никак не может себе позволить, до них ли нынче... Кому он нужен, этот Васька?

Затосковав от бессмысленности существования, Алла задолго до того, как мы чиркнули жизнями друг об друга, инстинктивно нащупала ту же панацею, что и я, и всю свою бешеную энергию и умение крутиться-вертеться и крутить-вертеть окружающими кинула на вспомоществование,— сама при этом относясь к своему нетривиальному и трудоемкому хобби в высшей степени иронично. То она выбивала место в больнице для двоюродной тети школьного приятеля. То посреди ночи подкатывала на своем «Рено» последней модели к облупившейся от матюгов вонючей ментовке и, хладнокровно кутаясь в миллионную шубку, вызволяла из вытрезвителя извалявшегося в лужах вдрызг пьяного стихоплета, с которым и встречалась-то доселе лишь единожды, на его творческом вечере у кого-то на квартире. То вдруг ее заносило в предвыборный штаб какого-нибудь занюханного — разумеется, самого честного из всех, ему во что бы то ни стало надо помочь! — депутата то городского собрания, то районного...

Это ее засосало. Она выматывалась так, как никогда на работе не выматывалась, но получаемые ею положительные эмоции были настолько интенсивны, что она, хотя вслух время от времени тосковала по спокойной лабораторной работе, на самом деле уже ни о чем ином и не мечтала — только бы кто-нибудь сломал, например, ногу, и можно было бы по большому знакомству, зато, благодаря ее уникальным способностям торговаться, без переплаты втридорога, снабдить его какими-нибудь экспериментальными швейцарскими фиксаторами вместо допотопного нашенского гипса...

Я ее уважал. Ее рекомендация немало стоила.

— Мы с нею давние, очень давние друзья. Она сказала, что если кто-то мне и сможет помочь, так только вы.

Я сдержанно пожал плечами.

— Посмотрим,— проговорил я.— Я пока ничего про вас не знаю.

— Я и сам уже ничего про себя не знаю,— чуть улыбнулся он.

— Звучит красиво, но вы же сюда не дамочку охмурять пришли,— отрезал я и сам почувствовал, что запредельно хамлю. Не сдержался. Надо взять себя в руки, подумал я и глубоко вздохнул. Впрочем, он остался совершенно равнодушным. Ему, похоже, не показалось, что я хамлю.— Мне нужна информация, а не интерпретация. Интерпретировать буду я.

Нет, мне положительно не удавалось взять верный тон. Слишком уж внезапно тень рептилии выросла посреди моего кабинета.

Чтобы из минувшего выволочь урода, не нужны ни охотники, ни колхозники. Само вынырнет.

— Да, конечно,— сказал он.— Разумеется. Простите. Меня зовут Валерий Аркадьевич Вербицкий. Возраст — сорок восемь лет,— он опять чуть усмехнулся. Улыбка была странная: одновременно и жалкая, и снисходительная. Она тоже полна была пепла.— Да уж почти сорок девять... Профессия — писатель. Боюсь, что бывший. Алла именно поэтому меня к вам и отправила, и еще пинком ускорила, надо признаться. Я бы сам не пошел. Спекся так спекся. Многие, на самом деле, телесно живут дольше, чем живет в них искра, но Алла... Честное слово, не подумайте, что я хвастаюсь. Просто ей нравится то, что я когда-то писал... мне — нет, сразу должен оговориться, мне — давно уже нет. А вот Алла никак не хочет смириться с мыслью, что мне конец. Что вас еще интересует?

Я даже опять глаза прикрыл, чтобы в них совершенно бесстыдным образом не сверкнуло варварское торжество. Я понял, что судьба ему за нас отомстила.

Ну и что толку? Мы и так давно уже счастливы. Сами.

И если б не отомстила,— от нас бы не убыло.

Злая радость отступила, потушенная этой простой мыслью легко и надежно, словно костерок ушатом воды. Передо мной был пациент. Просто пациент.

Я открыл глаза и тихо сказал:

— Многое.

Я по-прежнему не чувствовал в нем ни надежды, ни волнения, ни даже простого недоверия ко мне как к врачу. Бывает такое — приходит человек, а сам думает только об одном: вот сейчас этот хитрован начнет из меня тянуть мои деньги. Не дам деньги, не дам деньги, не дам деньги! Даже этого в Вербицком не ощущалось. Ему было все равно, что с ним будет. Он поставил на себе крест.

Па Симагин всегда считал, что он талантлив.

Ну-ну, подумал я.

— Видите ли... э...

— Меня зовут Антон Антонович,— сказал я.

— Видите ли... доктор. Я не знаю, как у вас принято заявлять о себе. Может быть, вы лучше меня спрашиваете?

— Валерий Аркадьевич,— проговорил я как можно мягче, стараясь не усложнять положения собственными эмоциями.— Ведь не я к вам пришел.

— Да, разумеется,— он несколько раз кивнул.— Простите. Но честное слово, я не знаю, что говорить. По-моему, мне невозможно помочь, потому что я тут ни при чем. Если бы не Алла...

Как он спешит даже эту ответственность с себя снять, подумал я. Даже ответственность за то, что пришел к врачу за помощью. Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя...

— Мы теряем время,— сказал я.

Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Нет, он вовсе не был раздавлен. Он просто ничего не хотел.

— Курить у вас можно? — спросил он.

И я, конечно, вспомнил, как в первый же его приход к нам мама и па Симагин поссорились, решая, позволять ли ему курить. Мне уже тогда стало страшно, я отчетливо помню. Я все слышал. Мама и па повышали голос друг на друга и говорили злобные слова. Это уже само по себе воспринималось, как трещина в мироздании. Как предвестье. Прежде они не ссорились ни разу — и начали из-за проклятых сигарет этого проклятого...

Я выдвинул ящик стола, вынул оттуда незапятнанную пепельницу и пустил ее поперек стола. С затухающим скользким шипением пепельница переехала на его край и замерла.

— Пожалуйста.

Он немедленно задымил какой-то дешевкой. Вежливо протянул пачку в мою сторону: угощайтесь, мол, доктор. Я покачал головой и чуть развел руками: не курю, мол, не обессудьте. Он внимательно посмотрел мне в глаза и, поспешно ткнув сигарету в пепельницу, размял ее в прах.

— Извините, доктор.

Я молча ждал.

— Ну, что я могу сказать о себе. Дело же совсем не во мне, — он глубоко вздохнул, словно собираясь не то с силами, не то с мыслями. — Вы знаете, доктор, что литература в школах почти повсеместно стала платным факультативом? Нет, не знаете. Вам это не важно, правда? С две тысячи второго процесс пошел... Вам, наверное, и эта фраза ничего не говорит: процесс пошел. Слишком вы молоды, доктор. Вы любите читать книги? Беллетристику?

— Да. Только времени на это почти нет.

Он усмехнулся.

— Вот-вот. То же самое говорили и апологеты очередной ползучей реформы. В наше трудное время все силы ребенка нужно сосредоточить на тех предметах, которые помогут ему выстоять в жизни, овладеть

профессией, которая обеспечит его материально. Словоблудие и мудрование относительно нравственных поисков могли себе позволять бездельники-дворяне в своих поместьях и бездельники-интеллигенты в советских НИИ. Теперь пришло время конкретных результатов. Получил результат — значит, прав, значит, молодец, вот вам и вся нравственность! Да вы, дескать, вспомните сами литературу в школе. Что вам дало тогда изучение «Войны и мира»? Только отвращение к классике! Зачем нам это при нынешнем дефиците времени у школьников? Кто захочет — сам прочитает! — он перевел дух. — Как вы думаете, доктор, каков процент родителей, которые хотят и, главное, могут оплатить подобные факультативы? При том, что во всех мало-мальски приличных школах деньги и без того летят?

Я помолчал. К такому разговору я не был готов. Фибрами-то своими я ощущал, что он решился наконец заговорить о себе, — и то, что он говорил, было, как он сам понимал, — о нем. Лично о Вербицком. Я почувствовал, как в слезавшемся мокром пепле шевельнулось нечто живое. Он, оказывается, в состоянии был переживать не только за самого себя.

Более того, именно и только за самого-то себя он и не переживал ни вот настолечко. Уже сыт был, видимо, своей особой. Не пропащий человек, что ли?

— Думаю, немногие.

— Правильно. А как вы думаете, писателю это все равно, или ему неприятно?

— Думаю, что какому как.

Он улыбнулся.

— Правильно. Мне вот, к сожалению, неприятно, и я ничего с этим поделать не могу. Мне больно. Даже если отрешиться от того, что лично мне совершенно не о чем своими текстами говорить с читателем, который к книгам обращается, лишь короткая время в метро. Даже если отрешиться... Мне вообще больно. Верите?

— Верю.

Я действительно верил. Потому что чувствовал его.

— Разве психиатрия тут может помочь, доктор?

Ну, заставьте меня как-то забыть обо всем этом, перестать об этом думать, вот и все. Та же водка.

— Продолжайте,— сказал я.

— С удовольствием,— он даже чуть порозовел. Он заводился. И это, несмотря на всю разницу между ним тогдашним и нынешним, снова напомнило мне, как заводился он, токуя, будто глухарь, у нас на кухне, и начинал говорить громче, ярче, интереснее, эмоциональнее, убежденнее... безапелляционнее...

Почти два десятка лет грохнуло куда-то, Бож-же мой...

Если бы не этот человек, сейчас мой брат или сестра заканчивали бы школу.

Где не проходят литературу.

— Но обратите, пожалуйста, еще раз внимание на то, что я вас отнюдь не уговариваю воспользоваться нашими услугами,— добавил я. И опять в голосе моем совершенно неуместно для беседы врача и больного звякнул металл.

Он, явно уже готовый к следующей тираде, запнулся.

— Простите,— проговорил он потом.— Я действительно веду себя глупо. Знаете, как это бывает. Хочешь быть поскромнее, но, если перестарался хоть на волос,— это, наоборот, выглядит как невероятная гордыня. Так и тут. Я все тшусь изобразить, что отнюдь вам не навязываюсь и если вы меня пошлете подальше, как симулянта, совершенно на вас не обижусь. А получается, будто провоцирую вас на уговоры: нет, вы уж почитесь у нас, будьте так любезны... Простите. Беру ситуацию под контроль.

Однако. Это выглядело опять-таки достойным уважения. И, самое главное, он был совершенно искренен, я чувствовал. Я начал понимать, почему славная

женщина Алла принимала в нем такое участие. Странно, правда, что она его сюда за ручку не привела.

И тут же я почувствовал, что она и собиралась, — Вербицкий не позволил.

— Или вот еще, — сказал он. — Мои же коллеги-литераторы... целое движение, кажется, уже возникло — за переход на латиницу. Доводы: сейчас, когда благодаря компьютерам мы и так уже в латинице по уши, — нам предоставлен исторический шанс воссоединиться наконец с настоящей культурой. Реально стать европейской нацией нам никогда не даст кириллица; только избавившись от нее, мы преодолеем барьер и покончим с варварством. Все время цитируется Сомерсет Моэм: «Если эти русские хотят, чтобы их считали цивилизованными людьми, почему они не говорят на языках цивилизованных наций?» При этом уже тут лицемерие — будто те, кто откопал цитату, не обратили внимание, что у автора ее произносит напыщенный болван! И последний довод, убойный: правда, таким образом мы потеряем всю свою литературу, уже для следующего поколения она станет мертвой, как ныне мертвы для большинства из нас церковно-славянские тексты... а уж эти-то тексты и вообще превратятся в нечто вроде шумерской клинописи... **НО ВЕДЬ ЭТО И К ЛУЧШЕМУ!** Понимаете? К лучшему! Опять очередное проклятое: вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном! Э-э... вам что-нибудь говорит эта фраза, доктор?

Он упорно не называл меня по имени-отчеству. Ему неприятно было произносить имя Антон. Он не отдавал себе в этом отчета, но избегал. Его пугало имя Антон, я это почувствовал. Подсознание колет совесть шилом изпод низу...

— Брюсов.

— Да. Как по-вашему, писателю подобная перспектива помогает писать?

— Думаю, нет.

— Как по-вашему, если это движение начато и организовано коллегами, литераторами же, — что писателю думать о литературе и ее роли?

— Думаю, что это не его работа. Делать литературу и думать о литературе — вещи взаимосвязанные, разумеется, но, если мысли о литературе мешают ее создавать, следует предпочесть создание.

Он качнул головой.

— Роскошно сформулировано, но... не греет.

— Вы хотите сказать, что утратили квалифицированного читателя и теперь вам приходится как бы кричать в пустоту? Но есть же, говорят, элитарная литература...

— Элитарная литература кончилась еще в девяностых, — резко ответил он. — Например, когда комитеты, которые присуждают премии, вдруг решили, что, если в книжке есть диалоги, она уже не может относиться к большой литературе. И авторы, вроде бы только вчера воевавшие с цензурой за полную свободу самовыражения, едва прослышав об этом, принялись изворачиваться, чтобы не было прямой речи, а только косвенная... А еще, сказала, не будет, сказала, вам этого никогда, сказала — и пошла. Правда, высокохудожественно? В прошлом году абсолютным чемпионом стала поэма в прозе «Вина!» По слухам, ее и на Нобелевку выдвинули, за концептуально объективное и художественно новаторское изображение русского национального характера — да-да, именно с такой формулировкой. Уже от самого названия критика восторженно сходит с ума: дескать, нельзя понять, что имеется в виду — то ли речь идет о виновности, то ли о требовании принести еще бутылку, и эта, как они пишут, полифония и амбивалентность есть признак гениальности. Вот я вам сейчас процитирую начало... э-э... Спозарань встань вся срань такая наша странь да она странна страна вина она безвинно повинна... И далее в том же духе, семьдесят страниц без единого знака препинания.

— Сильно, — согласился я.

— Но, помимо прочего, обратите внимание, алкогольная тема на форсаже. Все эти особенности охот и рыбалок... Заголовки в газетах: водка нас спасет! Ежегодные гулянья в Петушках на деньги щедрых спонсоров — пропивается там за неделю годовой бюджет Пулковской обсерватории! Почему-то зарубежным культурным фондам на водку денег не жалко. Воистину Венничка как в воду смотрел: пусть янки занимаются своей галактической астрономией, а немцы — психоанализом, пусть негры строят свою Асуанскую плотину! А мы займемся икотой. И ведь они действительно занимаются, черт их возьми, и астрономией, и психоанализом, и всем!

У него стал дрожать и срываться голос от волнения.

— Или вот еще. Другой мой, с позволения сказать, коллега пишет и публикует некую фантазмагорию, где, как матрешки, одна из одной выскакивают так называемые альтернативные истории. Александра не взорвали... Столыпина не убили... Керенский объединился не с большевиками, а с Корниловым... И для каждого варианта, даже не утруждая себя выстраиванием хоть сколько-нибудь связного сюжета, дает нагромождение разрозненных, но в равной степени мрачных эпизодов. Я его спросил на одной пьянке честно: это надо понимать так, что, как бы ни складывалась российская история, хуже России все равно нет? И он очень честно ответил: да, вы совершенно правильно меня поняли. Россия — клоака, царство тьмы, всегда такой была и всегда останется, пока ее не уничтожат или не расчлечат между нормальными странами. Нормальными! И не то отвратительно, что он это написал, его текст — это его личное дело... а то, что с ним немедленно начали носиться, как с писаной торбой! Это какой-то групповой мазохизм, коллективное стремление к самоубийству... хотя бы — духовному.

Ну, его понесло.

Что ж. Такая наша, мягко говоря, странь — у психотерапии. Прежде всего дать пациенту выговориться.

— Вы понимаете, доктор, можно кричать, что Псковщину надо отдать прибалтам, Сибирь китайцам, Приморье, Камчатку и острова — японцам, все равно, мол, мы сами их содержать и обустроить не способны, так зачем людей мучить и мир смешить. Раздать все к чертовой матери! И будешь просто интеллектуал с широкими взглядами, по ящику то и дело тебя будут показывать, как очередную Новосортирскую какую-нибудь... Но попробуй скажи, что этого ни в коем случае делать нельзя, — и сразу среди своих окажешься русопятом, шовинистом и имперцем. А потом искренне изумляемся и негодуем: с чего это простой народ так не любит интеллигенцию и с такой подозрительностью к ней относится... у, какой тупой народ, чурается образования, не любит тех, кто мыслит!

— Хорошо, — сказал я, начиная терять терпение. — Я все понимаю. Но это, Валерий Аркадьевич, не предмет медицины, вы правы. Хватит о литературе. Давайте пойдём глубже.

Он опять покачал головой.

— Глубже, — повторил он, будто пробуя это слово на вкус. — Глубже... Вы про меня разговаривать хотите? Не надо, доктор. Нет смысла. Да и неинтересно.

— Люди интереснее социальных процессов, — уже с напускной, а не искренней жесткостью отрезал я.

— Да разве же можно разделять? — всплеснул он руками.

— Нужно и должно. Иначе никогда никого в чувство привести не удастся. Все будут исключительно стенать хором и рассказывать друг другу, кто где какую грязь заметил. И поскольку страна покамест все еще большая, рассказывать можно очень долго.

— А, вот вы как к этому подходите... Вы, стало быть, думаете, что это только литературы коснулось? А многолетняя тлеющая кампания «ученые во всем

виноваты»? Началось опять-таки еще в прошлом веке, когда вдруг выяснилось, что именно космические запуски и персонально станция «Мир» оставили страну без хлеба и ботинок, ибо все деньги ушли на никому не нужные ракеты. Физики все богатства страны спустили. Экономисты развалили экономику. А вал книг с сенсационными открытиями-разоблачениями... Кто их пишет? Шизофреники? Ушлые фальсификаторы? Античности не было, Грецию и Рим в монастырях двенадцатого века придумали католические попы в назидательных целях. Китая не было вплоть до маньчжурского завоевания, Великую стену построили при Мао для пропаганды. Древние тексты вообще измышляются историками,— кто чего насочинял сам, чтоб степень заработать, тот и говорит, будто перевел с древнего. В космос, тем более — на Луну и дальше, вообще никто никогда не летал, все обман, чтоб жрать в три горла и ни хрена не делать. А вирусов нет и не было никогда, и если вы почувствовали недомогание, лучше всего, уж бабка-то Пелагея знает,— стакан горячей водки с медом и чесноком по утрам и вечерам в течение четырех дней. Так похоже на третий рейх, доктор! У них тоже вдруг выяснилось, что в космосе ничего нет, кроме льда, и звезды — это просто лед блестит, а всю астрономию наворотили хитрые евреи, чтобы одурманить нацию... И, доктор,— гляньте, что читают в транспорте! Это глотается с наслаждением! Вот, дескать, настоящие открытия! Не ученые там какие-то, а просто нормальные люди, как ты да я, подчитали книжек, подумали маленько — и поняли! Мы, мол, всегда подозревали, что высоколобые нас дурят, и вот теперь, слава Богу, нашлись люди, не побоявшиеся об этом сказать!

Он меня уже утомил немножко. Однако я понимал, что, если думать об этом постоянно и с болью, как, видимо, думал он,— можно легко додуматься до мозговой сухотки.

А у Вербицкого вся эта карусель раскручивалась на глазах.

И у па Симагина тоже.

Они-то в детстве из умных книжек знали, что колхозники и охотники, уважая настоящий талант...

— Знаете,— передохнув и сбавив тон, добавил Вербицкий,— я ведь несколько лет назад свихнулся настолько, что решил, будто это и впрямь целенаправленный, кем-то срежиссированный процесс растления. Но все проще, к сожалению. Коль скоро пороть злобную и завистливую ахинею оказалось престижнее и выгоднее, нежели работать всерьез,— дальше все уже катится само собой. Рынок,— он глубоко вздохнул.— И мне, значит, если поступать честно, хотя бы в текстах,— надо все время идти против течения. А у меня духу не хватает. И потом...— Он вздохнул опять и сцепил пальцы нервно.— Всегда хочется, чтобы тебя прочел тот, с кем, сложишь жизнь иначе, ты мог бы оказаться вместе...

Мне показалось, что этот куплет совсем из другой песни. Я почувствовал это отчетливо,— он попросту проговорился, увлекшись. Но тут же вырулил на прежнюю мелодию:

— А с кем из этих я могу быть вместе? Ни с кем!

Я демонстративно отдулся, будто скинул тяжелый груз, с которым долго взбирался по узкой и крутой лестнице.

— Об этом давайте тоже не будем, Валерий Аркадьевич. Ну какой смысл? Я будто перед телевизором сижу, и мне его, извините, никак не выключить.

У него дрогнуло лицо. Наконец мелькнуло что-то, кроме мертвенного самозабвения. Все-таки мне удалось его задеть, растормошить слегка — и это было хорошо.

— Вы сами-то чего хотите?

— Чтобы этого не было.

— Нет, вы меня не так поняли. Чего вы сами про себя и для себя хотите? Представим на минутку: все

остальное — так, как есть, но относительно самого себя вы можете что-то изменить. Что?

Он сник. Он был не пентюх и не пустобрех, и понимал, что я по-своему тоже прав сейчас, — невозможно же, действительно, устроить тут думское слушание по вопросам культуры. Пора было переходить к чему-то более конкретному, тем более что в определенной степени выговориться ему я все-таки дал. Пар спущен, теперь и за дело бы неплохо... Но этого-то ему и не хотелось. Категорически не хотелось, я чувствовал это всей кожей.

Он этого боялся, как боялся имени Антон.

— Я... — начал он, и у него вдруг сел голос. Он покрутил головой, тихонько кашлянул, а потом даже потер загривок и шею. Да, он сильно изменился. Не внешностью, внешность-то как раз редкостно уцелела, а повадкой, состоянием. — Я ничего не хочу. Я устал хотеть! — вдруг отчаянно выкрикнул он. — Я боюсь хотеть! Все, чего я хотел, оборачивалось вредом кому-нибудь... кому я совсем не хотел вреда! Если бы я не боялся хотеть, Господи! Какое это счастье — захотел и сделал! Или захотел, — но осознанно не стал делать, предвидя, что получится вред. А тут захотел, сделал — и обязательно вина. Захотел чего-то другого — опять вина. Захотел — и мука, мука, захотел — и всегда потом жалеешь об этом! Разве так можно жить?

Ого, подумал я.

— Вот слушайте теперь... Требовали — так слушайте теперь эту чушь!

— Слушаю, — тихо произнес я. — Слушаю, Валерий Аркадьевич.

— Я как будто и не живу, а только... как бы сказать. Только прощения прошу. Думаю не о том, что мне надо и чего не надо, чего я хотел бы и чего — нет, а только о том, не подумали бы обо мне худо. Только и знаю, что доказываю: я не подонок! Не подонок я! И ведь понимаю, что это бессмысленно, — те, из-за кого

эта истерика, про нее и не узнают никогда. Но ничего поделать не могу.

Он замолчал, тяжело дыша. Лицо его пошло пятнами, глаза лихорадило.

— Паралич, полный паралич воли. Вот как это называется. Я разучился вообще радоваться и получать удовольствие. Головой понимаю — вот это должно бы меня порадовать, я же это любил. Ничего подобного. Только саднит, что, если мне хорошо, — значит, я это у кого-то украл, значит, кого-то поранил, замучил. Может, оттого и писать не могу. Доктор, — вскинулся он вдруг, — я же и текстами своими ухитрялся ранить! В голову бы не пришло! А мне говорят — ты меня вот тут вывел, ты меня оскорбил! — помолчал. — Единственное, что окупает мучения над бумажками, — удовольствие от работы. Не ожидание гонорара, не предвкушение читательского восхищения — наслаждение процессом. И надежда поделиться собой. Главным в себе — мыслями, чувствами... с близкими людьми. А близкие знай себе обвиняй — на самом деле все не так, мол. И вот ни надежды, ни наслаждения. Страх...

Я наклонил голову и взглянул на него исподлобья. Этого хватило, чтобы он осекся буквально на полуслове.

— А если бы вы смогли преодолеть этот страх, Валерий Аркадьевич, — сказал я, — что бы вы сделали? Вот так вот, первым делом?

Я едва не отшатнулся. Тоска взорвалась в нем изпод пепла так, будто в кабинете взорвалась осветительная ракета.

Еще несколько мгновений он продолжал смотреть мне в глаза, потом сгорбился и уставился в пол. Стало настолько тихо, что слышно было его хрипловатое, прерывное дыхание.

Я почувствовал, что именно он сейчас ответит. Но не посмел верить себе.

И напрасно.

— Я...— едва слышно выговорил он.— Я попросил бы прощения... нет, это слабо сказано. Я постарался бы покаяться. Есть одна женщина и один мужчина, я их очень давно не видел. Я бы их нашел и...

Он умолк. Я выжидал долго, но понял, что он ничего больше не скажет.

— Вы думаете, этого хватило бы? Валерий Аркадьевич, а? Чтобы все те колоссальные проблемы отступили для вас на задний план?

— Нет,— сам будто размышляя и у меня на глазах нащупывая ответ, по-прежнему с опущенным лицом, медленно произнес он.— Они не отступили бы на задний план. Но, если бы она сказала: ты не подлец, я получил бы право... говорить. Не только с психиатром. Я получил бы право чувствовать себя правым. Вы понимаете?

Я помолчал.

— У меня было бы, что противопоставить, чем возражать. Понимаете?

Я еще помолчал.

Потом откинулся на спинку своего кресла и чуть улыбнулся.

— Так что же мешает, Валерий Аркадьевич?

Он вскинул на меня растерянный, совсем беспомощный взгляд.

— Попытка ведь — не пытка.

— Пытка, Антон Антонович. Какая пытка! Это просто невозможно.

— Хуже-то не будет.

— Вы думаете? — спросил он.

Я пожал плечами. Он все-таки назвал меня по имени.

Он долго сидел неподвижно, пытливо вглядываясь мне в лицо и поскрипывая на выдохах своими бурными сушеными бронхами. Потом медленно, со стариковской натугой поднялся.

— Сколько я вам должен?

Я коротко оглядел напоследок его лучший костюм.

— Мы проговорили сорок восемь минут, — медленно ответил я. — За предварительное собеседование, длившееся меньше часа, у нас плата не взимается.

Какое-то время он стоял передо мною неподвижно, а потом пошел к выходу. У самой двери вновь повернулся ко мне, с несколько старомодной вежливостью поклонился и отворил дверь.

Ушел.

Я встал и несколько раз прогулялся по кабинету вдоль, да поперек, да зигзагом. У меня дрожали руки.

Одна женщина и один мужчина...

Про меня он, разумеется, и думать забыл. Скотина. Несчастливая скотина. Ну-ну.

3. Завертелось-закрутилось

У Сошникова не отвечали.

Я начал звонить минут за сорок до урочного времени, потому что сердце у меня скакало не на месте. Тревожно мне было за Сошникова. Еще с ночи волноваться начал; зная его, я понимал, что в такой ответственный момент, как отъезд невесты насколько невесты куда, у него нервы могут пойти вразнос. Документы потеряет, или билет, или неторопливо пойдет под троллейбус, размышляя о дальнейшей своей судьбе.

И вот впрямь — нет ответа.

А ведь я не знал ни рейса, ни времени отлета или отъезда. Может, он все-таки поехал помаячить у прежней супруги под окнами? На прощание. Я знал и адрес ее, и телефон; однажды, месяца два назад, мне довелось свидеться с его бывшей супругой и дочкой. На меня они, вроде, тогда не залаяли.

Поколебавшись, набрал — но там не отвечали тоже. Хотя это было как раз нормально: жена на работе, дочь на лекциях или уж где там она коротает время первой пары...

Предупредив Катечку, что меня не будет часа полтора, я ссыпался вниз, на стоянку. С усилием спихнул ладонями тяжелую клеклую корку мокрого снега с ветрового стекла, нырнул в кабину и рванул так, что тормоза заверещали. Будто в крупноблочном боевике типа «собери сам»: спецназ, кишки, постель; погоня. Будто это я опаздывал на трансатлантический рейс в новую жизнь.

Впрочем, в аэропорт ехать было бессмысленно, я ведь даже не знал, летит он, или сначала в Москву катит поездом. Ну даже в голову не пришло узнать у него поточнее. Договорились созвониться, и все. Договорились, что провожу, и шабаш. Ан чего получилось.

По питерским узостям и летом-то не шибко разгонишься — при том, что у нас теперь полтора десятка транспортных средств на квадратный метр покрытия, и полгорода перерыто, а полгорода перекопано; ну, а уж по ноябрьской жиже, под то и дело срывающимся тяжелым сырым снегопадом и паче того. Только ошметки летели в стороны... Впрочем, и от окружающих они летели отнюдь не меньше, то и дело расплескиваясь, будто коровьи лепешки, у меня перед носом, так что время от времени я непроизвольно бодался головой вниз или в сторону, уворачиваясь от летящих, казалось, прямо в лицо комьев и брызг. А если мимо ухитрялся проскочить, скажем, какой-нибудь камазюка, — впору останавливаться. Но я не останавливался. Лишь дворники принимались лихорадочно гонять жирную грязь вправо-влево.

Добирался я больше получаса.

На мои остервенелые звонки в дверь тоже не отозвался никто. Пританцовывая на лестничной площадке, я отчетливо слышал сквозь дверь, как звонок озверелым шмелем жужжит внутри. Но это был единственный звук, доносившийся изнутри. С минуту я трезвонил, потом понял, что схема действий бесперспективна.

Опрос соседей... Нет, подождем. Не стоит светиться. Мы договаривались созвониться в половине одиннадцатого — сейчас десять сорок восемь. Стало быть, телефонить я начал еще до десяти, и Сошников уже не подходил. Если он все-таки внутри, и просто по каким-либо причинам не отзывается, то я все равно здесь, и мимо меня он не проскочит. Так что не будем пороть горячку.

Я еще потоптался у двери, а потом, уже неторопливо, окончательно вгоняя и вклепывая себя в спокойствие, пошел вниз.

Ход оказался правильным. Под козырьком у парадного, поставив раздутые хозяйственные сумки на присыпанную снегом лавку, стояли три бабульки и оживленно обсуждали нечто животрепещущее.

— Вона тут он и валялся, вона, в снегу припечатался...

Я рассеянно остановился, как бы выйдя из лестничной духоты и с наслаждением вдыхая свежий, пахнувший снегом воздух. Прищурился якобы с удовольствием. Скосил взгляд влево и вниз: действительно. Отчетливо читалась полузатоптанная последующими передвижениями трудящихся сложной конфигурации вмятина. Выраженная проплешина от задницы, смазанный отпечаток спины и ямка локтя, словно человек сел и сидел тут довольно устойчиво и долго, но в какой-то момент — возможно, в первый момент, садясь — потерял равновесие и опрокинулся на спину, но тут же вернулся к положению, менее расслабленному и предосудительному. Но ни следов крови, ни следов рвоты, ни следов борьбы.

Речь шла о Сошникове.

На какое-то мгновение я его даже увидел, поймав картинку, мерцавшую перед мысленным взглядом бабульки-свидетельницы во время рассказа. Он был в жутком состоянии, я не видел его таким никогда.

Бабульки не обратили на меня ни малейшего внимания.

— И не поздно еще было-то, «Пора любви» не началась... Я иду, а он уж валяется,— бабулька и вообще упивалась своей теперешней ролью, но слово «валяется» произносила с особенным наслаждением.— Пьянуши-ий! Ну прям лыка не вяжет! Я ему: Пал Андреич, вам помочь? Пал Андреич, простудитесь, шли б домой! А он только улыбается и поет чего-то...

Самое парадоксальное, что она действительно совершенно искренне квохтала и кудахтала над ним в сумерках вчерашнего вечера. Я отчетливо видел, как она даже пыталась поднять его, и ушла, лишь совершенно запыхавшись и отчаявшись. И все это отлично уживалось в ее душе с незамысловатой радостью от того, что высоколобый сосед, про которого то в газетах помянут, то в телевизоре интервью возьмут, НАКО-НЕЦ-ТО ВАЛЯЕТСЯ — хотя он просто сидел, обхватив колени руками — и лыка не вяжет. Точь-в-точь как каждую субботу племянник, сантехник Толенька...

— Ну это ж надо, это ж надо,— изумлялась другая бабулька.— А ведь вроде приличный человек, ученый. Всегда вежливый такой.

— Да он и вчера не матюкался. Вообще ничего не говорил, только чего-то пел тихонько так. Буру-буру, буру-буру.

— Ну это ж надо, это ж надо...

— Оне все пьют по-черному, кто ученые-то,— сообщила третья.— Только тайком, чтоб людям не видеть. На людях-то оне чин-чинарем, а как в квартиру войдут, так путан по телефону скличуть — и водки, водки...

Петербурженки.

Двадцать первого века.

— А раньше вы его пьяным видали?

Какой жгучий и какой болезненный интерес.

А ходил ли Христос до ветру? А не был ли Сергей Радонежский педиком? И, разумеется, спрос порождает предложение, клиент всегда прав, рынок — мгновенно

отыскиваются эрудиты: ходил до ветру, ходил, у Луки об этом прямо написано, только при Никоне из синодального текста это место вырезали, чтоб народ не смущать. Был, был педиком, Пересвет его перед Куликовской битвой в зад употреблял, это в одной польской хронике достоверно записано, — но ссылаться на это нельзя, вы ж понимаете, на православии государство сейчас свихнулось!

Еще одна драматическая особенность функционирования психики: все давление подсознания и все уловки сознания направляются вдруг на то, чтобы доказать: признанный авторитет — не авторитет, а авторитет тот, кто лучше это докажет.

И вот вместо восхищения оттого, что кто-то, мучаясь телом, как и любой другой, будучи, как и все, подвержен голоду и боли, соблазну и недугу, сумел, несмотря на это все, СДЕЛАТЬ нечто — заведомое и сладострастное пренебрежение этим сделанным. Именно и всего лишь потому, что этот кто-то остался подвержен голоду и боли, соблазну и недугу... Как если бы однорукий или одноногий калека ухитрился вскарабкаться на Эверест, но ценители взвыли от разочарования, словно увечье не удесятерит ошеломительность подвига, а, напротив, урезает взятую высоту в десяток раз...

Я пошел к машине. Здесь я узнал все, что можно было узнать. Перед глазами жутко висело виденное бабушкой лицо вчерашнего Сошникова — лицо счастливого дебила с пустыми глазами без зрачков, отваленной челюстью и струйкой слюны на подбородке.

Это не алкоголь.

Хотя он же сам говорил, что собирается выпить с кем-то... как его... с Венькой Коммунякой. Я даже не спросил, кто это.

Так навтыкаться накануне отъезда в Америку обетованную...

Да, собирался выпить. Возможно, выпил. Но такие глаза... нет, не алкоголь.

Венька.

Я утвердился за баранкой, захлопнул дверцу, но не стал заводить мотор, а попытался сначала сообразить, что мне сейчас делать.

Бабулька так и оставила его сидеть. Покудахта-ла, попугала: простудитесь, шли бы вы домой, спать, завтра пивка, все хорошо станет... Сошников не реагировал, и она, попытавшись его приподнять, надорвалась, отчаялась и ушла. Что было дальше, она не знала.

С достаточной степенью вероятности можно предположить, что до квартиры Сошников так и не дошел. Удивительно, как он до своего парадного дошел. Возможно, его довели. Возможно, тот самый Венька. Дальше — бросил.

Глаза.

Это не алкоголь!

Но любой решит, что алкоголь.

Обзванивать легавки?

Сталкивался я с ними, там редко достаивают ответами. Нету такого и не было — и не мешайте работать. Я глянул на часы: одиннадцать ноль семь. В такую поздноту, сколько мне известно, из легавок уже вытаскивают в шею.

А если случилось нечто более серьезное, должны были дать знать бывшей семье. Хотя бы потому, что больше некому. Хотя бы для того, чтобы удостоверить личность. Я знал, что Сошников, раз и навсегда напуганный, похоже, еще андроповскими облавами — для меня легенда, как ежовщина или дело петрашевцев, а для него лучезарная юность, — не выходит из дому без вороха документов, среди которых при желании вполне можно отыскать адрес и телефон отшелушившейся благоверной.

Ах, Сошников, Сошников. Вечно с тобой не все слава Богу. Уж, казалось бы, вот он — счастливый финиш. Что ты еще отчудил?

Куда, интересно, я дел его дискету? Мемориальную, так сказать...

А вот она так и лежит в кармане. Напрочь забыл. Не вынул даже.

Ну и ладно, это не к спеху.

Я выдернул из нагрудного кармана куртки сотовик и снова набрал номер, по которому надлежало бы откликнуться хоть одной из сошниковских дам.

И действительно, на сей раз трубку подняли. Девичий нежный голос сказал без интонаций, подражая компьютеру:

— Хак-хак.

Вот оно что. Когда мы в тот раз виделись, дочка еще не хак-хакала.

— Воистину хак-хак,— ответил я.— Можно сказать, алейкум хак-хак.

Там приснули вполне по-человечески. Но очень коротко.

— Быстрый поиск на процера,— сказал я.— Дата есть, нет?

Секундная заминка на том конце. Потом мрачно:

— У него винч полетел. Увезли на переформатирование.

Вот даже как. Я зажмурился на миг. Ну, Сошников...

— Куда?

— Памяти не хватает.

— Быстрый поиск на плату.

— Плата найдена.

— Плата экзэ.

— Загружаю.

Было слышно, как трубку небрежно уронили на что-то твердое.

Вся страна говорит на жаргонах. В основном на блатном. Я уж не говорю о матюгах. Бывает, на профессиональном,— но значительно реже и уже. Даже отсутствие жаргона у подобающе воспитанного могиканина

воспринимается как еще один жаргон — совсем уж выпендренный и никчемушный, ибо ничей, ни с кем не объединяет и не демонстрирует групповой принадлежности. Куда делись люди, знающие русский язык хотя бы в пределах школьной программы? Ведь они, наверное, не умерли и не эмигрировали все разом! Почему даже московские теледикторы путают, скажем, «довлеть» с «давить», так что слово «самодовлеющий» они, видимо, понимают не как «самодостаточный», а как «самодавящий»? «Надо мной довлеет...» Почему они с числительными вообще уже перестали справляться, из вечера в вечер вываливая на страну перлы типа «около двести пятидесяти боевиков» или «подписи были поставлены более чем трехсот тысячами»? Почему наш интеллигентный президент, стремясь, видимо, быть максимально понятным народу, пахан-паханом заявляет перед камерами «По ним на зоне нары плачут»? Почему корявый, гунявый, дебилный пиджин-раши сделался мало того, что нормой, — знаком причастности к большинству? К свободе и силе?

Странно, что Вербицкий еще и об этом не поговорил... Не успел, наверное.

И вот предельный на данный момент отрыв от нормальной речи и одновременно явный вызов фене и матерщине: индейцы племени хак-хак. Вообще по возможности ни слова живого, лишь компьютерная лексика. Знак принадлежности к группе избранных, продвинутых, более всех иных подготовленных к подъему на следующую ступень цивилизации.

Ну, например, есть такая железяка — материнская плата. Давным-давно ее в просторечии сократили до мамки. Но, когда понадобилось как-то называть обыкновенную живую маму, которая рожала и кормила грудью, двух мнений быть не могло: плата. В пару к плате нужно нечто мужского рода. Очень просто: процессор. Но слишком длинно говорить — стало быть, коротко и веско: процер. «Родители вместе не живут»

будет «плата с процером в разъеме». И упаси вас Бог от ненормативной лексики, хотя, например, слово «разъем», да еще в таком контексте, буквально провоцирует заменить одну букровку для вящей эмоциональности. Но вот эмоциональности-то хак-хаки и не приемлют; художественную литературу они, например, не читают принципиально — благо школьные программы это теперь позволяют с легкостью. Я сам видел, как чистили нюх одному юному неوفиту именно за «разъемную» шутку и приговаривали: «Запускаем Эн-Дэ-Дэ! Раз бэд кластер!» Плюх! «Два бэд кластер!» Плюх! «Три бэд кластер!.. Четыре... пять... Фатальная ошибка исправлена!»

С две третьего года они стали уже заметным молодежным движением. И пошли куда-то вбок.

Как раз в ту пору американцы опять принялись вещать о своих успехах в создании искусственного интеллекта и о том, какое счастье и гармония всех ожидают, если людей поголовно подключить к единому информирующе-координирующему центру. Приезжал один из первых пропагандистов этой идеи, старик Болонкин, ускакавший в свое время из Союза, потому что тут был ужасный тоталитаризм и полное подавление личной свободы, — и сладко пел в прессе и по ящику: «Возникнет органичное соединение отдельных человеческих особей как бы в единый организм, напоминающий новый вариант царства Божьего. Нечто подобное реализуется в рое пчел или в муравейнике. Каждый получит возможность войти в контакт с любым человеком, будь то популярный актер, политический деятель или просто понравившаяся девушка. Вы сможете общаться с ними, хотя на самом деле вы будете общаться лишь с компьютерными образами этих людей. Учитывая очевидные преимущества такого рода отношений, так же как и риск размолвок, измен и инфицирования, можно предположить, что в недалеком будущем семейные отношения, в том числе и сексуальные, станут преимущественно

компьютерными. Методами геной инженерии программа полового влечения вообще будет стерта в генетическом коде как устаревшая. Навсегда исчезнут проституция, ревность и сексуальное насилие. До тех же пор, пока все это существует, искусственному интеллекту будет трудно контролировать мир человеческих страстей».

Это я не отказал себе в удовольствии процитировать свободолюбца по своим записям. Уж очень текст богатый, для психоаналитика — клад.

В порядке реализации стратегического партнерства американцы всерьез — не официально, конечно, а так, без галстуков — предлагали опробовать систему, как только она будет создана, в России. Дескать, она поможет наконец преодолеть глубокий раскол постсоветского общества. И вот перед посольством в Москве и у нас в Питере перед консульством на Фурштадской выстраивались сотни и тысячи мальчишек и девчонок, увешанных, будто рождественские елки роботов, пришитыми или пристегнутыми к одежде дискетами и лазерниками, и стояли, молча уставившись на развешивающиеся звездно-полосатые полотнища, под лозунгами вроде: «Вставьте нам чипы, нам все равно думать не о чем!» А дипломатические сошки снисходили к недорослям по мраморным ступеням и гуманитарно раздавали самым активным десяток-другой мелкого, но фирменного счастья — от самоновейших аудиодисков до жвачки...

Молодые патриоты-скины не раз пытались молодых хак-хаков разгонять и бить. Однако словарный запас у скинов был на уровне «Америка — параша» и «мочи пидорасов», контрдроводы и того беднее, а позитивная программа сводилась вообще неловко сказать к чему — что и понятно, ведь люди с более обширным словарным запасом бить, как правило, не ходят, им просто некогда, они слов набираются; зато кулаки у них всегда, так сказать, в оперативной памяти.

Не помогало. Побить получалось, а переубедить — нет.

Стратегические партнеры от великих щедрот, наверное, и рады были бы всем желающим аборигенам понавставлять всевозможные чипы куда ни попадя, но быстро оказалось, что до искусственного интеллекта опять далеко, как до звезд, и демонстрации рассосались. Однако дело хак-хаков жило и, судя по всему, где-то подспудно побеждало. Вот и вполне нормальная, хоть и вполне балованная девчонка Сошникова сбрендила...

А ведь, возможно, через несколько лет и мой станет обо мне вот так — равнодушно и абсолютно вчуже. Пристрелят меня, а он кому-то сообщит: процеру железо попортили. Когда, кто? Не знаю, памяти не хватает.

— Алё? — спели в трубке.

— Алена Арсеньевна, здравствуйте, — поспешно проговорил я. — Вы меня, возможно, помните — меня зовут Антон Токарев. Ваш бывший муж знакомил нас пару месяцев назад. Мы должны были с ним сегодня пересечься...

— С ним какое-то несчастье, — с несколько преувеличенным, педалированным трагизмом в голосе произнесла Алена.

И было в ее голосе еще что-то.

Словно она ждала какого-то несчастья, словно знала — несчастье с бывшим мужем обязательно приключится. А его все нету и нету, день нету, два, — но вот, наконец-то...

— Вы уже знаете?

— А вы тоже знаете?

— Нет, только какую-то ерунду от его нынешних соседей.

— А нас разбудили по телефону ни свет ни заря, — трагизм в ее голосе испарился, сменившись ощутимым раздражением и обидой на Сошникова за то, что их разбудили так рано.

— Я тоже пытался вас вызвонить часа полтора назад.

— Ох, мы с дочкой после того, как нам позвонили из больницы, уснули снова, и вот только сейчас в себя приходим, Антон...

— Из какой больницы?

— Сейчас,— неподалеку от трубки зашуршала бумажка, и затем Алена с трудом, едва ли не по складам, сообщила, куда отвезли Сошникова. Наверное, спросенок так записала, что теперь прочесть не в силах, подумал я.

— Вам сказали, что с ним?

— Нет, толком ничего.

— Я сейчас туда еду, и у меня машина,— сказал я.— Вы к нему собираетесь? Заехать за вами?

Трубку тут же прикрыли ладонью, но сквозь заглушку угадывался оживленный нечленораздельный щебет. Все было ясно. Она, или даже они обе, исключительно под проклятущим давлением рудиментарной этики, дабы в больнице не подумали о них плохо и дабы самим не утратить уверенности в том, что они очень хорошие люди, и впрямь — хоть и с натугой, нога за ногу — собирались его навестить. Но теперь меня Бог послал.

Трубка открылась.

— Вы знаете, Антон, я действительно собиралась к нему поехать, все-таки не чужой человек, но такое трагичное совпадение, дочка загрипповала,— голосок был теперь ханжески жалобный. Лицемерить она так толком и не научилась. Впрочем, для Сошникова, вероятно, и столь дурной игры хватало; а меня, поскольку мы с ее бывшим мужем, похоже, корешковали, она мигом поставила с ним вровень.— Уже сейчас высокая температура, а ведь еще только утро. Я хотела бы вызвать врача. Если вы направляетесь туда, передайте Паше, что я постараюсь к нему заглянуть, как только девочка поправится. И отзвоните мне потом,— приказала она.—

Я хочу знать, что, в конце концов, произошло. Нас совершенно перепугали. Мол, он совсем не в себе... Ах, он же такой пьющий! Как мы в свое время с ним намутились! Чего я только не делала!

— Хорошо, Алена Арсеньевна,— с трудом расцепив непроизвольно стиснувшиеся от отвращения зубы, самым вежливым образом ответствовал я.— Обязательно передам и обязательно отзвоню.

На том мы и расстались.

Сошников действительно был совершенно не в себе. Все с той же блаженной улыбкой, которую я словил еще с памяти наткнувшейся на него ввечеру бабульки, но со свежим фингалом под глазом и со следами запекшейся крови вокруг ноздрей, он сидел на голой койке в приемном покое и тихонечко, на одной ноте, что-то тянул себе под нос. И слегка раскачивался в такт — хотя движения были очень неловкие, болезненные. Глаза оставались пустыми, как у младенца, и слюна по-прежнему поблескивала на подбородке.

Кошмар.

— Вы его заберете? — шмыгая носом, с нескрываемой надеждой спросил молодой врач, возившийся с ним все утро.

— Вообще-то я просто знакомый,— ответил я нерешительно и пересказал слово в слово всю отмазку, которой меня снабдила Алена. Врач сокрушенно внимал.— Хотелось бы сначала послушать, что, на ваш взгляд, стряслось.

— А шут его знает,— в сердцах ответил врач.

История Сошникова, насколько мне удалось реконструировать ее по рассказу врача, а затем — мента из вытрезвителя, была такова.

«Хмелеуборочная» подобрала его около половины девятого на улице. Это значило, что после того, как соседка отчаялась его поднять и ушла, он просидел в снегу недолго, но, поднявшись, пошел не домой, а куда-то. Куда — этого, вероятно, никто никогда не узнает.

Во всяком случае, его, натурально, сочили вдрызг пьяным, обласкали обычным образом, утрамбовали в зарешеченную клеть и, покатав по городу минут сорок — вплоть до полного заполнения клетки, — сгрузили в легавку. В отличие от остальных, он вел себя тихо, но запредельно невменяемо, и уже этим — как первым, так и вторым — был подозрителен. Попытка оформить документы на задержание согласно регулярным процедурам успехом не увенчалась, — ни на один вопрос он не то что даже не отвечал, а попросту не реагировал. Как бы не слышал. Сидел на манер достигшего нирваны йога, рассеянно страдал от уже полученных травм, тихохонько пел и раскачивался из стороны в сторону.

И при этом совершенно не походил на пьяного — ни агрессии, ни сонливости, ни вихревого стремления добавить. Хотя спиртным от него и впрямь припахивало слегка. Весьма слегка.

Люди в легавке опытные, хотя долго разбираться в нестандартных случаях — не склонные. Быстро сообразив, что дело тут, пожалуй, не в водке, а в чем-то более серьезном, серьезные же дела всегда чреватые лишними проблемами, дежурный лейтенант склонился к гуманизму. «Отпустим мы тебя, понял? — сказал он. — Отпустим! Вали!» Отпустить в ночной, с вымершим транспортом, ноябрьский город невменяемого по неизвестным причинам человека — тот еще гуманизм. Но он был проявлен.

И, вероятно, Сошников к утру просто замерз бы, блаженно возлежа в сотне метров от человеколюбивой легавки, но один из молодых рядовых, еще не вконец осатаневший от каждодневного общения с буйными заблужденными трудящимися, упросил непосредственного своего начальника взять Сошникова в очередной рейд. Доктора наук, попихав ему обратно в карманы обнаруженные там бумажки, сызнова определили в ту же зарешеченную клеть и повезли по черным улицам с

тем расчетом, чтобы раньше или позже проехать мимо дежурной больницы. Проехали, разумеется, позже, а не раньше — клеть к этому моменту уже была полнехонька, и кто-то из клиентов успел на Сошникова помочиться, а кто-то, обидевшись на явно высокомерное нежелание Сошникова беседовать, от души вмазал в рыло и огрел по балде. Милиционер клялся и божился, что следы насилия на Сошникове не милицейские, а алкашеские, и я сразу ему поверил, потому что чувствовал, как шло дело. На совести блюстителей порядка были только полуоторванный рукав — и травмы ребер, кажется, вплоть до перелома; но они к следам насилия не могли быть отнесены, их без рентгена не видать.

Словом, Сошникова-таки выгрузили у больницы. Однако принимать его там категорически не хотели. После бесплодных уговоров милиция плюнула и, оставив потерпевшего на ступеньках перед приемным pokojem, попросту поехала дальше по своим действительно многотрудным делам. Сошников посидел немножко, а потом прилег и подремал, оставив в снегу у подъезда след уже не сидящего, а именно лежащего человека. Около трех часов ночи над ним сжалились и взяли внутрь.

В общем, ему несколько раз крупно повезло. Ему попадались действительно добрые, способные к сочувствию люди. В больнице ему дали еще подремать, — но, проснувшись, он отнюдь не переменялся к лучшему. Только глаз совсем заплаыл. Ему даже сделали промывание желудка. Спыхватились!

Кошмарнее всего было то, что я, на пределе своих возможностей вслушиваясь в Сошникова, — не слышал и не чувствовал ничего. Он был чист и пуст, как дитя в утробе. И, как у всякого ребенка в этом минувшем возрасте единственным впечатлением является теплая уютная тесная тьма, так и в Сошникове жило одно-единственное впечатление, которое я мог

разобрать лишь на грани восприятия: скупо, но уютно освещенное помещение и негромкая боевитая песня, — которую он и продолжал уже сам тянуше мурлыкать на одной ноте: «Аванти... ру-ру-ру... ру-ру-ру-ру... ру... бандьера росса... бандьера росса...»

— Что это он наяривает? — непроизвольно спросил я.

Молодой полупростуженный доктор досадливо шмыгнул носом.

— Все время так. По-испански, что ли... Наверняка из какого-нибудь мексиканского сериала, их же, как собак нерезаных. Не знаю.

— И я не знаю, — сказал я.

В приемном покое было холодно, как в морге или мясном складе. Сошников в академическом своем костюме, при галстукe, изгвазданный, мятый, босой, в каких-то заскорузнувших потеках и кислых пятнах, с отдельно плещущим рукавом, сидел на койке, классически застеленной коричневой клеенкой до половины, и зябко поджимал пальцы на кафельном полу. Рефлексы не барахлили. Но меня он не узнавал. То стоячими, то расхлябанно болтающимися глазами почти без зрачков он благодушно смотрел перед собой, — я покрутился перед ним и так, и этак, позвал его несколько раз, сам назвался... по нулям. Ру-ру-ру-ру.

То-то супруге и доченьке радость.

А ведь они нипочем сюда не явятся. И его отсюда не возьмут.

— Ну, хорошо, — сказал я врачу, распрямляясь после относительно недолгих попыток наладить с Сошниковым хоть какой-то контакт. — Хорошо, Никодим Сергеевич. Вот вы с моим коллегой провозились уже пару часов. Вы можете хотя бы приблизительно... и, разумеется, неофициально... сказать, что с ним такое приключилось? Повторяю, мы с ним виделись совсем недавно, и он был в прекрасном расположении духа и вполне нормальном состоянии.

Молодой медик со старорежимным именем Никодим, клопоча и булькая переполненным носом, тяжело вздохнул. Глядел он на меня безо всякой симпатии.

— Наркотиками ваш приятель не баловался?

— Нет,— ответил я.— Совершенно определенно — нет.

— Шут его знает,— снова сказал Никодим.— То есть выпить-то он явственно выпил, но аккуратно. Однако понимаете, сейчас столько развелось всевозможных психотропных средств... Надо быть сугубым специалистом именно в этой области, чтобы в таких вот ситуациях отвечать ответственно и определенно. Может, он в водку себе чего-то добавил, чтоб шибче цепляло, и перестарался, не сообразив, что психотомиметик и алкоголь могут подействовать кумулятивно. А может, случайно что-то попало,— совсем уж неуверенно добавил он.— По крайней мере, следов иглы нет.

— А почему он поет так долго одно и то же?

— Ну, опять-таки я не специалист. Возможно, последнее внешнее впечатление так сказалось. Последнее перед тем, как химия ему впаяла по мозгам.

— Анализы вы делали? Кровь, мочу... Какая, в конце концов, химия?

— Анализы у нас платные,— огрызнулся Никодим.— Вообще вот так, с улицы, мы не берем. Нужно направление, нужна справка с работы или по месту жительства, нужно заявление ближайших родственников... Вы понимаете, что ваш приятель у нас находится, фактически, противозаконно? И,— его наконец провало,— если с ним что-то случится, я буду отвечать, как проводивший нелегальное лечение! Никто не станет разбираться, наркоман он или не наркоман. Раз есть следы действия наркотика,— значит, наркоман. А я — соучастник. Мне это надо? Вы вот сами говорите, что друг, коллега, а пришли и ушли. А я, человек совершенно посторонний,— шею подставляй!

Все было ясно. Рынок.

Я неторопливо и невозмутимо извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник, оттуда — стодолларовую бумажку.

— Где у вас оплачивают госпитализацию?

Никодим нервно облизнул губы.

— Да вы знаете... Собственно, ваш друг еще не зарегистрирован у нас поступлением, и я не вижу смысла запира́ть его тут... к нам ведь если попадешь — потом нескоро выберешься. Я мог бы оставить его, скажем, на сутки и провести все анализы неофициально. Частным, так сказать, порядком.

— Двое суток,— сказал я.— Мне надо подготовить его семью.

И с каменной ряшкой, достойной крестного отца всей психиатрической мафии города Питера, сронил купюру в стремительно вскинувшуюся Никодимову ладонь. У Никодима екнул кадык, купюра куда-то рассеялась, и врач стал похож на врача — деловитый, целеустремленный, опытный.

— Послезавтра я смогу ответить на все ваши вопросы, Антон Антонович. Найдете меня на седьмом отделении или в лаборатории. Скорее, думаю, уже на отделении. В прошлом квартале у нас как раз установили замечательный швейцарский аппарат...

— Подробности меня, ради Бога, не обременяйте,— перебил я.— Только результаты.

Никодим понимающе кивнул:

— Да-да. Понимаю. Извините.

Счастливый Сошников продолжал петь.

Судя по всему, его уже мало беспокоило то, что он совсем ничего не может дать семье. И что его мозг никому не нужен. И то, что его ждут не дождутся в обетованном Сиэтле, тоже оказалось, если сделать правильный глоток, не слишком-то важным. Ру-ру-ру-ру-ру...

Из машины я честно позвонил Алене. Как ни странно, она откликнулась.

— У вашего мужа... простите, бывшего мужа — сильнейший стресс,— сказал я.

— Он что-нибудь мне передавал? — опасливо спросила она.— Просил?

— Нет. Врачи рекомендуют ему полный покой, по крайней мере до тех пор, пока они не найдут причину стресса. Поэтому сейчас они стараются держать его в полной изоляции.

— А вы его правда видели? — почему-то спросила она.

Некая странность была в ней. Некий микрозазор между тем, как следовало бы ей при ее характере и их отношениях вести себя в данных обстоятельствах,— и тем, как она себя на самом деле вела. Чего-то я не понимал, и меня это раздражало.

— Нет, меня не пустили,— ответил я. Я не хотел оставлять ей ни малейшего шанса увидеть его таким. Смешно, но я бы хотел, чтобы ему дали Нобелевку, он бы приехал к бывшей жене на белом коне, сронил денюжат с тем видом, с каким я — Никодиму, и, весь в объективах телекамер, убыл с какой-нибудь юной нимфой в Сен-Троpez. За него хотел. Вместо него.

Мечтать так он еще в детстве, наверное, разучился.

В трубке раздался отчетливый вздох.словно далеко-далеко за излучиной ночной пароход прогудел — так примерно я почувствовал: по моим последним словам она поняла, что я чего-то главного не знаю. И вдруг раздался поспешный и очень ненатуральный стрекот:

— Надо же, беда какая! Ведь он на днях должен был за границу уехать, на работу, а вот поглядите... Ах, судьба! Он так ждал. Что же это могло приключиться с ним такое ужасное? Ах, он такой неприспособленный...

— Всего вам доброго,— сказал я.

Потом я навестил легавку, номер и адрес которой честно сообщил санитару молодой милиционер,

ломившийся в приемный покой ночью. Там я выяснил все, что оставалось выяснить, и с абсолютно искренней благодарностью пожал сошниковскому спасителю руку. У того глаза слипались после рабочей ночи, но до конца дежурства оставалось еще два часа, и он рад был хоть пять минут скоротать, поговорив о хорошем. О хорошем себе. Из-за дверной решетки выли, ругались, угрожали и хохотали, как в безумном обезьяннике, дежурный лейтенант с кем-то опять разбирался, потел и явственно мечтал всех убить, — а мы беседовали о нравственном законе, о помощи ближним... Честно говоря, мент не меньше Никодима заслужил какое-нибудь материальное поощрение, — но я сразу почувствовал, он бы не взял. Совсем зеленый. Как доллар.

Потом я посидел немного в машине, размышляя, и позвонил Коле Гиниятову — тоже милиционеру, но совсем из другой епархии и к тому же члену нашего тайного общества. Удостоверившись, что он дома, я рванул к нему.

С Колей мы знакомы были сто лет. Он принадлежал к тем абсолютно нормальным славным людям, у которых все идет нормально и всегда как бы к лучшему. Все тяготы бытия, которых, конечно, избежать он не мог, были ему по щиколотку. Отлично, честно воевал — и ни царапины. Вернулся без никаких синдромов и истерик, не озверев и не отчаявшись, просто с нормальными седыми висками. Быстро нашел работу. Удачно женился, и, хотя с его Тоней, на мой взгляд, можно было потолковать лишь о предметах конкретновещных, что где почем и какой завтра обед — я видел: Коля счастлив, пуговицы на рубашках и стрелки на брюках у него всегда в состоянии идеальном, в доме всегда чисто, уютно и есть, чем поживиться и где уединенно прилечь, если голоден и устал. Иногда я ему даже завидовал. В конце концов, парный духовный поиск, в отличие от щей да каши, штука далеко не каждодневная; а

вот штопать самому себе носки подчас бывает некогда, а подчас — обидно.

С ним было легко и просто дружить. А когда я рассказал ему свой замысел — он только восхищенно поцокал языком, от души пожал мне руку и коротко сказал: «Тошка, ты человек с большой буквы. Если перейдешь от слов к делу — я в команде».

Тони дома еще не было, а у Коли нынче оказался свободный день. Грех так говорить теперь, но тогда я подумал: повезло. Мы расселись по интеллигентскому обыкновению на кухне, он стремглав разметал чашки по столу. Беден выбор у людей, если они не хотят надираться: чай да кофе. Не минералку же для разнообразия разливать на двоих? То ли дело у выпивающих: пиво, вино сухое, вино мокрое, коньяк, водка, джин, виски, бурбон-одеколон...

Прихлебывая густую, сбитую с сахарной пенкой растворяшку, я кратенько обрисовал нежданно-негаданно возникшее интересное положение. В работе по Сошникову Коля самым непосредственным образом участвовал, и теперь испытывал такую же отчаянную, сродни отцовской, обиду, как и я.

— Ну, и откуда этот сволочизм? — угрюмо осведомился он, когда я закончил.

— Ясно, что Сошку траванули. Но кто, зачем и как, — непонятно. Химические частности, возможно, выяснят в больнице, хотя, откровенно говоря, не уверен. Похоже, химия хитрая. Не клофелин. В обычной больнице такую вряд ли расколют. Но, может, хоть в чувство Сошку приведут. Столь частные частности нам, в конце концов, не так важны. А вот кто и зачем — придется выяснять. Нам придется. Кроме нас, больше никому.

— Венька? — сразу взял он быка за рога.

— Да. Это единственная зацепка. Найти его, думаю, будет несложно: сосед, двумя этажами ниже, так сказал Сошка. Просто тебе это по должности и по навыкам сподручнее...

— Разумеется,— согласился Коля и несколько раз увлеченно кивнул. Я чувствовал разгорающийся в нем азарт.

— Версия такова: тебе его имя назвал сам Сошников. Скажем, в ментовке, куда его привезли. И посмотрим реакцию. Во-первых, на то, что у Сошникова совсем не весь разум отшибло, и, во-вторых, что мы так скоренько на названное имя вышли. Ведь вариантов не столь уж много: либо Венька сам работал, либо видел, кто работал, поскольку при этом присутствовал. Вероятность того, что он ни при чем, разумеется есть, но крайне малая.

— Абстрактная,— добавил Коля, сделав пренебрежительный пасс левой рукой. Кулаком правой он подпирал щеку.— Совершенно абстрактная. Сошников шел надираться с этим Венькой, так? С алкоголем ему был подан некий препарат, так? Мог он в один вечер квасить в двух местах? Теоретически — да, теоретически человек может за вечер вдеть и в пяти местах, и в десяти... я и сам, покуда не обженился, так поступал,— со скромным достоинством вставил он.— Но практически такой человек, как Сошников,— вряд ли.

— Сюрпризы всегда возможны,— предусмотрительно ответил я.

Ни черта я не был предусмотрителен. Я был преступно беспечен.

Я и не подозревал, насколько своей фразой о сюрпризах попал в точку. Я и не подозревал, в какую игру вяпался. И Колю вяпал. Этак простенько — взял и послал посмотреть реакцию...

И потому его гибель — на моей совести.

Взгляд сверху

Мутно-серая хлябь за окошком и сумерки в комнате, загустевающие с каждой минутой. словно это не комната, а батисфера, неторопливо, но бесповоротно соскальзывающая на ниточке троса в ледяную бездну.

От прикуриваемых одна от другой сигарет, которые Вербицкий уже не садил даже, а буквально жрал, щипало язык.

Телефон, слегка раскачиваясь, дрейфовал по волокнистым сизым волнам.

Фраза, бездумно брошенная твердым, веским и ледяным, словно металлическим, юнцом — превратилась за прошедшие два дня в манию.

Еще одной манией стали попытки понять, кого этот юнец напоминает. То ли Вербицкий мельком встречал его когда-то совершенно в другой обстановке, при других обстоятельствах, — то ли он просто был на кого-то похож. Это ощущение нестерпимо зудело под черепом, жужжало, как назойливая оса на оконном стекле. Но память за стекло не могла уцепиться и бессильно съезжала к исходной точке. Бессилие бесило.

Телефон лез в глаза и бесил еще отчаяннее.

Вчера, выкурив больше пачки, описав по комнате вокруг проклятого аппарата километров восемь сложных петель, Вербицкий позвонил ей в деканат. Поразительно, но среди бумажного барахла, давным-давно безнадежно мертвого, остывшего еще В ПРОШЛОМ ВЕКЕ, но так и плесневеющего по дальним ящикам, у него сохранилась двадцатилетней давности записная книжка. Он ее отыскал. Книжка сберегла ТОТ номер.

Но он был навешен уже кому-то совсем другому, какой-то загадочной, как там сказали, мясной диспетчерской. Тогда он, совсем озверев и постановив себе, что не сдастся, позвонил в справочное и узнал телефон деканата. Потом на последних каплях высокооктанового озверения позвонил и в деканат. Но в деканате сказали, что она здесь больше не работает.

Но у кого-то отыскивали ее домашний телефон.

Все приходилось начинать сначала. Повторить попытку немедленно — у него не осталось сил, горячее кончилось. Отложил на завтра.

Завтра превратилось в сегодня еще ночью. А уже опять вечер.

Он решительно ткнул окурок в ворох горько пахнущей трухи в пепельнице и тряским пальцем принялся крутить вихляющийся диск. Сердце лупило под левую лопатку, как стенобитная машина, все тело сотрясало, и в глазах темнело от ударов.

Он узнал ее голос сразу.

Но не сразу смог ответить. Только когда она уже чуть утомленно сказала «Слушаю» в третий раз и, похоже, собралась повесить трубку, он сумел наконец продавить сквозь горло ее имя:

— Ася...

— Да... — немного удивленно сказал ее голос.

— Ася. Это, — он судорожно улыбнулся, точно она могла его видеть, — Валерий Вербицкий. Может быть, вы помните... такого?

Пауза была едва уловимой.

— Конечно, помню, — ровно сказал ее голос.

— Я звоню, потому что... похоже, не могу так больше жить. Давно не могу. Я хочу попросить у вас прощения.

Ее голос не ответил.

— Ни для чего, — спохватился и поспешно заговорил он. — Честное слово, ни для чего. Просто мне невозможно дальше скрываться как ни в чем не бывало. Я давным-давно мучаюсь, честное слово. И вот надоумил один добрый человек. Взять да и позвонить, и просто сказать: простите меня.

Он умолк.

— Весной я прочитала вашу книгу, — произнес вдруг ее голос. — «Совестливые боги». Мне очень понравилось, Андрей. Сейчас редко кто пишет настолько просто и от сердца. Либо заумь, либо кровь да помойки.

Вербицкому показалось, что пол комнаты из-под него выдернули. Началось свободное падение. Но — свободное. Свободное!!!

— Потом я посмотрела: она издана еще в две втором. Неужели у вас с тех пор ничего?

— Ничего,— хрипло подтвердил он, продолжая рушиться сквозь сигаретный дым.

— Ужас,— сказал ее голос. В нем не было ни грана издевки, только сочувствие.— Ужас, что творится...

— Ася, нет! — панически крикнул он.— Вы не знаете ничего...— он готов был уговаривать ее не прощать. Ему стало жутко, что она простит, не ведая, что именно прощает; и он так и останется НЕ-РАСКАЯННЫМ.— Мне сначала надо... так же невозможно!

— Да я знаю все, Валерий,— сказал ее голос.— Андрей мне рассказал давным-давно. И про ваш визит к нему в институт, и про портфель, и про излучатель... Знаю.

Падение кончилось, и удар был страшен. Лязгнули зубы. Позвоночник хрустнул.

— Он знал? — вырвалось у Вербицкого.

Ее голос молчал.

— Вы снова вместе? — тихо спросил Вербицкий.

— Да.

— Слава Богу,— облегченно вырвалось у него. С души будто свалился камень, о существовании которого Вербицкий даже не подозревал. Так давно носил, что привык и перестал замечать.— Слава Богу... Как же вы сумели?

— Сначала было очень тяжело,— честно сказал ее голос.— А потом мы снова повстречались... собственно, я к нему пошла. Вот как вы говорите,— не могла больше жить в пустоте, и все. Думаю, была не была. Прогонит — так хоть буду точно знать, что не нужна. А он ждал. Так легко получилось...— она коротко, глубоко вздохнула.— Целый вечер, помню, сидели на кухне и все рассказывали друг дружке. Каялись. И в тот же вечер друг дружку простили. И, знаете, было бы ужасно, если бы не простили. Так и не узнали бы, насколько

от всего происшедшего стали умнее, добрее, тверже... — голос запнулся на миг. — Да, собственно, если бы не простили, то и не стали бы. Это очень трудно объяснить. А приходите в гости, Валера.

Пол опять разъялся, и воздух засвистел в ушах.

— Ася...

— Это никакая не вежливость, — сказал ее голос. — Нелепо нам было бы после всего быть вежливыми. Я серьезно.

— Но... Андрей...

— Андрей будет рад. Вы же такие друзья были! Вербицкий снова скрипнул зубами.

Ее голос, несколько приглушенный, как если бы она отвернулась от трубки, позвал:

— Андрей! Подойди, пожалуйста. Представляешь, это Валера Вербицкий!

Вербицкий с перепугу едва не кинул трубку на рычаги. Успевшие слегка подсохнуть ладони снова вспотели.

— Здравствуй, Валера, — сказал его голос.

— Здравствуй, Андрей, — сипло ответил Вербицкий.

— Валера, я вот что хочу... сразу, — вдруг напрягшись и став, как в давнюю пору, чуть застенчивым, сказал его голос. — Сразу. Прости меня, Валер. За ту кассету. Я был... Жизнерадостный кретин, вот кто я был. Очень прошу: прости. Если можешь.

Комната, поддавая Вербицкого по пяткам, запрыгала мячиком.

— Андрюха... — выговорил Вербицкий.

4. Задание моей жены

И все-таки, наверное, некое предчувствие у меня было. Никогда я не давал таких напутствий, а тут вдруг будто само собой сорвалось:

— Ты поосторожнее там. Ничего с ним вместе не ешь и не пей. И почаще мне сообщайся.

— Разумеется,— беззаботно ответил Коля.— Сегодня ввечеру доложусь. Я свободный нынче. Немедленно и начну.

— Хорошо. С соседями поговори. Впрочем, не мне тебя учить.

— Да уж да,— засмеялся Коля.

И тут из моей куртки, висящей на вешалке в прихожей, призывно запищал телефон. Я вскочил. Почему-то, сколько себя помню, я не мог откликаться на звонки неторопливо и с достоинством — всегда подпрыгивал и бегал, сломя голову и колотясь об мебель, будто всю жизнь ждал какого-то чрезвычайно важного сообщения. «Христос воскрес!»

«И на сколько же процентов наметились позитивные сдвиги?»

Впрочем, па Симагин, когда я ему принес этот анекдот, сказал, что он с бородой, да с такой седой, что в старом варианте фигурировал еще Брежнев. Только там на сообщение ему о Христе ответ был другой, сейчас не помню, какой именно.

— Извини,— сказал я Коле уже на бегу. Он сделал понимающее движение рукой, а потом взялся за свою чашку с кофе, совсем забытую на время обсуждения задания.

Звонок действительно был важным. Это позвонила Кира, а зачем бы она ни позвонила — хоть спросить, как пройти в библиотеку или сколько сейчас градусов ниже нуля,— для меня все было важным. Я любил ее до сих пор: Любил так, что...

Стоп.

Это никого не касается. Да и речь сразу становится бессмысленной. Ну как любил, как? Дашь незатасканную метафору! А где я ее возьму? Читатель ждет уж рифмы *розы*...

Я жить без нее не мог.

А с нею — не мог тоже.

Как и она.

— Привет, Тоша.

— Привет, ненаглядная.

— Все иронизируешь, жестоковыйный. Каменносердый.

— Никогда и ни единым словом. Посмеиваюсь сквозь слезы иногда, вот и все. Помнишь, в свое время Петросян свои смехопанорамы вечно начинал цитатой из кого-то великого: я смеюсь, чтобы не заплакать.

— Если бы выставить в музее плачущего большевика... Ладно. Я вот чего: ты не мог бы заскочить сегодня? Есть разговор.

— Разумеется. По первому зову — у ваших ног. Только, если не секрет,— про что разговор? Хочу, знаешь, морально подготовиться.

— Вообще-то я собираюсь представить господину начальнику рапорт о проделанной работе. И попутно задать несколько методологических вопросов относительно текущей операции.

— Понял. Через минут сорок буду. Хлебчик с тобой?

Это мы Глеба так звали иногда.

Я отвозил Киру в родилку. Мы уже знали, что, ежели будет сын,— то он будет Глеб. И вот подъезжаем, а Кира — она волновалась, конечно, но держалась молодцом,— бережно глядя живот, взмолилась как бы в шутку: «Глеб наш засушный даждь нам днесь...»

И появился на свет Глебчик-Хлебчик.

— Мама с ним в гости ушла к Антонине Витальевне.

Понятно.

— Это надолго. Как ты, возможно, помнишь. Старушки языками зацепятся про то, как хорошо жилось при Леониде Ильиче, а дети уже давно собирались какую-то гигабайтовую игрушку обнюхать.

— Выезжаю,— после короткой паузы сказал я и дал отбой. Аккуратно засунул телефон в карман и вернулся к Коле. Он поставил пустую чашку на стол и опять сделал понимающий жест.

А мне что-то не уходилось. Я помялся у стола, не садясь, и пробормотал, сам не понимая, зачем сорю словами попусту:

— Ну, давай, что ли. Счастливо. И не ешь там... Впрочем, я это уж говорил.

Коля засмеялся и вылез из-за стола меня проводить. Говорить было не о чем; пустопорожней болтовни мы с ним не терпели оба, а о деле все возможное было сказано. Теперь, пока не получена новая информация, можно лишь воду в ступе толочь, но на это всегда жалко времени, да и мозги шерстью обрастают. У порога мы обменялись рукопожатием, я вышел на лестницу, и дверь за мной захлопнулась. Больше я Колю не видел.

Подмораживало. Усиливался ветер, и утренние тучи — сырые, вислые — сделались теперь слепящими и неслись, как из-под кнута, кое-где уже порезанные лезвиями синего света. Сырой снег покрывался коркой, а истоптанные тротуары, кочковатые от рыхлых комьев и продавленных до черного асфальта следов, быстро стекленели. Оскальзываясь, я торопливо добрался до машины, с минуту погрел мотор, а потом, стараясь помнить об осторожности на явно грядущем гололеде — до чего же он осточертел! — покатил к Петровской набережной.

Родители Киры, вполне высокопоставленные и при большевиках, и ныне, обитали в некогда чрезвычайно престижном доме напротив стерегущих Неву китайских львов, и в первое время после знакомства с Кирой я тихо, но вполне по-пролетарски недоумевал: каким

чудом в такой семье выросла такая девочка? Как говорили древние китайцы о Тао Юань-мине, ухитрившемся оказаться едва ли не самым добрым и мечтательным из их бесчисленных гениальных стихотворцев, при всем при том жизнь свою прожив во время чудовищно долгой и кровавой междоусобицы: в грязи вырос лотос. Так и тут. Это уж потом — к чести своей должен сказать, что весьма скоро — я послал ко всем свиньям классовое чутье и разглядел, что отец Киры прекрасный мужик, работяга; на таких людях держался и большевистский режим, иногда позволяя им подниматься до среднего руководящего уровня, и нынешний на таких держится. Ни хрена не изменилось, откровенно говорил он мне во время редких наших неторопливых бесед, выхлебывая обязательную вечернюю рюмашку чего-нибудь безумно породистого и крепкого, — мне эти названия были смутно знакомы лишь по зарубежной литературе. Ни хренища. Как раньше работать не давали, так и теперь не дают. Только раньше — по идеологическим соображениям, а теперь при помощи трудовой и финансовой дисциплины. Что произвол партократии, что неукоснительное соблюдение законности... Будто, если у чиновной гниды партбилета нет, перед ним сразу становится слаще прогибаться! Где раньше один шиш торчал, которому отдаться надо, там теперь десять надуваются... И, если дам наших рядом не оказывалось: бя! Бя-бя-бя! Трам-там-там!

Последние полтора года Кира с Глебом время от времени отъезжала пожить у родителей, пытаюсь этими квазиразлуками спасти между нами хотя бы добрые товарищеские отношения. Сейчас снова был такой период, и мы оба знали, что больше не съедемся никогда.

Мы познакомились, смех сказать, в одном из канонических мест съема — в библиотеке. Правда, это была не просто библиотека, а Библиотека Академии наук —

на Васильевском, в конце Менделеевской линии. Оба по оплошности прискакали на абонемент, когда там как раз началось так называемое проветривание, и надо было как-то скоротать полчаса, что ли, — ну, и разговорились, то да се. Молодые, болтливые.

Впрочем, честно: я влюбился сразу и наповал.

В нее нельзя было не влюбиться. Веселая, добрая... солнечная. Нежная, заботливая...

Так.

Все сказал, нет?

Мы были счастливы. Мы все успевали. У нас все получалось. Мир оказался прекрасен.

А его отдельные последние недостатки мы, чуть постаравшись, совместными усилиями вполне в состоянии были устранить радикально и навсегда. Я как раз придумывал «Сеятель» и взахлеб пел канцоны о нем ежеутренне и ежевечерне, — а Кира восхищенно внимала, умно и дельно советовала, ласково кормила вкуснятиной, гладила рубашки и любила. А я ее обожал.

У меня был дом. У меня была тыл. У меня была преданная до мозга костей единомышленница и помощница, которой можно доверить все. У меня была младшая мама. Что еще мужчине надо, когда он лбом прошибает стены?

Потом родился Глеб, и материнский инстинкт, доселе безраздельно направленный на меня, сориентировался наконец на тот объект, для которого он природой и предназначен. А я этого даже не заметил. Мне бы поискать себе иное, принципиально отличное от приемлемого лишь в паре, место во вновь возникшем треугольнике отношений. А я как раз дошлифовывал состав спецгруппы и одновременно доводил математический аппарат расчета горловин. Я был слишком занят, слишком увлечен удивительными перспективами и упоен тем, какой я гений... Слишком — даже для того, чтобы заметить и понять происходящее, и уж подавно, чтобы действительно пытаться искать.

Двух лет не прошло, — и мы оба, со все возрастающей натугой держа семью и все с большим напряжением улыбаясь и воркуя как бы ни в чем ни бывало, в глубине души считали друг друга законченными эгоистами. Кира, уезжая по выходным обедать к родителям, перестала брать меня с собой, и там на пару часов давала волю слезам. А я принялся с мрачным и яростным фанатизмом работать по двадцать часов в сутки и тешить себя идиотской мыслью, что вот я учиню некий совсем уж несусветный успех и жена вновь станет меня уважать.

И еще два года мы боролись. Отчаянно. Изо всех сил. Мы ведь продолжали любить друг друга. Лучше бы уж разлюбили — легче было бы. Отчуждение осыпалось не на пепелище — оно рухнуло прямо на нежность, прямо на сумасшедшую потребность в друг друге!

Но против перемены полярностей в душе — все усилия тщетны. Против базовой системы ценностей не устоят даже самые светлые и пылкие чувства. Система ценностей их перемелет. Она что-то вроде BIOSa в компьютерах: машина работает либо так, либо никак.

Вставьте нам чипы...

Иногда и впрямь хочется.

Разница лишь в длительности и мучительности перемалывания. Мелкое чувство — будто фурункулу вскрыли: чик и пошел. Глубокое чувство — будто обе ноги размесило гусеницей неторопливо и злорадно наехавшего танка.

Мораль: не позволяйте себе глубоких чувств, живите мелко.

Большинство так и поступает.

Но у нас не получилось.

Наверное, все могло бы пойти иначе, если бы Глеб души в папке не чаял, если бы льнул ко мне, как в свое время я льнул к Симагину; если бы приставал с вопросами и в глаза глядел неотрывно, если бы, как я когда-то, бросался к двери с радостным визгом, слышав скрежет моего ключа...

Неужели мне настолько хотелось повторить собственное детство, прожить его сызнова, только так, чтобы я был Симагиным, а Глеб — мною? Возможно. Моего детства у меня было слишком мало. Непозволительно, калечаще мало. Каких-то полтора года.

Но он не бросался и не льнул. Маленький ребенок относится к отцу в точности так, как относится к нему мать этого ребенка, — особенно если видит отца не так уж много, фактически лишь по выходным, да и то чуть не весь выходной отец молчит, работает. И тут даже не важно, родной это отец или нет. В точности так, как относится мать. А у нас все сделалось принужденно, вымученно, обескровленно и болезненно, — и Глеб, разумеется, это ощущал. И к четырем годам уже совсем во мне не нуждался.

Я ничего не в состоянии был поделать — ни словом, ни поступком. Словом — это значило бы совершенно не по-мужски, бессмысленно и до отвратительности жалко низать укоризны и плакаться в жилетку родному человеку, который, хоть ты всю душу изведи на шелестящие гирлянды пустых, как покинутые коконы, слов, ничем ПОМОЧЬ НЕ СМОЖЕТ, ибо тут не единовременный товарищеский поступок нужен — нужно разительно перемениться, стать иным человеком... но, если тебе требуется иной, — не честнее ли и не добрее попросту, не мучая никого, пойти искать этого другого? А поступком — это значило молча, без объяснений прогнать ничем, в сущности, не провинившуюся передо мною подругу. Что, конечно, с общепринятой точки зрения вполне по-мужски, но с моей — как-то непорядочно.

А тут еще мой проклятый дар! О котором я никому никогда не мог рассказать. Мои знания — которых я никогда ни перед кем не имел права обнаружить. Они вообще не позволяли отмякнуть ни на миг. Мы засыпали рядом, Кира панически прижималась ко мне, будто встарь; тоненькая, хрупкая, горячая — тут уж, казалось

бы, можно впасть в безмятежность. Но я-то отчетливо помнил сверкающее облако самозабвения, на котором почивал вначале! Я-то еще хлестче ощущал, что рядом со мной — уже не она, не та моя женщина, что прежде; что той моей уже нет вообще, нигде, и никогда не будет больше, словно она умерла! Словно это я сам ее убил! Мне-то зазор между поведением и чувством был ощущаем ежесекундно!

В первое воскресенье октября мы презрели все неотложные дела и поехали гулять на острова — имелось там у нас задушевное местечко неподалеку от дворца. Было пасмурно, и пронзительно задувало с моря, обдирая праздничную листву с перепуганно скачущих ветвей. Зябко тряслась рябь на серых протоках. Я разрывался. Мы с Глебом кидали в воду веточки и смотрели, чья скорее плывет, и каждый громко и азартно, жестикулируя и приплясывая, болел за свою. Веточки капризничали, вели себя непредсказуемо и причудливо; то одна вырывалась вперед, то ее вдруг закручивало на месте и вырывалась вперед другая, я пытался рассказывать Глебу про парусность, течения и прочую гидродинамическую науку, — а самому мне вспоминались наши игры в летней парковой канаве с па Симагиным и то, как он мне вкручивал про уравнения Бернулли; а я, ничего почти не понимая, слушал заворуженно, потому что за его словами роились удивительные тайны и он их знал и отдавал мне. Как все по форме было похоже — и не похоже ни на вот столечко по сути. Потому что теперь было ветрено, и серо, и сыро; и Глебу было не интересно, он то и дело прерывал меня. А Кира мерзла. Я обнимал ее, упаковывал под руками, распластывал и раскатывал по себе, чтобы спасти от промозглого ветра, — она была такая маленькая и тонкая, что, казалось, вся может уместиться у меня на груди. И она сама втискивалась в меня, спасалась... Потом мы принялись целоваться так испуганно, словно только что открыли для себя это занятие, словно в первый

раз,— хотя на самом деле в последний раз. Но стоило нам заняться друг другом, Глеб тут же принимался ревниво дергать меня за руку и требовать внимания, и тащить наблюдать за нескончаемо дрящимся состязанием веточек, прыгающих на серой ряби... И я шел за ним, заискивающе пытаюсь приглубить его плечо ладонью,— а он, как всегда, выворачивался из-под моей руки и, отступив на шаг, взросло и укоризненно заглядывал мне в глаза, как бы говоря: ну неужели тебе до сих пор невдомек, что меня обнимать можно только маме? И я опрометью возвращался, снова отогревал ее, целовал ей руки,— и она целовала мне руки, но чего-то главного уже не было ни в ней, ни во мне; а Глеб, пыхтя, пытался нас разнять, раздвинуть, и сварливо, как старший, делал замечания: «Вы что, с ума сошли? У вас руки немытые! Вон же люди смотрят! Как вам не стыдно!»

И делалось очевидным, что надо кончать, надо прощаться с надеждой, чтобы не мутила она душу и не мешала отстригать не оправдавшие себя варианты жизни... и вспоминался кто-то из великих, Мамардашвили, кажется: «Дом разваливается, а мы его чиним, потому что надеемся: он будет хороший. Вместо того чтобы построить другой дом. Или — бесконечно чиним семью, которая уже явно распалась, потому что надеемся: завтра будет хорошо. Решительности, которую может дать только отказ от надежды, у нас нет. Решительности уйти и начать сначала. Надежда — как тот пучок сена перед мордой осла, что вечно идет за этим пучком». От собственной образованности иногда выть хочется. Но вместо того чтоб завывать, только твердишь себе: это — не более чем интеллигентский выверт, выпендренная лажа, ибо на самом деле, если бы, например, первобытные люди в свое время не ПОНАДЕЯЛИСЬ посредством долгих и неблагодарных трудов добыть огонь трением,— мы до сих пор бы ели бифштексы лишь после лесных пожаров...

Надежда — мой комплекс земной. Сказал психолог.

Вечером Кира спокойно собралась и вместе с Глебом уехала к родителям. На время. Мне надо дописывать диссертацию, а это же, ты сам, Тоша, понимаешь, удобнее делать у них, чтобы тебе не мешать и Глеба на тебя не навешивать. Там неработающая бабушка, так что сам Бог велел.

И я поблагодарил ее за заботу. И мы клятвенно пообещали друг другу хоть на пять минут созваниваться ежедневно, — чего, разумеется, не смогли исполнять ни я, ни она.

И вот прошел месяц.

Зарезервированные за мной крюки и штыри на царственной вешалке в головокружительной прихожей были предупредительно свободны. И мои шлепки стояли, ожидая меня, в полной боевой готовности — пятки вместе, носки врозь.

Когда Глеб был дома, Кира, встречая меня, всегда командовала: «Глебчик! Тапочки папочке!» И Глеб, маленький и деловитый, словно ученый щенок, садился на корточки и начинал рыться в изящной просторной тумбе с ворохами домашней обуви внутри, — снисходительно повинуюсь непонятно зачем играющим в безмятежность взрослым; вытягивал из пересыпающихся недр мои шлепанцы и, неся их на вытянутых руках, будто крысят за хвосты, аккуратно ставил передо мною. Я воспитанный, говорил его взгляд, я тоже знаю, что такое ритуал. Я тоже умею делать вид, что все в порядке.

Кира ждала меня, прислонившись плечом к косяку двери в гостиную. Она улыбалась. Наверное, можно было бы ради встречи по-дружески чмокнуть ее в щеку.

— У тебя усталый вид, Тоша, — сказала она. — Ты голодный? Пообедаешь?

— А ты?

— Без меня не станешь?

— Не стану.

— Я же растолстею. И ты меня разлюбишь.

Я смолчал. Она смешалась.

— Правда, мне нельзя лопать с тобой наравне, — беспомощно потянула она тему дальше, чтобы поскорее заколоровать некстати выскочивший блик любви и нелюбви. — Я же должна беречь фигуру... В стройном состоянии я ведь гораздо более ценный кадр нашего подполья, разве не так?

— Так, конечно, так, — сказал я, старательно улыбаясь, и, затолкав ноги в шлепки, пошлепал в ванную мыть руки. Она следовала за мной.

— Я могу салатик съесть за компанию, — сообщила она.

— Смилуйся, государыня рыбка, скушай птичку.

— Птичка, скушай рыбку! — с готовностью засмеявшись нашей древней присказке, тут же подхватила Кира.

— Договорились.

— Тогда айда ближе к камбузу. Или как? На улице холодает, иди в душ нырни погреться, пока я на стол собираю.

— Да нет, я ж на машине, что мне холода.

А чувствовал я, как она разрывается между желанием, чтобы я повел себя, как... как соскучившийся муж, — и страхом, что я себя так поведу. И заранее терялась, не в силах решить, как быть, если такое случится.

Но я старался даже ненароком не коснуться ее. Совесть. Дурацкая совесть.

Совесть — дура, штык — молодец...

М-да. Пошутил.

Впрочем, приняться за суп так, что затрещало за ушами, совесть мне не помешала, увы. Я действительно оголодал, мотаясь по городу, а было уже около четырех. К тому же готовила Кира отменно.

Да вообще Кира...

Стоп.

— Как диссертация? — с безукоризненно тактичным уважением к официальной версии осведомился я, когда ложка моя выброшенным на песок карасем забилась по дну тарелки.

— Хорошо,— Кира клевала свой салат и улыбалась, поглядывая, как лихо и стремительно я побеждаю первое. Перехватив мой взгляд, улыбнулась еще шире.— До чего же славно Антошенька кушает! Нет, правда, приятно смотреть, как ты ешь. Ты не пытаешься скрыть своих эмоций. А хозяйке это такая радость...

Она изо всех сил старалась сказать мне что-нибудь приятное. И не кривила душой, я чувствовал. Но она этим как будто прощения просила. Как будто прощалась.

— Диссертация движется. Но, вообще-то, я не о ней хотела...

— Да это уж я понимаю,— засмеялся я, отставляя тарелку.— Что я смыслю в ваших...

Она вскочила так стремительно, что вилка от ее руки едва не прыгнула со стола.

— Ты погоди отодвигать-то, еще мясо будет...

Словом, к тому моменту, когда она начала свой важный разговор, я несколько размяк от уюта и главным образом еды. Химия, ничего с ней не сделаешь.

Мне вспомнились глаза Сошникова.

Химия химии рознь.

Все-таки неправильно устроен наш мир, если капля какой-то отравы, поточным образом сваренной какими-то работягами под трепотню о кабаках и тетках, способна вот так неотвратимо и, возможно, необратимо аннулировать в умном, мягком, добром человеке его неповторимую душу. Со всеми ее сложностями, мучениями, прозрениями. Падениями и взлетами. Вдохновением и раскаянием. Возможно, богоданную. И, по слухам, бессмертную.

Смешно.

— Ну, вот,— сказала Кира.— Вот теперь можно разговаривать. Да погоди, не мой посуду, потом.

— Не могу,— ответил я, вставая.

Посуда — это была моя постоянная нагрузка. Я ее перехватил еще на заре нашей совместной с Кирой жизни,— и Киру тогда это крайне порадовало. Квалификации тут не требовалось ни малейшей, а процесс мне нравился. Не то что наука или, скажем, психотерапия наша. Результат сразу виден, и результат прекрасный, вдохновляющий: было грязное, и вот через минуту, стоило чуть поскрести,— уже чистое. В жизни бы так.

Но в жизни это настолько же сложнее, насколько человек сложнее тарелки.

Я с маниакальным, почти истерическим наслаждением умывал керамику и расставлял в ячейки просторной, роскошной сушилки. Впрочем, по моим критериям в этом доме все было просторным и роскошным,— и, когда я вошел сюда мужем, мне никак не удавалось приучить себя к мысли, что оно, в определенной степени, теперь мое. Во всяком случае, и мое тоже.

Как оказалось на поверку,— правильно не удавалось.

— Значит, так,— деловито сказала Кира, когда я завертел блистательный кран, вытер руки и вернулся к столу.— Теперь у нас в программе рапорт и желание посоветоваться. Сначала рапорт,— на столе перед нею, пока я брызгался над раковиной, появились лист бумаги и аккуратно отточенный карандаш.— Вторую горловину мы с Кашинским прошли наконец. С трудом, но прошли. Психоэнергетический градиент составил,— она начала неторопливо, но быстро и четко, как все, что она вообще делала, чертить график,— по моим прикидкам, ноль тридцать шесть, а то и ноль сорок...

Некоторое время мы работали, как в старые добрые времена, и постепенно и отчуждение, и грусть, и боль, и обида куда-то отступили. Все-таки общее дело сближает. И хотя я ни на миг не забывал о том главном, ради чего поручил Кире именно эту операцию и

именно этого пациента, профессиональный навык взяла свое; мы принялись, как ни в чем не бывало, уточнять ее предварительные расчеты нынешних значений базовых параметров, потом взялись за преобразование каждого из них поэтапными коэффициентами и так набросали вполне пристойный цифровой каркас следующей горловины... Я отмечал краем сознания: она отлично поработала. Точно и профессионально. При минимуме ситуационных касаний, при минимуме контактного времени; высший пилотаж. Умница моя...

Не моя.

Своя. Сама по себе.

— Но вот что я хотела,— нерешительно произнесла она потом, когда мы отложили листки с расчетами.— Понимаешь... Как ни мало мы общались напрямую, мне кажется, он начал... как бы это выразиться попроще. По мне сохнуть.

Давно пора, подумал я и едва не спросил вслух: а ты? Но я и без вопросов чувствовал, что сегодня она ЖАЛЕЕТ его куда глубже и сердечней, чем каких-то две недели назад. Куда глубже, чем полагалось бы в нормальной связке типа «врач—пациент».

Она начала относиться к нему НЕ КАК К ПОСТОРОННЕМУ.

Вадим Кашинский обратился в «Сеятель» пять недель назад. Назвался биофизиком, сказал, что прочел о нас в рекламном проспекте, попросил помочь. Я беседовал с ним часа два. История вроде бы обычная: полтора десятка лет интересной и любимой работы псу под хвост, никому ничего не надо, денег не платили, лаборатория распалась-рассыпалась, все в конце концов от бескормицы брызнули кто куда в погоне уж не за длинным, а хоть за каким-нибудь рублем. Тоска, ничего не хочется, мыслей нет... Даже в той прикладной фирмашке, куда он попал теперь, работать с пустой головой становится все труднее. Новая генерация, молодые дрессированные ремесленники, которым

плевать, интересно им или неинтересно, творчество у них или конвейер, лишь бы вовремя бабки капали, — дышат в затылок и вот-вот сожрут.

Не понравился мне Кашинский. Не ощущал я в нем угасших творческих способностей, — не было их у него, пожалуй, никогда. Разве лишь вот такусенькая искорка, давным-давно задавленная и затравленная им самим по неким не вполне для меня отчетливым, но отнюдь не возвышенным — в этом я мог поручиться — мотивам.

Да и не в этом даже дело, честно говоря. Что я, Свят Дух, чтобы штангенциркулем мерить диаметры искр. У этого, дескать, диаметр достойный, будем лечить, а у этого не дотянул полутора миллиметров, так что пусть пойдет и умоется. Нет. Он мне как человек категорически не понравился. Ощущалась в нем некая сладострастная разжиженность. Он был сломан, да, — но он был с его же собственным удовольствием сломан. Настоящий сеятель всегда тоскует о свободе, ему ее всегда мало; и чем сильнее в нем творческий посыл, этот жизненный стержень, вокруг которого, как небосвод вокруг Полярной звезды, неважно и подчиненно мотается все остальное, — тем ему радостнее, когда этого остального делается поменьше. И тем возрастает опасность слома, если остального становится побольше. А Кашинскому, казалось, в радость именно когда жизнь, будто лошадь в яслях, хрумкает этим его стержнем, хилым и хрупким, как хвощ; именно когда его ломают, он ощущает себя наиболее свободным — от способности и необходимости думать, предвидеть, понимать... Какое уж тут творчество.

И еще — он был не вполне искренен, я это чувствовал. Конечно, это не криминал, не обязан же он был совсем раздеваться передо мной. Но все же что-то он скрывал существенное, и это было неприятно.

Долгая мука, долгая пытка унижением в этом человеке, во всяком случае, ощущалась отчетливо. Но и

мириады мелких предательств висели на нем, и горестная смесь вины и гордости за них разъедала ему душу, словно кислота,— как и у всех, кто убедил себя, будто предает вынужденно, от необходимости и безвыходности...

Он был очень слабым человеком,— но, в конце концов, и Сошников был очень слабым человеком; однако иначе. И Сошников мне нравился, я готов был защищать его от всего света, как птенца своего. А вот Кашинского — нет.

И я взъярился на себя. Что за снобизм, в конце концов! Этот мне нравится, а этот нет — с какой стати вообще брать подобные соображения в расчет! Подумаешь, неприятны слабые. А не фашист ли вы, Антон Антонович? Белокурая bestия нашлась, фу ты ну ты! Да мама тебя бы попросту отшлепала, доведись ей это узнать. А па Симагин так бы посмотрел...

Словом, за то, что он мне не понравился, я себя же и виноватым почувствовал надолго. И поклялся, что из кожи вон вылезу, а сделаю из него конфетку. Эйнштейна хотя бы дворового масштаба.

Он же, при всей своей внутренней трухлявости, сидел передо мною печальный и вальяжный, с интересной бледностью на челе, жестикулировал скупой и отточенно, говорил негромко и неторопливо, интеллигентно, складно... такой благородно несчастный, такой невинно поруганный,— что у меня возникла еще одна мысль.

А надо иметь в виду, что на тот момент прошло каких-то два дня с тех пор, как Кира отъехала. Писать диссертацию. Я лез на стену со скрежетом зубным и понимал, что надо что-то решать, иначе мы так всю жизнь и промучаемся, нетрезво вихляясь то поближе друг к другу, то подальше, и оба с ума сойдем. И Глеба сведем.

И еще надо иметь в виду одну очень интересную деталь.

Решаюсь говорить об этом лишь потому, что для истории моей это весьма существенно. Коротенько. Когда я привел ее в первый раз к нам в гости и познакомил с родителями, я не мог всеми своими фибрами не почувствовать, что ей... как бы это...

Словом, так.

Если бы не наши с Кирой безоблачные, на самом подъеме находившиеся отношения, она влюбилась бы в па Симагина, как я в нее полгода назад — с первого взгляда и наповал. В лепешку бы для него расшибалась. Баюкала и нянчила. Вот такие пироги.

Что я почувствовал в па, — не могу рассказать. Я совершенно не понял того, что почувствовал. Редко со мной такое бывало, — а тут на уровне бреда. Будто он уже знал ее в какой-то иной жизни... Чистой воды, извините за выражение, метемпсихоз. Но во всяком случае, с меня хватило ощущения того, что сейчас она ему приятна скорее как дочка, нежели как юная красивая женщина; и на том спасибо. Ни к ней, ни к нему я, разумеется, не стал от всего этого хуже относиться, — но постарался некоторое время приглашать ее в гости пореже. А через месяц мы сняли крохотную однокомнатную квартирку на Голодае — и было нам с Кирой так хорошо, что от всех посторонних влияний мы отгородились надолго. И разваливаться стали изнутри, а не под воздействием какой-либо внешней силы.

Но я отметил тогда для себя, что Кира, как и подобает благополучной, утонченной и одаренной красавице — правда, не нашей эпохи, не рыночной, — питает явную слабость к поверженным титанам и к пожилым обессилевшим гениям. Строго говоря, это характеризовало ее с самой лучшей стороны. Просто я в эту категорию никак не входил.

А сидящий передо мною Кашинский, сколько я в этом вообще смыслил, был просто вылитый лысый Прометей без зажигалки.

Сколько душераздирающей, надрывной и сопливой лирики я по молодости исчитал! А лучше всех то, что я чувствовал тогда, сформулировал в свое время, как ни странно, Суворов, человековед далеко не блестящий, — сформулировал с четкостью и лаконизмом добротной разведсводки: «И еще есть выражение любви. Высшее. Уйти от существа любимого. Навсегда. Бросить. Порвать. Чтобы всю жизнь потом вспоминать. С горечью и болью».

Так и хочется эти отрывистые, как из шифровки, фразы дополнить шапкой типа «Юстас — Алексу»...

Одного недочувствовал и недоговорил изменник — потому, вероятно, что, вживаясь в характер своей героини, волей-неволей сделал ее эгоистичной себе под стать. Если это и впрямь любовь, а не наспех замаскированное красиво парадоксальными словами трусливое бегство за выгодой, — ничем не уйдешь, куда хоть как-то не позаботишься, чтобы существо любимое поскорее оклемалось после этакого, с позволения сказать, высшего и, во всяком случае, нетривиального выражения любви. Самое простое — это не произносить гарных, но явно припозднившихся речей о чувствах, а наоборот, полной сволочью себя напоследок поставить, чтобы не тосковали о тебе, а возненавидели... Но можно и получше придумать.

И я, прописав Кашинскому несколько вполне обычных сеансов на кабинете, в рекордные сроки набросал план-график восстановления его трухлявой искры, лет, по меньшей мере, двадцать назад затоптанной им же самим, потом тщательнейшим образом рассчитал первую горловину, прикидочным — вторую и, позвонив Кире, поручил их реализацию ей.

Положа руку на сердце: я колебался. Презрев занятость, я отправился за решением в паломничество по святым местам — к той квартирке на первом этаже, которую мы снимали с Кирой в начале совместной жизни... потом умерла мамина мама, мама осталась

с па Симагиным, а нам с Кирой достались бабушкины апартаменты, — тогда мы оставили изначальную обитель.

Глупо было это делать, и совсем уж глупо рассказывать об этом, — но я туда изредка ездил. Приникал, так сказать, к истокам.

Лучше бы я этого в тот раз не делал. Ничего там не изменилось, только сильно разрослись кусты, высаженные между приземистой серой пятиэтажкой и тротуаром, так что первого этажа и не видно было почти. Я лишь по коричневым раздвижным решеткам, еще до нас навешенным внутри кем-то из предыдущих жильцов для вящей безопасности, узнал наши окна. Но даже не замедлил шага. Миновал засиженного юношеством бронзового юнгу на КИМа. Продефилировал мимо магазинов, — куда во времена оны я радостно бегал за снедью, где мы с упоением покупали наши первые общие вещи, ерунду всякую вроде ситечка для кофе или комнатной антенны... И пошел обратно.

Паломничество, против ожиданий, на этот раз лишь ожесточило меня. Раньше подобные свидания — вот этот кирпичик! вот эта щербинка в асфальте! вот эта ветка! вот эта дверь, ну вот же! — сладко подчеркивали нерасторжимую связь с былым, намекали на возможность возвращения, возобновления, — и на сердце возгоралась светлая тихая печаль с изрядной толикой надежды. Вся — сродни надежде. Теперь омертвевшие декорации исчерпанного, сработавшегося счастья лишь подчеркивали окончательную и бесповоротную оторванность тех дней от дня сего, полную невозможность их возврата ни под каким видом, ни в какой доле — и вызвали одно только раздражение, даже злость, как надругательство над самым святым, как всякий явный и наглый обман: по видимости все то же, а по сути другое.

Это ощущение и было решением. Невозможность так невозможность. Стало быть, если не назад, то вперед.

Спецоперация, таким образом, пошла в три уровня. На первом проводился нормальный курс терапии с обычной целью повысить динамичность психики. На втором — был начат ряд психотерапевтических спектаклей с целью вернуть Кашиинскому уверенность в себе и в своих силах. А на третьем, предназначенном уже не столько для него, сколько для Киры, я ожидал, что она, своими собственными стараниями залечив Прометею печеньку и вложив утерянную зажигалку в его персты, СВОИМИ РУКАМИ ЕГО СДЕЛАВ, с ним и останется. Будет пестовать и баюкать. Материнский инстинкт. И станет ей не до меня. И перестанет она мучиться из-за меня. Не мог я больше терпеть, что она из-за меня мучается. Не мог.

Он в ее стиле, да и, видимо, человек действительно пристойный.

А он... Ну, Киру просто нельзя не полюбить.

А я... я, если буду мучиться один, уж как-нибудь сдюжу. Это легче.

И вот лед тронулся.

— А ты не ошиблась? — спросил я недоверчиво.

Она чуть качнула головой.

— Я бы не стала тебе говорить, если бы не была уверена.

— Ой, тщеславие бабье! — засмеялся я. — Иду это я, красивая, а мужики кругом так и падают, так и падают, и сами собой в штабеля укладываются!

У Киры замкнулось лицо.

— У меня возникло такое подозрение, — сухо произнесла она. — Это не планировалось. Это сбой. Я сочла своим долгом тебя предупредить.

— Пренебрежем, — сказал я легкомысленно. — Во всяком случае, пока. Даже если ты и права, легкая влюбленность делу не помешает, наоборот. Мужчинам, а в особенности творцам, это полезно. Музы там, все такое прочее...

— Антон,— взволнованно сказала она.— Я тебя не понимаю. Ты никогда не был ни жестоким, ни даже недальновидным. Всегда максимум лечебного эффекта при максимуме безболезненности. А теперь... Я никогда не сталкивалась с таким поворотом, и теперь мне не по себе. Я не знаю, как быть.

— Кира,— сказал я, напустив серьезность,— я, прости, тоже не понимаю. Из-за чего сыр-бор? Тебе что, неприятно, что тобой, скажем, восхищаются или неровно дышат?

Она с силой провела ребром ладони по скатерти. На меня она уже не смотрела. У нее вдруг стали пунцовыми щеки, лоб, даже шея.

— Я, видишь ли, к этому чувству... которое любовью называется... отношусь, Антон, с чрезвычайным пиететом. С чрезвычайным. Он неплохой человек, по моему. Замотанный, измученный, очень кем-то когда-то униженный. Наверное, наделавший ошибок,— как всякий хороший человек. Это парадоксально, да? Подонки творят свои подлости нарочно и ни секундочки не мучаются потом, и все как бы в порядке вещей. А хорошие, стремясь к каким-то идеальным кренделям, такого, бывает, наворотят — потом всю жизнь не расхлебать... Он очень хороший и очень несчастный. Добрый, веселый, умный.

О ла-ла, с предсмертной веселостью подумал я.

— Знаешь, он даже на твоего отца чем-то похож, по моему.

Почему-то она никогда не называла па Симагина моим отчимом, только отцом. Что, в общем-то, и правильно.

— Я не хочу, чтобы он из-за меня вдруг начал страдать. В конце концов, посмотри на это с точки зрения нашей задачи. Он только глубже в депрессию свалится.

— Полагаю, нет,— ответил я.

— Ну, тебе виднее,— нехотя сказала она.— Как знаешь. Но у меня в связи с вышесказанным вопрос

более мировоззренческий. Прежде я как-то не очень задумывалась на эту тему, но теперь, при перспективе доставить кому-то боль... Вот что, — она глубоко вздохнула, словно собиралась нырять. — Насколько порядочно то, что мы делаем?

Это был вопрос.

Я и сам уродовался над ним не одну бессонную ночь в ту пору, когда нащупывал путь. Выкручивал совесть так и этак, ставил на ребро и плющил на наковальне — и вслушивался в ее писк, пытаясь понять, что она там пищит и имеет ли она право пищать, когда речь идет о материях столь серьезных.

Почему интрига и обман, с неимоверной легкостью прощаемые тем, кто напропалую пользуется ими в личных и своекорыстных целях, вызывают такое негодование, если к ним прибегают во имя целей благих? Потому ли, что всякий нормальный человек вполне знаком с первым вариантом — сколько раз сам подличал и врал по мелочам, это в порядке вещей, без этого не проживешь... Но к тому, кто толкует о благе, всегда относятся с подозрительностью, как к заведомому лицемеру, и рады-радешеньки уличить его, испровергнуть, стащить с пьедестала в грязь.

А еще потому, что к тебе относятся так, как ты к себе относишься. И ты, верно уж, человек-то хороший, коли к благу устремился, именно потому, что хороший, жестоко и мучительно совестишься оттого, что подчас вынужден пускаться во все тяжкие. Тут-то тебя и ловят за руку. Тебе совестно — стало быть, ты и впрямь виноват. Вот, скажем, ради жилплощади нормальному человеку никогда ничего не совестно — он никогда и не виноват поэтому!

А главным образом потому, что твое благо отнюдь не обязательно будет признано благом теми, кто тебя осуждает и выставляет оценки. Вот в чем дело. Буханка хлеба, или тетка посисястей, или навороченный «че-роки» — это всем понятное, очевидное, бесспорное бла-

го. А вот твои измышления и грезы — манят далеко не всех. И, стало быть, для очень многих из формулы уходит множитель «благо» — и остается одна голая неприглядность.

Ладно, Бог с ним, с благом. Не надо громких слов. Я совершаю нечто не ради благих целей, а просто ради своих целей. Я не стану обсуждать, хороши эти цели или нет, являются они благом или не являются. Я слеую им и буду им следовать. И, как любой иной человек, пойду ради них на... многое. Кто-то идет на многое ради жилплощади, а я — ради того, чтобы сеятели сеяли. Все.

Для того, чтобы сделать что-либо, нужно соблюдать всего лишь три условия. Во-первых, нужно начать это делать, во-вторых, нужно продолжать это делать, и в-третьих, нужно завершить это делать.

В такие минуты мне до тоски отчетливо, как совсем недавний, вспоминался последний день детства. Как мы с па Симагиным бодро топаем в химчистку, — знать не зная и ведать не ведая, что через несколько часов мама так страшно и необъяснимо заболит, и потом рухнет мир. И он рассказывает что-то про неразрешимые вопросы и необратимые действия. Как страшно их совершать. Как не с кем посоветоваться. Что это за кошмар — когда ответственность ни с кем нельзя разделить. На каком-то созвучном той эпохе примере — про революцию. И я тогда даже понял кое-что...

Мудрый па Симагин.

Вот что я подумал сейчас. Наверняка найдутся трущачи, которые заподозрят меня, как в свое время принца датского Гамлета заподозрили, в гомосексуальной влюбленности в отца. Ну, в отчима. Уж слишком часто я его поминаю. И слишком, дескать, в превосходных степенях по отношению ко всему остальному, которое, дескать, как колос, пораженный спорыньей, в сравнении с чистым... Отдаю себе в этой опасности отчет.

И плюю на нее.

— Кира,— сказал я проникновенно.— Это мы когда-то очень подробно обсуждали. И, как мне казалось, пришли к полному единодушию. И работали вместе пять лет. Не было у меня в этом деле человека ближе по духу. Неужели ты тогда так горячо соглашалась со мной единственно потому, что ЛУЧШЕ КО МНЕ ОТНОСИЛАСЬ?

Это был запрещенный удар, и я прекрасно это знал. Но мне нужно было, чтобы она, во-первых, некоторое время еще работала с Кашинским и, во-вторых, в очередной раз убедилась, что я гораздо хуже, чем ей мнилось прежде.

У нее задрожали губы. Какое-то мгновение мне казалось: она заплачет. Но она сдержала себя.

— Я к тебе,— вздрагивающим голосом сказала она,— и теперь очень хорошо отношусь, Антон. И если ты мне не веришь, это беда.

Я ей верил. Но беда была в том, что никакое, даже самое замечательное отношение друг к другу уже не могло нам помочь.

Последняя фраза, пожалуй, как раз и исчерпала до донца ресурс ее преданности, и она, сама того не ощутив, стала значительно от меня свободнее, чем минуту назад. Мой отвратительный выпад буквально отшвырнул ее прочь,— как легкую щепочку грубо отшвыривает буруном от проревевшего рядом катера.

Какое-то мгновение она еще всматривалась в меня прежним взглядом. Ждала обратной волны. Потом ее лицо замкнулось, как бы захлопнулось.

— Да,— сказала она.— Похоже, нельзя долго играть людьми безнаказанно. Пусть даже и в благих целях. Привычка смотреть на людей, как на шахматы, до добра тебя не доведет, Антон. Не доведет,— встряхнула головой.— Наверное, ты уже спешишь... как всегда. Иди, не трать время. Мы обо всем поговорили, я все поняла. Глебу передать привет?

— Разумеется,— сказал я.

— Я так и думала,— ответила она.

Лифт неторопливо спускал меня с эмпиреев, когда сотовик снова запищал.

— Значит, такие дела,— произнес азартный голос Коли мне в ухо.— Я покамест вокруг да около хожу. С соседями поговорил, с участковым с их... Действительно, есть такой сосед двумя этажами ниже. Вениамин Петрович Каюров, двадцать восемь лет. Работает в статистическом отделе горбюро по трудоустройству. Запомнил?

— Да.

— Отзывы самые положительные. Ни пьянок, ни приводов, ни шума в доме... Никаких подозрительных знакомств и связей. Похоже, пустышку тянем. Но я еще посуечусь. Сейчас продумываю, под каким соусом выходить на прямой контакт. Вечер у меня будет, скорее всего, занят всем этим плотно,— так что следующая связь, наверное, утром завтра.

— Хорошо,— ответил я.— Отлично, спасибо. Завтра так завтра. Тогда до завтра.

Дискета Сошникова

Различие понятий «свободы» и «воли»

Слово «свобода» мы начали трепать лет двести назад всего лишь, и, как правило, синонимично исконному своему слову «воля».

Однако!

То, что называется свободой, стало возможным лишь тогда, когда один-единственный человек стал самостоятельным и самодостаточным вне племени, клана, общины, семьи, цеха или иного объединения. Свобода — это возможность действовать согласно индивидуальным побуждениям при обязательной индивидуальной же ответственности. Поэтому свобода индивидуума не нарушает

свободы других индивидуумов, а коли нарушает, — вот тебе и ответственность: сам виноват, суд идет. Поэтому же свобода — состояние, дающее душевный комфорт и уверенность в будущем. Это состояние нормальное и при нормальных условиях — неотъемлемое. И оно совершенно не противоречит религиозной идее посмертного спасения, что во времена формирования представлений о свободе было крайне ценным. Да и по сей день сильно облегчает пользование свободой.

Воля же — это возможность действовать согласно своим желаниям вопреки установкам того объединения, в которое человек влит как его ЛИЧНО НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ фрагмент. Воля — это всегда предательство, совершенное по отношению к своему коллективу, всегда восстание против него. Она по самой природе своей направлена против иных индивидуумов того же коллектива. И, следовательно, она — безответственность за свои действия. Поэтому она всегда конечна, и за нее всегда ожидается расплата. Поэтому состояние воли всегда сопряжено с чувствами вины и страха, которые кого ограничивают в привольном безумии, а кого, напротив, окончательно приводят в мрачный экстаз. Эх, погуляю напоследок — а после хоть в острог, хоть на плаху! Прости, народ православный! Год воли — а потом, если жив остался, десятилетия в схиме, в замаливании греха и в исступленной благотворительности. И даже если удастся протянуть волю до физической смерти, — все равно ощущается неизбежность расплаты за гробом. Поэтому даже во время самой невозбранной воли откуда ни возмись возникают судорожные пароксизмы покаяния, доброты, милосердия. Но отсюда же и невероятные зверства, волю сопровождающие, — все равно терять уже нечего, остается лишь куражиться напоследок. Воля — состояние внутренне противоречивое и потому неизбежно истерическое.

Свободы мы никогда не хотели и до сих пор не знаем, что это за зверь и с чем его едят. Дальше мечтаний

о воле мы не ушли. И поэтому, когда подавляющее большинство населения буквально свихнулось на стремлении к воле, лопнули все объединяющие структуры.

Свобода и организация ДОПОЛНЯЮТ друг друга, воля и организация ИСКЛЮЧАЮТ друг друга.

Американские писатели, как правило, даже сцены любви описывают как производственный процесс. Джон расстегнул тугую пуговицу ее лифчика. Мэри опрокинулась на спину и согнула ногу в колене. Он взял ее своей мускулистой правой рукой за ее тугую левую грудь. Она глубоко и часто задышала... Идет нормальная работа, и надо выполнить ее как можно более квалифицированно.

А у нас даже в самых поганеньких производственных романах застойных времен даже процесс плавки чего-нибудь железного описывался не то как миг зачатия, не то как литургия. Директор Прохоров затаил дыхание, сердце его билось часто-часто. Вот оно, наконец-то! Сбылось, сбылось! Священный трепет охватил парторга Гусева, когда первый металл сверкающей рекой хлынул в... Не просто дело сделано — шаг в будущее сделан, шаг в самосовершенствовании сделан. Поэтому, насколько квалифицированно и высокотехнологично сделан этот шаг, — уже не столь важно.

В каких только мелочах не проявляется поразительная разница культур! Имеющий глаза да увидит...

Национальная идея

Ортодоксальные демократы продолжают уверять, будто все развитые страны живут себе безо всякой национальной идеи — и прекрасно живут. Немцы, пока имели национальную идею, были фашисты, а теперь вся их национальная идея — как бы выиграть в футбол, и поэтому у них получилось благоденствующее общество.

Двойная подтасовка.

Во-первых, всякая национальная идея здесь сводится к идее националистической.

Во-вторых, на самом деле без идеи живут только страны, находящиеся в цивилизационном кильватере, а страны — стантовые хребты цивилизаций (Хантингтон называет их сердцевинными) не выдерживают внешних нагрузок и внутренних напряжений.

Кстати: отними у американцев десятки лет культивировавшуюся веру в то, что они суть Народ—Демократииеносец и что поэтому они самые умные, самые сильные и самые богатые,— тогда не поручусь за территориальную целостность и организационную монолитность их державы. Думаю, кризис 60-х годов — то, что называют критическим десятилетием Америки — был вызван не в последнюю очередь тем обстоятельством, что СССР на пике своего могущества и влияния на какой-то момент пошатнул эту веру.

Одна из основных ошибок реформаторов первого призыва, повторяемая теперь по долгу службы их формальными последователями,— знак равенства между мракобесием и автономной культурной традицией. Почеловечески понятно. Прежде чем начать повышать квалификацию в Сорбоннах и Гарвардах, все они зубрили обществоведение в советских школах и истмат в советских вузах. И оказались, по Шварцу, лучшими учениками.

Вслед за марксистами-ленинцами они сочли евроатлантический вариант социального устройства венцом развития, а все остальные цивилизационные очаги — лишь ступенями восхождения от варварства к культуре по единой столбовой дороге человечества. Поэтому схема действий казалась им очевидной: надо лишь преодолеть варварство, и на его место придет культура. Искоренить плохое свое, и на обширном опустевшем пространстве само собой воцарится чужое хорошее.

Результатом борьбы с идеократией явилось, однако, лишь то, что для подавляющего большинства граждан нашей страны понятие культуры свелось к понятию культуры потребления. И коль скоро аскетические цивилизации всегда проиграют на этом поле гедонистическим, результат сопоставления был предрешен. Россия в глазах самих же россиян предстала страной дикарей. И разочарование в своей культуре потребления перечеркнуло в глазах очень многих всю свою культуру целиком.

Существует миллион определений культуры. Еще одно: это **СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ПЕРЕПЛАВКИ ЖИВОТНЫХ ЖЕЛАНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ**. То есть желаний, связанных с непосредственными задачами биологического выживания, в желания, как бы отвлеченные от мира сего.

Данная формулировка вовсе не подразумевает дискриминации предметных желаний по отношению к отвлеченным, не подразумевает замены всех материальных желаний на идеальные. Культура творит из животных же желаний (потому что, кроме как из них, желаний творить не из чего) желания иного качества. Не высшего и не низшего — просто иного. Человеческого. Не так, чтобы животных желаний не осталось, а так, чтобы возникло что-то помимо них — да, вдобавок, из них же.

Различные цивилизации на протяжении тысячелетий мучительно вырабатывали методики такой переплавки, но — разные. Бессмысленно говорить, какая методика лучше, а какая хуже.

Это как с цветом кожи. Черный лучше или белый? Бессмысленно спрашивать. Сразу контрвопрос: **ДЛЯ ЧЕГО** лучше?

Значит, во-первых, если животные желания практически у всех людей одинаковы, то желания человеческие несут на себе печать своеобразия той или иной

цивилизации. Во-вторых, методики одной цивилизации совсем не обязательно подойдут другой. Они неразрывно связаны с основной ценностью цивилизации, с ее ИДЕЕЙ. Они апеллируют к ней и опираются на нее.

В самом общем виде этот процесс можно описать формулировкой «ради чего».

Например, на заре своего существования все мировые культуры так или иначе пришли к принципу «не делай другим того, чего не хочешь себе». Это краеугольный камень любой этики. Но в канонических текстах мировых религий фраза, где он формулируется, никогда не оставляет его в изоляции и не провозглашает в голой бездоказательности

«Не делай человеку того, чего не желаешь себе, и тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье». Конфуций, «Луньей».

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12.

«Не злословь тех богов, которых призывают они опричь Аллаха, дабы и они, по вражде, по неразумию, не стали злословить Аллаха». Коран, сура «Скот», аят 108.

Простенькая, но абсолютно интегральная, общечеловеческая истина категорического императива и суперавторитеты, присущие только данной цивилизации, сплетены так, что не разорвать.

В христианстве — закон и пророки.

Кстати: уже здесь, одной этой фразой, похоже, была предreshена неизбежность распада на католическую и православную ветви и, соответственно, на евроатлантическую и византийско-восточнославянско-советскую цивилизации. На чем однажды под влиянием тех или иных обстоятельств сделали акцент, — на том и начал держаться главный регулятор совместного существования. Закон — и получили в итоге правовое общество, ибо в нем, в законе — религиозном поначалу, светском

впоследствии, — и содержится гарантия того, что тебе никто не сделает того, чего ты не хочешь себе. Пророки — получили общество, где главным хранителем и защитником этического императива служит харизматический лидер. «Президент, отдай зарплату».

Казалось бы, и конфуцианство чревато подобной же двойственностью. Семья или государство? Государство или семья? Но идеологи и юристы имперского Китая ухитрились преодолеть это противоречие, срастив то и другое воедино: государство есть лишь очень большая семья, семья есть минимально возможное государство. И тогда ипостаси суперавторитета не только не разорвали императив, а, наоборот, принялись поддерживать его под обе руки. Чисто светский, посюсторонний суперавторитет благодаря своей увязке с семьей — категорией тоже посюсторонней, но естественной, не давящей человека, а напротив, только и делающей его человеком полноценным — оказался столь же вечным, как понятие семьи, и не подверженным превратностям любви или нелюбви отдельного человека к государству, превратностям государственной исторической судьбы, государственных удач и неудач.

А вот в исламе — полная теократия. И конечный субъект, и конечный объект этического императива вынесены по ту сторону реальности. Со всеми вытекающими последствиями.

Для общества в целом наиболее важно выживание традиционно доминирующей ценности. Ибо она — ценность большинства.

И, кроме того, соответственно тому, какая именно ценность традиционно доминировала в данном обществе ДО его модернизации, **СОВРЕМЕННЫЕ** ее замены окажутся в сильнейшей степени модифицированы. Носитель православной традиции, даже если индивидуально его кинет вдруг в индуизм, будет понимать карму совсем не так, как оказавшийся в том же состоянии носитель традиции католической. Буддист, считающий

себя атеистом, будет представлять себе светлое будущее совершенно иначе, нежели считающий себя атеистом иудаист.

Все искусство, во все времена — это не более чем нескончаемая, словно история, попытка нащупать связки, сформулировать компромиссы между долговременными интегральными идеалами данной культуры и их сиюминутным и индивидуальным претворением в поведении. Особенно литература.

Кстати: при таком подходе момент выбора личного компромисса исчерпывал содержание данного произведения. Нынешнее торжество сериалов — однозначное свидетельство того, что верхняя, идеальная составляющая пары исчезла, а чисто рефлекторное, бессмысленное поведение стало самоценным и превратилось в дурную бесконечность.

Кризис культуры — это ситуация, когда действенность цивилизационных методик очеловечивания людей резко уменьшается. Основная ценность, пресловутая НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, по тем или иным причинам перестает быть ценной для большинства населения. Тогда методики возгонки сразу перестают срабатывать и превращаются в лучшем случае в мертвые и подчас даже извращенные ритуалы, которые до поры до времени исполняются по привычке или по карьерным соображениям, но никого ни от чего не спасают.

Взгляд сверху

Кабинетик был тесным и убогим, как и подобает административному помещению маленького третьеразрядного кафе. Обшарпанный письменный стол, заваленный разбросанными бумагами. Кособокий, белесый книжный шкаф из тех, что выпускала отечественная мебельная промышленность лет тридцать назад, — на

одной из полок томики и блокноты, на другой — плохо помытые, с коричневыми потеками, чашки для досу-жих кофепитий. Застарелый календарь двухтысячного года с упруго изогнувшимся рыжим драконом; кнопки, на которых календарь держался, насквозь проржавели от горячего кухонного пара. За полуоткрытой дверью приглушенно шипело и кряхтело в засыпающих трубах; остро и неприятно пахло сырым и вареным.

На кухне, чуть поодаль от двери в кабинет, в тусклом свете дежурного освещения двое дюжих мужчин — один в замурзанном комбинезоне техника, другой в белой куртке и белом колпаке, какие носят повара — вяло играли в карты.

В кабинете тоже играли в свою игру двое. Пожилой человек с серым невыразительным лицом, в сером поношенном костюме и старомодных бухгалтерских нарукавниках сидел за столом, время от времени принимаясь рассеянно перебирать и теревить какие-то акты и накладные. На левой руке у него не хватало трех пальцев. Молодой и насмерть перепуганный стоял перед ним едва ли не навтыяжку.

— Да, я испугался. А кто бы не испугался? Так внезапно свалилось... Я же говорил: нельзя мне это поручать! Я вам информацию даю, я один! Как можно было мной так рисковать, комбриг?

— Товарищ комбриг, — негромко и равнодушно поправил молодого тот, что сидел за столом, и вновь, не поднимая глаз, переложил с места на место несколько заполненных бланков со смутными оттисками печатей.

— Товарищ комбриг... — растерянно повторил молодой.

— К вопросу о качестве той информации, которую ВЫ ОДИН нам даете, мы еще, знаете, вернемся, — бесцветно сообщил пожилой, выделив слова «вы один» с некой неопределенной иронией. Намекая то ли на то, что отнюдь не один молодой дает информацию, то ли на то, что он дает ее как-то не так. Молодой уловил

иронию и занервничал еще больше. Облизнул губы. — Сначала мне все-таки хочется разобраться, как это вы, ни с кем не посоветовавшись, столь скоропалительно решились на ликвидацию.

— Ну не успел я посоветоваться! Когда мне было? Ведь впопыхах... — почти канюча, затянул молодой.

Он врал. Он успел посоветоваться — но не с комбригом. У него был и другой шеф, куда более страшный; но и гораздо более выгодный, ибо не пичкал завиральными идейками с легким рублевым довеском, а конкретно платил от души, большими баксами. И он, этот настоящий, тоже занервничал оттого, что какая-то там милиция села на хвост ценному перевертышу. Не хватало, чтобы она по этому следу дальше пошла. Например, к этому вот комбригу. И озаботился спешным, почти лихорадочным санкционированием действий, которые сразу порвали бы едва схваченную ментами нитку.

Впрочем, сейчас молодому гораздо более страшным казался комбриг. Он был рядом. Он был недоволен.

Он что-то подозревал.

— И меня совсем с толку сбило, что ему, оказывается, мозги-то не вовсе отшибло. Если он меня назвал... так, может, он и, где мы квасили, сказал, — а это уже след к вам, товарищ комбриг... — попытался он подольститься и одновременно припутнуть.

Комбриг наконец посмотрел на молодого прямо. Взгляд был страшен.

— Вы думаете, данное убийство — не след к нам? — сказал он по-прежнему бесцветно. — По-моему, как раз след, только еще более заметный. ВВ1, боец Каюров, этот след.

— Он обмолвился, что беседовал с Сошниковым именно он, один на один, и никому пока...

— Так обмолвиться он мог. А вот так ли это на самом деле — вы подумали?

— Ну зачем ему врать? — хлюпнул размокшим от страха носом боец Каюров.

— Зачем люди врут? Вы не знаете?

Боец Каюров не ответил,— язык прилип.

— А препарат... Препарат — это тоже интересный вопрос, боец Каюров. Препарат не мог не подействовать. Почему это он всегда действовал, а именно в случае с Сошниковым, о котором сообщили нам НЕ ВЫ,— не подействовал?

— Ну не знаю я! — уже в полной панике воскликнул молодой.— Откуда я знаю! Все сделал, как приказали, всю дозу...

— А может, не всю? А может, и вообще дело было иначе? Может, по каким-то причинам вы решили на этот раз сберечь дезертира для его, знаете, будущих хозяев? И информацию о нем утаили, и препарат ему не дали?

Молодой только опять губы облизнул.

— Честно скажу вам, боец Каюров,— ставя вам задачу на обработку, каких-то накладок я ожидал. Но чтобы они оказались настолько вопиющими,— этого у меня и в мыслях не было. Подумайте как следует над объяснением всего происшедшего, подумайте,— он помедлил и уронил без каких-либо интонаций: — Только быстро.

— Нечего мне объяснять! — рыдающе выкрикнул молодой.— Я в этих делах не мастак, и никогда ими не занимался — вот и все объяснение!

Человек в белом поварском колпаке, услышав донесшийся из кабинета жалобный вопль, усмехнулся и чуть качнул головой.

— Пас,— глядя в карты, сказал сидящий напротив него человек в замурзанном комбинезоне.

— Так уж нечего? — чуть поднял брови комбриг.— Давайте посмотрим вместе. Присядьте.

Молодой нерешительно потоптался, но теперь комбриг смотрел на него доброжелательно и только чуточку нетерпеливо. Молодой присел на край стула. Стул отчетливо скрипнул.

— В течение более чем двух лет вы, пользуясь как предоставляемыми вашей прямой службой возможностями, так и, если верить вашим словам, обмолвками вашей подружки, работающей в отделе виз, выявляли дезертиров, — словно лекцию читая, неторопливо и размеренно начал комбриг. — Но в течение последнего года я, знаете, поначалу с недоверием, потом с удивлением, а потом с растущей подозрительностью к вам начал отмечать случаи дезертирства не указанных вами и потому не обработанных нами лиц. Уже это очень, очень неприятно. Однако это можно было понять — стопроцентный учет дезертиров при ваших возможностях практически исключен. Но дважды совершенно случайно я узнал, что указанные вами и поэтому обработанные нами лица вовсе даже не собирались дезертировать! Это уж из рук вон плохо, боец Каюров!

У бойца Каюрова сохлось в горле от этих новостей. Ничего этого он не знал.

Он все это время был уверен, что списки правильные.

Теперь ему пришло в голову, что другой его шеф только делал вид, будто выполняет его просьбу и передает ему время от времени перечни необходимых комбригу фамилий — в обмен на информацию о кодле комбрига, которую давал Каюров, и для повышения его, Каюрова, авторитета в этой кодле. А на самом деле просто использовал его в какой-то более серьезной и сложной игре.

Тогда — конец. Можно даже не дергаться. Подстава полная. С-суки. Все суки.

— Случай же с Сошниковым просто вопиющ. Он ваш приятель, вы часто проводили время вместе. Вы не могли не знать о его намерениях. Но я узнаю о них не от вас, а, фактически, от совершенно посторонних людей, фактически — опять-таки благодаря счастливому случаю. Смешно сказать: от племянницы, у которой дочка Сошникова стрижется! Ставя перед вами

необычную для вас задачу, я — теперь могу вам это сказать — хотел вас проверить. И что же выясняется? Что якобы препарат не сработал! Что в органах охраны правопорядка сразу оказалось известно ваше имя — ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ваше. И что вы совершили глупейшее и подлейшее, ничем не оправданное убийство представителя законной власти России, — он перевел дух. — Вот как много вам надлежит объяснить.

Каюров молчал. По спине у него бежал ледяной пот. Губы и пальцы тряслись.

— Может, это психиатр тот уговорил Сошникова слинять, — пробормотал он. — Мне Сошников ничего не говорил, клянусь!

Он врал.

— Клянусь! Он теперь со мной почти не встречался, у него теперь этот... Токарев в корешах!

— Какой Токарев? — снова чуть подняв брови, спросил комбриг.

— Да ну я ж рассказывал! От Сошникова последнее время только и разговору, что про доктора этого! Ах, он такой, ах, он сякой! А психиатры — они ж евреи все! Он его и подбил, верняк! Иначе с чего бы Сошникову так от меня таиться — ведь он ни словом мне не обмолвился! Кто с евреем поведется...

Комбриг поджал тонкие синеватые губы.

— Перестаньте, — брезгливо сказал он. — Антисемитизм, знаете, отнюдь не красит бойца Российской Коммунистической Красной Армии. Более того — антисемитам в рядах РККА не место.

— Да какой я антисемит!

— Бытовой, — комбриг позволил себе чуть улыбнуться, и его собеседник нерешительно улыбнулся ему в ответ. — Да, я припоминаю. «Сеятель».

— Ну! — обрадованно подхватил боец Каюров, довольный тем, что, кажется, нашел, на кого спихнуть хотя бы часть ответственности или, по крайней мере, навести тень. Выиграть время. Выбраться. Лишь бы

выбраться отсюда, дать знать ТУДА — ТАМ спасут. — Они же в своем кабинете сплошь высоколобыми занимаются — так уж, наверное, неспроста!

— Наверное... — задумчиво повторил комбриг. Глаза его на несколько мгновений затуманились и устали в пространство. Потом он очнулся. — Но это отнюдь не объясняет всего.

Боец молчал.

Комбриг исподлобья оглядел его тяжелым, тягучим взглядом и, похоже, принял некое решение. Лицо его посветлело.

— Идите домой, боец, — сказал он, — и как следует подумайте. Завтра утром я жду ваших исчерпывающих объяснений.

Не веря себе, боец Каюров на трясущихся ногах поднялся.

— Я могу?..

— Да-да, — нетерпеливо сказал комбриг, уже углубляясь в какие-то бумаги из тех, что лежали перед ним. — Вы свободны. До утра.

Спасен, билось в голове Каюрова, когда он суетливо и неловко выбирался из сумеречных узостей словно вымершей кухни. От пережитого ужаса и внезапного освобождения он утратил всякий разум, всякую осмотрительность. Ну с чего бы его после таких-то обвинений отпускать? Но сердце скакало в горле. Спасен!

Комбриг же, будто строгий, но справедливый папаша, сын которого заехал мячом в соседское окошко, озабоченно покачал головой и встал. Высунулся наружу и едва заметно кивнул поднявшему на него вопросительный взгляд человеку в поварском колпаке. Тот проворно вскочил, отбросив карты. Сидевший к двери кабинета спиной человек в замурзанном комбинезоне, не оборачиваясь, с готовностью поднялся вслед.

А комбриг вернулся в кабинет и позвонил.

— Шурочка, — совсем другим, вполне живым голосом сказал он. — Прости, дорогой, я понимаю, что по-

здновато, но мне важно. Я тебя озадачу, а там уж смотри — завтра, послезавтра... Но не позже, чем послезавтра. Мне нужно узнать побольше о таком, знаешь ли, частном психиатрическом... или психотерапевтическом, что ли, кабинете. Да, их, как грибов,росло на скорых деньгах. Всё нервы себе лечат, пиявки. Чтоб кошмары по ночам не мучили. А то, не приведи Бог, голодные дети из подвалов привидятся — потом не ту акцию можно купить с перепугу... Значит, кабинет «Сеятель». И его директор — Антон Токарев. Этот человек мне стал крайне интересен.

Венька Коммуняка исчез бесследно и навсегда. Лишь весной, когда сошел лед, в одной из заводей Охты нашли чей-то труп, но так и не смогли опознать.

Дискета Сошникова

Трагическая уникальность России состоит в том, что после гибели Византии она осталась единственным политически суверенным представителем отдельной, самостоятельной цивилизации — православной. И она же, поэтому, являлась ее становым хребтом.

Кстати: страны, которые могли бы при ином раскладе оказаться политически самостоятельными цивилизационными партнерами России, волею судеб либо веками изнывали под иноверческим игом, самим этим фактом провоцируя в России тягу к благоносной экспансии (Балканы), либо, кто еще оставался более-менее независим, истекали кровью в борьбе с иноверцами и опять-таки то косвенно, то прямо зывали о помощи и о включении в империю (Закавказье, Украина).

Практически все последние оказались внутри границ России, а затем СССР. Это намертво врезалось в национальный характер русских, которым история постепенно отвела тяжкую и неблагодарную роль приводного ремня

и смазки между национальными деталями имперского механизма.

Роль оказалась для них естественной. Вероятно, потому, что сама-то Россия возникла в результате синтеза Орды и Московии, то есть изначально появилась как мощная смазка.

Когда бензин в моторе кончился — смазка оказалась не нужна.

Долгое двуипостасное бытие — страны и цивилизации в одном лице — привело к специфической форме общественного устройства: и не к прямой теократии, и не к чисто светской монархии. К их гибриду.

Церковь относилась к государству как к хранителю и защитнику истинной веры от всевозможного левославия и кривославия, бесчинствующего по ту сторону всех без исключения государственных границ. Государство же относилось к укреплению и распространению истинной церкви и истинной веры, к защите всех истинно верующих ВНУТРИ И ВНЕ госграниц как к основным своим задачам, осуществление которых только и придает государству смысл.

Воцерковленные люди называют это «симфонией властей». Разные оркестры, разумеется, играли ее с разной степенью вдохновения, мастерства и бескорыстия. Не обходилось без фальшивых нот. Именно они дают теперь возможность обвинять то церковь в продажности и пресмыкательстве перед государством, то государство в неизбывном стремлении оправдывать свои самые злодейские деяния самыми красивыми словами.

Православная цивилизация оказалась единственной в мире ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ цивилизацией. Вся структура стимулов, ценностей, поведенческих стереотипов сложилась так, что в фокусе всегда — некая общая духовная цель, формулируемая идеологией и реализуемая государственной машиной. Ради достижения

цели можно и даже рекомендуется отринуть все земное. Достаток, комфорт, личная безопасность по сравнению с продвижением к цели — пренебрежимы.

Петр, попытавшись сконцентрировать все усилия населения исключительно на военно-политическом могуществе государства, фактически сделал целью государства само государство — другими словами, ЛИШИЛ ГОСУДАРСТВО ЦЕЛИ. Потому-то с той поры государство и превратилось на Руси в монстра.

Отрыв от традиции и утрата высокой цели привели к тому, что бытие государства стало бессмысленным, и, следовательно, насилие, которое оно творило над подданными, — ничем не оправданным.

Кстати: на ранних стадиях существования государство может быть целью себя — но лишь в период становления. Цель всегда должна быть качественно более высокой и масштабной, нежели средство ее достижения.

Человек может жить ради своей страны — это выводит его на надындивидуальный уровень. Но страна ради себя самой жить не может — замыкается, теряет способность к усвоению новой информации и стимулы к развитию.

Ровно то же самое происходит с живущим ради самого себя человеком.

Только не надо сводить развитие к чисто количественному накоплению вооружения и материальных благ — какое же это развитие? Это застой!

Петровское сосредоточение государства на самом себе явилось сделанным из-под палки шагом назад, потому что Россия к тому времени уже прошла начальный этап жизни государства для себя.

Изжив попытку растворить свою державу в некоем общеевропейском доме, эту же петровскую ошибку — со всеми вытекающими из нее последствиями — делают руководители нынешней России. Кто по недомыслию, а

кто, боюсь, и нарочито. Явно и неявно каждому человеку внушается, что высшей ценностью и целью каждый является сам для себя. А высшей ценностью и целью России, согласно этой же схеме, является сама Россия, наконец-то, дескать, независимая и освободившаяся — ни от чего, на самом-то деле, кроме смысла своего национального бытия.

Государство продолжало стягивать на себя помыслы и усилия подданных, а подданные придумывали и пытались навязать государству тот или иной высокий смысл, — от которого самовлюбленное государство шарахалось, как черт от ладана, и видело во всех таких попытках государственную измену.

Постепенно и государство, и общество разочаровались в этих усилиях и к началу XX века, по сути, махнули друг на друга. И только злорадно радовались каждой неудаче и трудности партнера. Государство само уже устало от себя и не знало, что с собой делать, — а интеллигентное общество, само уже давно вывалившись из традиции, тоже потеряло способность к конструктивному целеполаганию.

Серьезная новая цель была предложена лишь большевиками.

Они модифицировали в пирамиде ценностей единственный, зато самый верхний, самый значимый элемент, предложив в качестве общей цели штурм небес, силовое построение царствия небесного в мире сем, — и получили свою религию, которая худо-бедно осуществляла свои функции на протяжении более полу-столетия.

Четверть века назад практически ту же операцию проделали диссиденты, подставив на место коммунизма демократию. В сущности, ради демократии все земное было в значительной степени отринуто — в очередной раз. Именно ради нее, привычно идеализированной нашим сознанием до иконного сияния ровно так

же, как прежде идеализирован был коммунизм (то ли светлое будущее, иное ли; светлое будущее впереди, благая цель, вот что главное!), мы без враждебности, по-семейному, с шутками и прибаутками терпели и очереди, и талоны. Пока верили, что это — НЕ ПРОСТО ТАК.

Ныне в расшатанное постоянными, все более частыми заменами гнездо всякая группочка норовит запихнуть свою побрякушку. Но сама пирамида остается неизменной. Там же, где она не выдерживает и разрушается, возникает полное скотство.

Кстати: государственное единство оказалось одним из параметров единства цивилизационного. Попытка запросто сменить цивилизационную парадигму, косвенно давая всем понятную отмашку: никакой общей цели больше нет! — первым делом привела к совершенно непроизвольному, но повальному бегству из империи, совершенному всеми без исключения — в том числе и самой Россией — внутрицивилизационными национальными блоками.

Если не стало никакого общего дела и общего смысла, а задача теперь — хапнуть побольше у своих и выклянчить побольше у соседских, и то и другое лучше всего делать порознь.

Когда человек или народ предают цель, которой уже якобы нет (ох не факт это, ох не факт! расстройство способности к целеполаганию есть психический недуг, а не доказательство того, что без цели человек свободен, а с целью — зэк), когда они изменяют тому, что якобы ушло в прошлое, — понятия измены и предательства теряют смысл, а отвратительное стремление к наживе оборачивается естественным стремлением к достойной жизни.

Вне зависимости от своей политической и военной силы или слабости Российская империя — и такие ее

рудименты, как РФ — цивилизационный конкурент атлантическому миру. Чтобы Запад стал относиться к России действительно как к своему, а не как к чуждому, как к партнеру, а не как к сопернику, она должна либо перестать быть собой, либо перестать быть.

Культура России не признает не одухотворенного высокой целью материального производства. Не признает бессмысленной жизни и деятельности (и как раз поэтому наша жизнь и деятельность так часто кажутся нам бессмысленными). Не понимает, что такое эффективность, если не понятно, зачем она, а тем более, если понятно, что она — невесть зачем.

Атлантический же мир счел, что главной целью материального производства является все более полное и изощренное удовлетворение потребностей человека просто как биологического объекта. Всех. Любых.

Это не очередной голосок в кликушеском хоре упреков Западу в пресловутой бездуховности. Лишь демагог или дурак может не видеть его великой культуры и не преклоняться перед ней. Речь только об **ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА**.

Хотя малевать великолепных мадонн с применением герцогских шлях в качестве натурщиц, просто для вящей красоты картинки, — такого на Руси даже в голову бы никому не пришло. Где Богородица и где срамные девки! На кой ляд такая красота!

Да и выдумать, будто кто поработал и разбогател, того и любит Бог, — это надо было того... крепко головой приложиться.

Казалось бы, тот же самый Христос и у них, и у нас. Но одни себя пытались подшлифовать к нему — со всеми сопутствующими срывами и отчаянными судорогами, задача-то не из простых! А другие — его шлифовали под себя, под свое здешнее удобство, здешнюю **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**.

Протестантское «служение», при всей его прагматической полезности, сформулированной выше характеристики атлантической цели не отменяет, ибо объект протестантского служения всегда посюсторонен, предметен.

Голсуорси: «Забавно все-таки: религия почти мертва, потому что практически больше никто не верит в загробную жизнь, но для нее уже нашелся заменитель — идеал служения, социального служения, символ веры муравьев и пчел»

В точку.

Порочность посюсторонних суперавторитетов показала еще история Римской империи.

У Рима был единственный суперавторитет — он сам. Держава. Там тоже было служение. И когда экспансия державы захлебнулась, когда молиться на принцепса стало жалко и стыдно, суперавторитет перестал срабатывать.

Чем купили христиане римских патрициев? У тех было все: достаток, культура, максимальная для данного уровня цивилизации личная безопасность... А вот смысла жизни уже не было. Христиане им его предложили. И патриции пошли за христианами, и «сим победиши». Действительно «победиши», потому что жизнь империи была продлена еще на целых три века, а если считать с Византией, — на тысячу лет.

Плохо это или хорошо? Нет ответа, ибо у истории нет плохих и хороших. Но для самого Рима и самой Византии это было, безусловно, хорошо.

Хотя, разумеется, при желании всегда можно отыскать какую-нибудь Парфию, в которой Рим слыл империей зла.

Кстати: аналогичным образом марксисты купили российскую интеллигенцию. И продлили бытие империи еще на семьдесят лет — несмотря на цивилизационные

разломы, иссекавшие ее вдоль и поперек. Одним лишь насилием это бы им не удалось.

Уваровская триада исчерпывает набор возможных государственных суперавторитетов. Чуть осовременив ее звучание, получим «идеология — самодержавие — народность». И только такая иерархия дееспособна. Если поставить на первое место самодержавие, используя остальное как его службу, — получим тоталитаризм, это сделал Сталин. Если народность, — получим нацизм, это сделал Гитлер. Но, если оставить идеологию центром стяжения остальных сил, — получим идеократическое общество, что тоже выглядит несовременным и опасным.

•Атлантический мир пытается выйти из этого противоречия, дробя поусторонние авторитеты и увязывая их с индивидуальным благосостоянием (не семейным, в отличие от старых китайцев, а именно индивидуальным), — и получает служение: юридически оформленной на данный момент семье, фирме-кормилице, демократически избранному президенту... Но даже на самом Западе это многими воспринимается как отвратительная и безысходная суета сует.

Тот же Голсуорси, в том же «Конце главы» сокрушался: «Какое кипение, какая путаница людей и машин! К чему, к какой тайной цели они движутся? Чего ради суетятся? Поесть, покурить, посмотреть в кино на так называемую жизнь и закончить день в кровати! Миллион дел, выполняемых порой добросовестно, порой недобросовестно, — и все это для того, чтобы иметь возможность поесть, немного помечтать, выспаться и начать все сначала!».

В конце концов, служение есть принесение блага, а как его приносить, если система ценностей не дает ответа на вопрос, в чем оно заключается? Или дает смехотворные — благо есть процветание моей фирмы,

удовлетворение моего начальника. Убытки фирмы и недовольство начальника — конец света. Так можно жить? Нет.

Для тех, кто устал от бессмысленной потребительской гонки и тяготящей толчеи вокруг посюсторонних микроавторитетов, российская, а затем и советская тяга к осмысленности, к признанию ненужным, лишним и нелепым всего, что не работает на высокую цель, давала пример возможности идти «другим путем». Такая тяга являлась наглядной и мощной альтернативой того, что воспринимается многими как пустота жизни.

Для тех, кто на Западе когда-либо восхищался Русью как неким притягательным, непонятым, но удивительно манящим экзотическим явлением, в основе восхищения лежало именно это.

Зато для всевозможных клеветников России именно эта черта трансформировалась в то, что они видели как вечную лень русских или их сладострастное стремление в рабство.

Сильно подозреваю, что миф о том, будто русский раб грязен и ленив, придумали и запустили в европейские просторы обыватели откуда-нибудь из Кукуйской слободы. Как наблюдатели они, вероятно, были правы. В свое время парижане и лондонцы тоже вольготно плескали из окон нечистоты и учились гигиене у арабов. Но наблюдатель сопоставляет вещи синхронно, ему и дела нет до того, что Европа начала заниматься бытовыми удобствами на пару веков раньше. А раскрепощение индивидуума началось с еще большим упреждением. И вообще НЕСКОЛЬКО ИНАЧЕ из-за разницы культур.

Кстати: это не беда. Мало ли высмеивают обычаи соседних народов обыватели.

Беда пришла, когда ополоумевшие от петровских палок россияне начали высовываться в прорубленное

государем-плотником окошко и хотеть стать европейцами. Услышанный из-за окна тезис о рабстве и лености приобрел знаковую ценность. Стоило произнести: мы, русские, как есть грязные скоты, работы не любим, страна рабов, страна господ, сверху донизу все рабы,— и сразу как бы получалось, что тот, кто это произнес, уже тем самым передовик труда и вымытый до блеска гражданин, свободный всеми местами и членами. Европеец. Не настоящий Европеец, разумеется, а из российского интеллигентского мифа о европейцах. Но ему, произносящему-то, сие невдомек, и его единомышленникам тоже невдомек. Ах, как, верно, восхищенно всплескивали руками они. Ах, какая смелость мысли! Ни капли квасного патриотизма! И, отреагировав таким образом, уже вся компания ощущала себя европейцами.

Беда пришла, когда сложился стереотип утверждения нового, подразумевавший обязательное отсутствие преемственности между старым и новым, обязательную расчистку места для нового — до полного нуля. Кажется, будто расчистка под ноль головокружительно увеличивает возможности для быстрого качественного обновления, а на самом деле именно из-за этого любое новшество висит в воздухе, часто-часто суча ножками на манер пропеллера, и — так и не укоренившись, не созрев, не успев свершить ничего — валится наземь, чуть дунь.

Что это такое — «несколько иначе из-за разницы культур»?

Вот знаменитая история с крыльцом в барском доме Обломовых, которое который год не соберутся починить. Для западного человека, для западно ориентированного даже — например, для маленького Штольца — история дичайшая. Сами же ходите, сами ногами собственными рискуете — ну как это не собраться

починить? Ведь для себя! Для кого ж еще и шевелиться-то? Своя рубашка ближе — или чья еще? Вот ведь бездельники дремучие!

Но есть и иная правда. Если предмет сей ну хоть как-то еще функционирует, если им хоть как-то еще можно пользоваться, то для себя — сойдет. Этого слова не понять никому, кто мыслит в рамках системы ценностей «своей рубашки». **ДЛЯ СЕБЯ — СОЙДЕТ!**

Вот если бы по этому крыльцу предстояло подняться кому-то для меня качественно более ценному, нежели я сам — вне зависимости от того, с какой исповедуемой мною сверхценностью, православной ли, державной, коммунистической или даже просто гуманистической какой-нибудь, этот конкретный кто-то связан — крыльцо было бы починено мигом, с благоговейными похохатываниями. Бесплатно. Безо всякого давления со стороны какого-нибудь ГУЛАГа. Но работать на кого-то с большим удовольствием, чем на себя, любимого, — ведь это, с определенной точки зрения, и есть сладострастное стремление в рабство!

Святой Василий Великий: «Они в равной мере и рабы, и господа друг другу, и с непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство — не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающей в великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью производится свободой произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу».

В точку.

Отсюда: разговоры о русской лени и о нации рабов стоят на одном уровне с разговорами о маце, замешанной на крови христианских младенцев. Но кто заговорит про этакую мацу, — тот сразу окажется полным

антисемитом и руссофашистом. А кто заговорит про лень и тупость,— тот просто высказывает свое личное мнение, и не смейте затыкать ему рот, у нас свобода слова! Кто возразит,— тот уже и затыкает, и значит, обратно же, руссофашист.

Всякий раз, когда у нас вдруг начинает культивироваться убеждение, что личный прижизненный успех есть высшая ценность бытия и высший его смысл,— наши методики переплавки животных желаний в человеческие пасуют. Установка на индивидуальный успех и установка на сверхценность не совмещаются. И многие из тех, кто продолжает работать словно встарь, все равно уже работают иначе — не делают, а отделяются, и даже в редкие дни выплат глухо ощущают не облакаемую в слова, но фатально отражающуюся на качестве труда бессмысленность унылых усилий.

Впрочем, на других многих именно такой эффект оказывало искусственное нагнетание стремления к светлой суперцели. Но штука в том, что те, кто к этому грядому миру по якобы наивности и доверчивости своей действительно стремился, сворачивали горы. А те, кто стремится, вырвавшись из-под пресса идеологии, пожить наконец для себя,— сворачивают челюсти и шеи. Не себе, разумеется.

Еще о рабстве: общеизвестно, что рабский труд непродуктивен и несовместим ни с каким мало-мальски сложным производством, ибо раб не заинтересован в результате своего труда. Но что такое эта заинтересованность? Только ли надежда на получку? Раб тоже получал получку, пусть, как правило, натурой,— в чем разница? А в том, что оптимальный вид заинтересованности именно В ПРОДУКТЕ труда, а НЕ В ОПЛАТЕ его — это и есть заинтересованность В ЦЕЛИ, ради

которой этот труд осуществляется. Все для фронта, все для победы — заинтересованность в продукте труда. Нашим товарищам наши дрова нужны, товарищи мерзнут — заинтересованность в продукте труда. Построим для наших детей счастливое и безопасное общество — заинтересованность в продукте труда.

Когда ничего этого нет,— тогда, вне зависимости от размера оплаты, труд становится рабским.

Когда, например, современный авиалайнер готовят к полету рабы,— авиалайнер падает на город. Когда рабы запускают спутники,— хоть ты их озолоти, носители будут валиться через раз.

В России без общей цели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ.

В России без общей цели ВСЕ НА ВСЕХ ОБИЖЕНЫ И ВСЕМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИМ ВСЕ НЕДОДАЛИ.

Потому что любой действительно необходимый труд и любое объективно необходимое усилие ощущаются бесцельными и, следовательно, навязанными, рабскими.

Конечно, человек, избравший себе цель,— раб этой цели. Непреодолимо свободный.

А мы теперь свихнулись на свободе и самодостаточности. Больше всего на свете боимся в чьих-то глазах оказаться рабами — пусть глаза эти недобры и лукавы, все равно. Даже слова «раб Божий» вызывают гнев: а вот ни за что! Рабом не буду! За это рабство-то религию я и не приемлю!!

И становимся рабами собственной физиологии.

Новая цель не должна повторять уже скомпрометированные или изжившие себя варианты.

Например, укрепление военной мощи государства как хранителя, защитника и распространителя веры — цель, действительно способная обеспечивать

форсированную посюстороннюю деятельность. Но сейчас такая цель уже не может быть основной.

Или, например, цель — забота об убогих в мировом масштабе. Благородно, достойно и вполне в традициях культуры. Но, во-первых, в здоровом обществе нет и не должно быть столько сирых и убогих, чтобы загрузить экономику и индустрию великой страны, а во-вторых, эта забота не подразумевает никаких высоких технологий. Сырым и убогим и подойдет-то лишь все самое сирое и убогое, от остального они шарахаться будут, или ломать нарочно, потому что владеть чем-то красивым и мощным — слишком хлопотно и ответственно, и вообще не соответствует привычному образу жизни. Едва ездящая лохматка с негреющей печкой — на нее все равно никто не позарится, и сломать не жалко. Кривой пиджак — который незачем беречь и ни к чему чистить. Чудовишный зловонный сортир, где можно с привычным отвращением, зато вольготно, гадить хоть на потолок... Какие уж тут технологии. И потому, если такой казус вдруг произошел бы, вскоре о самой заботящейся державе пришлось бы заботиться как о нищей и убогой, ибо ничего, что умеет современная техника, она не научилась бы делать и даже от уже усвоенного отвыкла бы. Собственно, зачем я все время повторяю «бы»? Сослагательное наклонение тут ни при чем.

Удовлетворение страсти к познанию окружающего материального мира. Фантасты в 60-х годах так это себе и представляли — не страна, а сплошной НИИ. Но это оказалось далеко не для всех. И людей нельзя в этом винить — естественнонаучное любопытство, увы, слишком недуховно, чтобы быть высшей ценностью для многих. Оно ведь тоже — средство, а не цель, и цели, получается, опять нет. Конечно, просто точить гайку за гайкой куда менее увлекательно и почетно, чем точить те же самые гайки для полета на Луну. Но — а зачем, собственно, на Луну? И если не будет дано удовлетво-

рительного ответа, — увлеченности и трепета как не бывало. А что такое удовлетворительный ответ? Это постановка цели, для которой полет на Луну — лишь средство. Причем такой цели, которую примет как заманчивую и желанную тот, кто гайки точит.

Однако: нарочно цели не придумываются. С потолка не снимаются. Чтобы зацепить души, — цель должна быть модернизированной ипостасью традиционной цивилизационной цели, ее адаптацией к реалиям XXI века. Но ипостасью действительно модернизированной, а не гальванизируемым мертвяком.

Однако: идея, не подразумевающая цели производительной деятельности, **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** обречена оказаться не более чем очередным призывом увольнять, сажать или резать по какому-нибудь из хорошо нам известных признаков: национальному, классовому, имущественному, образовательному и т. д.

К тому же: материальное производство, ориентированное на удовлетворение биологических, а не ментальных потребностей, универсально, оно — для всех, и в нем в принципе могут быть заинтересованы все, вне зависимости от убеждений, образования, партийной или конфессиональной принадлежности и т. д. Одухотворенное же не животной целью материальное производство всегда оставит незаинтересованными тех, для кого данная цель не является ценной.

Те, кто сейчас жаждет для России национальной идеи, должны отдавать себе отчет, что, если таковая идея и впрямь народится, российское общество в той или иной степени вновь должно будет стать идеократичным.

Но если этого не произойдет, в концерте представленных на нашей планете культур Россия станет подобна замолчавшему, сломавшемуся инструменту. В спектре цивилизаций она окажется мутной, бесцветной и

лишь мешающей слиянию цветов в свет полосой — то есть сделается лишней. Значит, будет обречена на долгое и мучительное сползание в очередную могилу на кладбище цивилизаций. На окончательную утрату самостоятельности, жизненной энергии и исторической перспективы, на возрастание хаоса и распад.

Боземан: «Политические системы — это преходящие средства достижения целей, находящиеся на поверхности цивилизации, и судьба каждого сообщества, объединенного в языковом и духовном отношениях, в конечном свете зависит от выживания определенных первичных структурирующих идей, вокруг которых объединяются сменяющие друг друга поколения и которые таким образом символизируют преемственность общества».

В точку.

5. Настоящий журналист и ненастоящий журналист

Я читал Сошникова допоздна. Не хотелось спать. Сердце было не на месте — Бог весть, отчего. Может, все-таки из-за Киры. Принять-то решение я принял, но пока ситуация не стала совсем уж необратимой, меня то и дело тянуло послать сей умозрительный, вычурный и, что греха таить, весьма сомнительный гуманизм к чертовой матери, взять свою женщину за волосы и... м-да. И — что? Непонятно. Вот эта неопределенность и останавливала, наверное. За волосы взять — не штука...

Соображения Сошникова показались мне любопытными, но донельзя умозрительными — вроде вот этого моего гуманизма. Ну, ты придумал очередной гуманизм, и я придумал очередной гуманизм, и что нам с ними

делать теперь, каждому со своим? На ум даже пришло невесть как попавшее на свалку памяти сакраментальное марксистское: философы только объясняли мир, а надо его переделать... или как-то так. Боюсь, Сошка мой просто-напросто сам всегда чувствовал потребность в цели — и под неосознаваемым давлением личной потребности измыслил, как бы от строгой логики, теорию якобы для всех. Так часто бывает.

Вообще говоря, некое рациональное зерно в его рассуждениях было. Очень точно наши странные достоинства и очевидные недостатки в эту схему укладывались. Но ведь серьезная теория начинается не тогда, когда удастся гарно объяснить опытный материал, но когда она начинает предсказывать эффекты, впервые наблюдаемые уже после ее создания. Мне неясно было, какова предсказательная сила схемы Сошникова и можно ли вообще каким-то образом оценить эту силу.

Некое созвучие я уловил здесь своим размышлениям о благих целях и деятельности ради оных. Насколько дело упрощается, если это ОБЩИЕ благие цели!

Но хоть убейте, тут как раз, наверное, тот случай, когда простота хуже воровства. Если человека упростить, — получится манекен. Если манекен упростить, — получится вонючее пластмассовое варевое. А если народ упростить, — получится муравейник.

Как раз по старику Болонкину с его чипами: «Возникнет органичное соединение отдельных человеческих особей как бы в единый организм, напоминающий новый вариант царства Божьего»...

Пятерых единомышленников найдешь за пять лет — и то спасибо. А уж чтобы целый народ... Дудки. Не верю.

Хотя почему-то считается, например, что как раз целый народ, нация, государство — это всегда благая цель. Для всех. ОБЩАЯ. Разведке, например, прощается и подкуп, и шантаж, и убийство. Потому что, дескать, на благо Родины.

Моя команда, если подумать,— это первая в истории человечества спецслужба, которая работает для отдельных, конкретных людей, а не для окаянного Левиафана. Для людей, которых я считаю хорошими. Достойными. Самыми нужными. Так что все-таки спасибо, Сошников. Мне простой этот довод как-то не приходил в голову. Вот только мало кто со мною согласится насчет нужности моих пациентов.

Как же его самого-то измордовали, Сошникова! Как вывернули душу наизнанку, если он, с такими взглядами, решил удрать туда, где, по его же словам, нету целей!

Или он просто-напросто слишком сам уверовал в то, что измыслил,— и замучил себя необходимостью жить ради цели, на которую всем, кроме него единственного, давно уже начхать?

Или замучил себя необходимостью жить ради цели, сам не понимая, В ЧЕМ ИМЕННО она состоит?

Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если она уже сбежала,— спору нет. Но еще труднее — что было мочи, из сил выбиваясь, скакать к финишу, не зная, где он, и не забыли ли судебские каналы вообще его обозначить...

Очень мне понравилась цитата из Василия Великого. С непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство. Красиво сказано, и так глубоко, что не вдруг нырнешь следом. Было в этом нечто очень важное.

С непреоборимой свободой...

С непреоборимой свободой я и уснул без задних ног, а, продрав глаза, изумился, как далеко в день забежали стрелки часов. За окошком-то было еще вполне темно — тучи, да и до самого короткого дня оставалось не больше месяца...

Первым делом я совершенно непроизвольно проверил телефон. Нет, гудит. Стало быть, Коля еще не звонил,— вряд ли я спал с таким уж энтузиазмом, что

меня даже звонок не сумел разбудить. Что-то он увлекся, с раздражением и беспокойством подумал я.

Не теряя минут, но и не торопясь, я попрыгал-поскакал, потом принял душ. Звонка не было. Позавтракал. Звонка не было. Четверть часа послонялся по пустой квартире...

Звонка не было.

В десять я сам позвонил ему домой.

Подошла Тоня.

— Нет его дома, не ночевал и не звонил, — сказала она нервно. — Не знаю, что и думать. Никогда такого не было на моей памяти. Бывает, заночует у кого из друзей, но тогда обязательно предупредит. Он же знает — даже если выпил чересчур, я не ругаюсь. Антон, если вдруг он к вам как-то прорежется, вы скажите ему...

Голос у нее дрожал.

Ее волнение и мне передалось. Уж не знаю, как он там ее предупреждал, если чересчур выпил, но в делах он был чрезвычайно аккуратен. Ежели обещал позвонить утром, — трудно себе представить, что ему могло помешать. Единственное приходило на ум — разработка Веньки продолжается по сию пору, и именно с применением тяжелого алкоголя. Но тогда он тем более должен был с вечера отзвонить Тоне, и именно при собутыльнике, чтобы возлияние выглядело максимально естественным.

В общем, я поехал на работу.

Как обычно, когда ждешь важного звонка, принялись трезвонить все, кому не лень. И из вневедомственной охраны, что мы до сих пор деньги за октябрь не перевели. И из Ассоциации менеджмента и консалтинга — не соглашусь ли я прочесть для начинающих предпринимателей доклад о своих таких успешных методах. И из юридической конторы, что с будущего года несколько изменятся правила подтверждения лицензий. И Бог еще знает откуда. Меня уже трясло, но не

подходить я не мог себе позволить, и Катечке передоверить предварительный отсев не мог, потому что, наоборот, к каждому звонку бросался, как вратарь на мяч.

Около полудня включилась Катечка и сказала:

— Антон Антонович, к вам посетитель.

Я едва не зарычал.

— Записан?

— Нет. Но это не на прием и не на собеседование.

Это журналист, интервью хочет взять.

Трам-там-там, едва не сказал я, но в этот момент зазвонил телефон.

— Минутку,— бросил я, подхватывая трубку. И уже в нее: — Да?

— Антон! — раздался голос на том конце. Но это был не Коля, и потому, ожидая его уже в полном иступлении, я не сразу понял, кто говорит. А говорил один из нашей спецкоманды, не буду его называть. Он жив и здравствует, и на своем месте до сих пор хорош, так что называть мне его незачем. Журналист. Отличный журналист. Но специализируется он на криминальных хрониках и всевозможных кровавостях и злоупотреблениях в кровавых сферах.

Мне это сразу не пришлось по душе. Не расположен я был к его кровавостям. У меня и так предчувствия.

— Да, я... — буркнул я, сладострастно предвкушая: а пошлю-ка я сейчас его к черту. Благо мы давние друзья. С давними друзьями можно не церемониться, если уж чересчур припекло.

Но даже это у меня не получилось, потому что он сразу спросил, и голос был, как из преисподней:

— Ты с Колей Гиниятовым давно виделся в последний раз?

Сердце у меня так с дуба и рухнуло.

Я повернулся к микрофону и, не думая, на одних рефлексах велел Катечке:

— Через пять минут.

Потом отключил ее и сказал в трубку:

— Вчера.

— Вот как...— пробормотал журналист.

Они с Колей несколько раз на пару крутили мои горловины, хорошо знали друг друга и дружили.

— Ты его,— он осторожно подбирал слова, и я догадался, что он говорит откуда-то, где не может называть вещи своими именами,— о чем-то вчера просил?

— Да,— скрипуче ответил я. Горло вконец пережало тревогой и предчувствием.

— Понимаешь,— на том конце тоже давились словами.— Я сейчас из центра по общественным связям звоню. Заехал поутрянке, как обычно, сижу на компе, просматриваю сводку за истекшие сутки...

— Ну?

Он хрипло подышал там.

— Убили Колю,— сказал он.

Ноги у меня подогнулись и сами собой усадили меня в кресло.

— Проникающее ножевое ранение в область печени. Этак, знаешь, сзади или сбоку. Утром нашли на улице. Кровью истек.

— Так,— бессмысленно сказал я.

Верить надо предчувствиям, кретин самодовольный, верить!

Послал друга проверить реакцию...

— Менты сейчас просто землю роют. Их кадра замочили этак походя — распоясались совсем! Хотя он был вполне в штатском, но документы все при нем, их даже свистнуть не побеспокоились. Денег нет ни рубля, вроде как ограбление, что ли,— но из-за документов даже на ограбление не похоже.

— Слушай, надо пересечься,— сказал я, понемногу беря себя в руки.— Сейчас разговаривать не могу.

— Я тоже. Говори, где и как.

— Через три часа у памятника «Стережущему». Говорится?

— Да. Я к тому времени постараюсь разузнать побольше.

— Узнай первым делом, где нашли.

— Обижаешь. Новаторов, четная сторона.

Совсем неподалеку от обиталища Сошникова.

И Веньки.

— До встречи,— сказал я, но он опять хрипло задышал и спросил сдавленно, будто совсем уже из петли:

— Тоне... мне?... или ты?

Господин директор, подумал я. Ты приказ давал? Ты все это придумал, дебил? Ты. Никто иной. Вот и работай.

— Я сообщу,— сказал я. Он напоследок еще раз вздохнул с того конца, теперь уже с явным облегчением, и повесил трубку.

Я встал. Прошелся по кабинету взад-вперед, напряженно думая и отчаянно кусая губы. Проблема выплат вспомоществований и пенсий вдовам друзей, погибших на моих войнах, передо мной до сих пор еще не вставала, и я не имел ни малейшего навыка, как ее решать.

Потом вернулся к столу и тронул переключатель.

— Богдан Таризлович,— позвал я.

Да. Вот такой у нас работал бухгалтер. Лет сорок назад он был, вероятно, писанный жгучий красавец, свинарка и пастух в одном лице; южно-украинская кровь, схлестнутая с грузинской — это, я вам доложу, нечто.

— Слышу вас, слышу, Антон Антонович,— чуть надтреснуто, но вполне еще браво отозвался тот по громкой связи.

— Как у нас с деньгами, Богдан Таризлович?

— С деньгами у нас хорошо,— отвечал он. Не помню, у кого я вычитал замечательный образ: и «г» у него было по-хохлацки мягкое, как галушка.— Вот без денег — да, без денег — плохо.

И сам же захохотал. К счастью, коротенько.

— Мне срочно нужна наличка. Тысяч двадцать — двадцать пять выжмем?

— О! — сказал дед Богдан. — Кровь играет молодая, просит денег дорогая. Уж такая дорогая — как с ней быть мне, я не знаю...

Я на миг напрягся, непроизвольно желая ответить ударом на удар. Как писал в свое время Лем, дракон трясся-трясся, и все-таки извлек из себя квадратный корень... Я, увы, дракону и в подметки не годился; на экспромты, даже такого вот уровня, всегда был слаб. Потрясся какую-то секунду, и, бросив это пустое занятие, продекламировал, играя в акцент — боюсь, не в грузинский, а в некий обобщенный; в акцент, так сказать, кавказской национальности:

— Другу верный друг поможет, не страшит его беда! Сердце он отдаст за сердце, а любовь — в пути звезда!

— Вах, — уважительно подытожил дед Богдан. К великому Шота из Рустави он относился с высочайшим пиететом, тем более что витязь в тигровой шкуре приходился тезкой его бате. — Другу верный друг поможет — денежку в карман положит. А в штанишки — не наложит!

— Сдаюсь, Богдан Тариелович, сдаюсь.

— Уважительна ли причина, осмелюсь осведомиться?

Строг старик Тариевич, ох, строг. Я запнулся. Придумать-то я придумал, но не шло с языка. Грустно, братцы! Как я потом задний ход-то отрабатывать стану?

Но деда Богдана, по крайней мере за ту часть его крови, которая кавказской национальности, я этим зацеплю намертво. Тогда он в лепешку расшибется, а сделает.

— Только вам и только под строжайшим секретом — у меня, похоже, ожидается прибавление семейства. Тише! Поздравления — после. А вот деньги — и после, и во время, и, главное, до.

— Указание получено, осмыслено и принято близко к сердцу, — сказал Богдан потеплевшим голосом.

Рифмоплетствовать он сразу перестал. Хороший старик, и обманывать его было просто срамно.

— Рад за вас... молчу, молчу. Конечно, выжмем, Антон Антонович. Через полчасаика зайдите платежки подписать. Но, сразу говорю, обналичить смогу только послезавтра.

— Годится,— сказал я и отключился. Ну, вот. Есть предлог до послезавтра Тоне не звонить.

Гадость какая. Обязательно позвоню сегодня же.

Позвонить ей сегодня я не смог. И не по своей вине.

Дверь осторожно отворилась, и в кабинет не спеша, безо всякой скованности вошел человек средних лет, среднего роста и средней упитанности.

— Пять минут прошли, господин Токарев, и ваша очаровательная секретарша сделала мне легкий взмах изящной ручкой,— проговорил он.— Я посмел войти.

— Тогда посмейте сесть,— я королевским жестом указал на кресло для посетителей.— С кем имею честь?

Перестроиться столь стремительно было довольно сложно. Хорошо, что дед Богдан лица моего не видел во время веселого нашего разговора. Глаз, например. Меньше всего, я полагаю, был я похож на счастливого и гордого владыку семейства, ожидающего в семействе сем очередного прибавления. У меня еще слегка дрожали губы. Я, пытаюсь привести их в чувство, неопределенно утерся тыльной стороной ладони — будто втихаря жрал тут чего-то... спецпаек, что ли,— покуда один в кабинете и подчиненные не видят.

— Корреспондент еженедельника «Деловар» Евтюхов Сергей Васильевич,— сказал вошедший, протягивая мне руку. Мы обменялись коротким рукопожатием — он едва-едва шевельнул мускулами кисти и тут же удалил ладонь. Имя и фамилия были не настоящие, я это сразу ощутил.

— «Деловар» не вынесет двоих,— сказал я. Евтюхов вежливо улыбнулся и утвердился в кресле для посетителей. Извлек диктофончик и ловко, пролетающим

профессиональным движением, утвердил его на столе между нами.

— Прежде всего позвольте вас поблагодарить, Антон Антонович, за то, что вы нашли для меня время, — церемонно сказал он. — Я прекрасно понимаю, как вы заняты.

В его словах ощутилась некая издевка. И, уверен, нарочитая. Он утонченно меня поддел.

Но я, пока не уяснил для себя, в чем дело, прикинулся шлангом. Как бы ничего не заметив, ответил с широкой бесхитростной улыбкой:

— Ну что вы, я занят не больше других. Сейчас эпоха такая — все заняты. Расплата за советское безделье. Богадельня рухнула, пора бы и поработать.

— Ах, так вы ЭТИХ взглядов, — отреагировал Евтухов, вложив в слово «этих» буквально бездну чувства, только не понять, какого.

Он и боялся меня, и презирал. Боялся, что я что-то про него пойму, чего мне, и вообще кому бы то ни было, понимать никак нельзя. И презирал, потому что был уверен: мне нипочем и никогда этого не понять.

Как интересно.

— А вы каких? — невинно осведомился я.

Он снова чуть улыбнулся и сделал пренебрежительный жест — дескать, сейчас неважно, каких взглядов я, у вас же интервью берут, не у меня.

— В нашем издании есть регулярная медицинская страничка, — проговорил он. — Наряду, скажем, с регулярной компьютерной страничкой, регулярной мебельной страничкой и так далее. Мы стремимся знакомить читателей с конкретными достижениями нашего здравоохранения, но не вообще, не абстрактно, а с теми, которые нашим читателям могли бы оказаться особенно полезны. Мы стараемся давать серьезную информацию о том или ином явлении в медицине и о сдвигах в общественном сознании, которые это явление обусловили. И которые, в свою очередь, это явление способно

вызвать уже само. Вот в этом ключе, если вы не возражаете, мы и поговорим.

Ни черта я не понял из его вводной части. Пыль в глаза. А там Коля... Но я только приложил руки к груди и кивнул:

— Никоим образом не возражаю.

Он включил диктофон.

— Известно, что среди состоятельной части населения нашей страны в последние годы забота о своем здоровье стала едва ли не культом,— начал он, лицом устремившись ко мне, но то и дело скашивая глаза на свою машинку,— смотрел, нормально ли пишет. И я почувствовал, что интерес не праздный и не показной, ему действительно почему-то важно, чтобы запись получилась качественной. Ага... Похоже, он собирался самым серьезным образом анализировать магнитограмму: микромодуляции голоса, пересыхание гортани... ого!

Я всеми фибрами ощущал его предвкушение: как он будет меня, дурака болтливого, препарировать и потрошить на послушной, верной, умной электронике.

Ну-ну.

— В том числе и о психическом здоровье. Мне не раз приходилось наблюдать, что и на приемах или презентациях, и на дружеских попойках впрямую произносятся тосты «за наше психическое здоровье». Как вы, профессионал в этой сфере, могли бы такое явление прокомментировать?

Он вел себя, как настоящий. И задавал вопросы так, как и подобает акуле пера,— издавек, беря собеседника в вилку, будто артиллерист. Но вот не повезло ему со мной. Я-то чувствовал, что ему абсолютно неинтересно то, о чем он спрашивает, и то, что я примусь говорить в ответ. Даже нет, не так,— журналисту тоже не все собственные вопросы одинаково интересны, бывают и проходные, связочные, бывают и такие, которые задают лишь с тем, чтобы разговорить собеседника. Но чувствовалось, что весь намечающийся разговор о психическом

здоровье и о том, чем я занимаюсь и почему, не имел ни малейшего отношения к действительной цели прихода этого лже-Евтюхова. К тому, что он на самом деле хочет узнать. Чувствовалось: он станет долго меня мурыжить видимостью интервью — с тем лишь, чтобы я пребывал в уверенности, будто это и впрямь интервью, и в конце концов ответил на те вопросы, ответы на которые он действительно хочет получить, даже не заподозрив, что вот они — настоящие-то вопросы.

У меня возникла шкодливая мысль в ответ помурыжить его, начав долго и с энтузиазмом комментировать то, о чем он сделал вид, что спросил. Было бы любопытно посмотреть, когда и как он закипит. Но у меня у самого лишнего времени не было. Да и настроение, мягко говоря, не то. Лучше поиграть с ним в поддавки.

— А что тут комментировать? — развел я руками. — Это совершенно естественно. Что, на самом-то деле, может быть естественнее и достойнее уважения, нежели забота о своем здоровье? Здоровы люди — здорова страна. Мы и так по всем показателям в ужасающем положении. Средняя продолжительность жизни у нас на одном из последних мест в мире. Не знаю даже, превышает ли естественный прирост населения его естественную убыль. В этих условиях, если хотя бы кто-то, хотя бы небольшой процент населения, способен заняться собой, — это уже колоссальный прогресс.

Ответ вызывающий. Просто-таки подлый ответ. За него он должен был ухватиться. И он ухватился.

— Не секрет, Антон Антонович, что психиатрическая статистика по стране тоже весьма печальна.

— Не секрет, — согласился я.

— Но наиболее печальна она для неимущих классов. На эти классы приходится основная часть психических расстройств и недугов.

Я легкомысленно, как последняя сволочь, для которой, ежели сам сыт-пьян, ни единого страждущего нет, опять развел руками и улыбнулся:

— Ну, а что вы хотите? Если малообеспеченные и необеспеченные составляют восемьдесят три процента населения, логично, что девяносто пять процентов всех болезней придется именно на них, не так ли?

— Вы настолько легко к этому относитесь?

— От того, любим мы или не любим законы природы, они не меняются. В том числе — и социальные законы.

— Понимаю вашу позицию, — он покивал. Прежнего равнодушия не стало в нем. Хотя он поджимал губы и вообще всячески демонстрировал, как моя позиция ему претит, — чем-то она ему на самом деле понравилась. Поддавки получались. Вот только в какой игре?

— То есть вас совершенно не беспокоит тот факт, что, скажем... поправьте меня, если я, как неспециалист, что-то напутал... что, скажем, среди пожилого поколения — каждый второй страдает теми или иными психическими отклонениями? Что молодежь призывного возраста, даже не знакомая с наркотиками — хотя таких становится все меньше, — почти вся страдает депрессиями вполне уже патологического уровня или легкими формами паранойи и шизофрении? Что повышение градуса агрессивности в обществе вызвано едва ли не в первую очередь именно этим? Что мы, фактически, вот уже многие годы живем в одном огромном сумасшедшем доме?

Какой пыл.

— Конечно, беспокоит! — раскатисто ответил я с улыбкой. — Конечно! Но, помилуйте, господин... э... Евтюхов. Если даже федеральный бюджет не в состоянии сколько-нибудь всерьез позаботиться об этой неисчислимой армии страждущих, то чего вы хотите от частного заведения, в котором работает единственный профессиональный психолог и которое существует только на заработанные этим психологом деньги?

— Безусловно, я понимаю, что вы способны помочь лишь очень немногим, — кивнул Евтюхов. — Но почему вы заведомо сужаете круг пациентов, устанавливая столь высокий имущественный ценз? Фактически, вашими услугами могут пользоваться лишь люди бизнеса, не так ли?

— С чего вы взяли? — я возмущенно откинулся на спинку кресла. — Хорошенькое дело! Ежели вам угодно, господин Евтюхов, то... Сколько я помню, среди наших пациентов вообще до сих пор не было ни единого финансиста, ни единого директора предприятия. Ни единого!

Хочешь, чтобы я начал горячиться, — я погорячусь. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Что ж, — хладнокровно и безжалостно дожимал меня корреспондент, — значит, дело обстоит еще хуже. Элитный клуб интеллектуалов! Голубая кровь, белая кость. Восстановление творческих способностей! А баба Ньюша, всю жизнь проработавшая гардеробщицей и работавшая от постоянного унижения манию преследования, или дед Иван, потомственный токарь, доработавшийся до нарушения концентрации внимания, — они заведомо за бортом! Не так ли? Откуда такой снобизм?

Ему бы речи с трибун валять. Он меня корил, а чувствовал ко мне все возрастающую симпатию типа: да этот директор, похоже, нормальная сволочь, если он мне понадобится, его можно купить, узнать бы только... Но вот что он хотел узнать, — в таких подробностях я не чтец.

Интересно.

Я никогда не сумел бы столь красно трубить о высоких материях вслух. И это при том, что, в отличие от лже-Евтюхова, всерьез за них переживаю.

Впрочем, тут, видимо, вечный закон природы. Эрудиция моя родная, свалка памяти ненасытная! Как бишь в «Дао дэ цзине» констатировал старик Лао-цзы: «Верные

слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым».

Он явно провоцировал меня, мой красноречивый лже-Евтюхов, но на что — я не мог уловить. Во всяком случае, на то, чтобы я завелся и начал лепить стгоряча, от сердца.

Ну, заяц, погоди. Ты меня разозлил. Сейчас тебе понадобится все твое терпение.

— Погодите, господин Евтюхов, давайте сначала выясним, о чем все-таки мы говорим. Если о стоимости лечения, — это одно. Если о его ориентации, — это другое.

Он хотел что-то ответить, но я остановил его резким движением ладони — и указал на магнитофон: мол, получай интервью. Или ты сам сюда трезвонить пришел? Он осекся мгновенно.

А мне пришла в голову странная мысль.

Если ты живешь, как жил, ни одного нетривиального поступка не совершая, но вокруг тебя внезапно, буквально в течение суток, происходят, по меньшей мере, три непонятных, из ряда вон выходящих события, — вполне логичным будет допустить, что они связаны друг с другом. Природа этой связи — где-то вдали, и выяснить ее можно лишь постепенно и лишь по косвенным признакам. Но удостовериться, что связь эта есть, — можно, и очень даже просто.

Стоит лишь назвать фамилию: Сошников.

Потому что, как ни крути, началось с него.

Во всяком случае, надо в этом удостовериться.

Но для начала, господин Евтюхов, я тебя все-таки помурыжу.

— Сначала об ориентации. Это старый спор, в котором, конечно же, правы обе стороны, но все-таки одна права относительно, а другая — абсолютно. Кого поддерживать в первую очередь, если в поддержке, в силу экстремальности условий, нуждаются едва ли не

все? Тех ли, кто уже выработал, так сказать, свой ресурс и просто доживает свои дни, имея все свои трудовые подвиги и заслуги в героическом и давнем прошлом...

От злости я тоже запел соловьем. Не ожидал от себя подобной велеречивости. Между прочим, господин Евтюхов, у меня друга убили. А вы тут с ерундой.

А не вы ли, кстати, убили?

— ...Или тех, кому именно вот сейчас бы и совершать свои подвиги, но кто совершенно не в состоянии этого делать, потому что за трудовые подвиги не платят, а платят совсем за иное. А, между прочим, от этих-то вот людей во цвете способностей и лет зависит благосостояние как более молодого поколения — то есть их несовершеннолетних детей, так и более пожилого поколения — то есть их престарелых родителей. Знаете, — я устроился в кресле поудобнее с видом человека, который нашел наконец благодарного слушателя и теперь уж не отпустит его живым, — среди наших пациентов был один весьма знающий востоковед. Он рассказывал, что, например, в средневековом Китае, где вообще чрезвычайно заботились о стариках, было отлично налажено пенсионное обеспечение. Но совершенно иначе, нежели у нас. Государство не брало на себя Сизифов труд каждому старику совать медяк в руку, — отдавая себе, в частности, отчет в том, что, по меньшей мере, две трети таких медяков будет разворовано именно теми низовыми служащими, которым по их должности как раз и полагается подходить к каждому конкретному старику и говорить: примите, отец, дань признательности за труды.

Железный человек был Евтюхов. Он сидел с непроницаемым видом и вежливо внимал. Но я чувствовал: он стервенеет.

— Государство возвело скупое содержание родителей, равно как и дурной за ними уход, в ранг уголовных преступлений, положило за него весьма суровое

наказание, а затем ввело такие нормы, при которых связь между людьми, находящимися в расцвете трудовых способностей, и их престарелыми родственниками стала нерасторжимой. Если, скажем, некто был единственным работоспособным сыном в семье, а кто-либо из его стариков достигал, так сказать, пенсионного возраста, то такой сын не мог даже на государственную службу поступить, а должен был сидеть при семье, возделывать семейное поле и заботиться о безмятежной старости предков. Если такой сын совершал преступление, его ни в каторгу, ни в ссылку не могли отправить, наказание откладывалось, пока престарелый родственник не помрет или пока в семье не подрастет другой мужчина, который возьмет бремя забот на себя. И так далее. Разумно, не правда ли? Никакого воровства из пенсионного фонда. Никакой путаницы в отчетности. Никаких собесов и собесовской волокиты. Тот, кто может работать, должен работать, и забота государства — дать ему такую возможность. Все! А уж он прокормит тех, кто работать не может, — прокормит от души, потому как родная кровь.

Евтюхов, уже не в силах сдерживаться, едва слышно вздохнул. Лед тронулся.

— Я это к тому, — милосердно закруглился я, — что оптимальным выходом из всех подобных коллизий мне видится забота о том, чтобы наиболее деятельное поколение, то, которое растит детей и ухаживает за стариками, получало как можно более широкие возможности растить и ухаживать. То есть для того, чтобы работать с полной отдачей и зарабатывать по максимуму. Тогда остальное приложится. И государству польза, и старикам несчастным. А вбухивать деньги от государства напрямую в стариков — это, во-первых, вбухивать их главным образом в пенсионных чиновников и, во-вторых, сажать на голодный паек тех, кому бы работать и работать при соответствующем вознаграждении. Кому бы содержать как государство, так и стариков.

Евтюхов с ледяной неторопливостью положил ногу на ногу.

— Все это, конечно, просто, если под работой мы понимаем почти исключительно работу на семейном поле,— продолжал я без зазрения совести, как бы не замечая его напряженной, натужной медлительности.— В наше время это, увы, нуждается в каких-то модификациях. В частности, коль скоро есть у нас, увы... Да-да, увы! Возможно, вы помните — был после октябрьского переворота такой большевистский поэт Сельвинский, его потом большевики расстреляли, кажется. Он замечательно писал, мне это смолоду врезалось в память: Чтобы страну овчины и блох Поднять на революционном канате Хотя бы на уровень, равный Канаде, Нужен рычаг, ворот и блок, Поэзия скобок и радикала; Дабы революция протекала, Нужно явление — увы! — неминуемое, Интеллигенцией именуемое. Так вот: УВЫ! У нас же теперь тоже, можно сказать, революция, пусть не социалистическая, пусть капиталистическая, но ХОТЯ БЫ на уровень, равный Канаде, нам все-таки следовало бы когда-нибудь подняться, не так ли?

Евтюхов сцепил пальцы на коленях. Напряженно сцепил. Демонстративно косил глаза на диктофон — не кончается ли, дескать, пленка? Пленки было вдоволь.

— Коль скоро, увы, сохранилась у нас еще группа лиц, способных зарабатывать исключительно интеллектуальным трудом, кто-то должен взять на себя заботы о том, чтобы они могли трудиться именно в этой сфере с полной отдачей. И, таким образом, а: сводить концы с концами, бэ: уделять от этих концов кое-что детям и родителям, чтобы те не перемерли с голоду в ожидании подачек со стороны Отчизны и вэ: поднимать эту самую Отчизну на уровень, ХОТЯ БЫ равный Канаде. Я, кстати, совсем недавно был свидетелем забавной сцены: группа молодежи вываливается из макдональса и поет... эрудиты, я просто поразился... этаким модификат одного из

шестидесятнических гимнов, я его от матери слышал в детстве. Поют: хоть похоже на Канаду,— только все же не Канада!

Я жирно засмеялся, явно довольный собой и своим остроумием. Евтюхов опять вздохнул. Шумно.

— Теперь о стоимости. Мы избрали систему оплаты, сходную, так сказать, с прогрессивным налогом. Во-первых, к нам обращаются, или даже приходят по прямой рекомендации своих работодателей, творческие работники процветающих предприятий и фирм. Самого различного профиля. От архитекторов и дизайнеров до биологов и физиков. Для этих работников стоимость наших услуг весьма велика. Весьма.

— Какова? — не утерпел Евтюхов.

— Это не предмет интервью. У нас избирательный подход, и в каждом конкретном случае стоимость курса оплачивается по договоренности с руководством организации, где работает пациент. Во-вторых, к нам обращаются, зачастую стараясь сохранить инкогнито... забыл сказать: у нас вообще очень строго с обеспечением приватности услуг... более или менее высокопоставленные работники системы Академии наук или вузов. Здесь оплата лечения делается на порядок более щадящей. По меньшей мере, на порядок. Ведь эти люди платят нам из своей полочки. И наконец, в-третьих, к нам обращаются люди свободных профессий, зачастую оказавшиеся в отчаянном положении, или талантливые, но не выбившиеся ни на какие хлебные посты ученые. Также находящиеся в отчаянном положении. Подчас — вообще без работы. Или по традиции числящиеся в штате своих учреждений, но давным-давно и навсегда по доходам своим оказавшиеся заведомо ниже прожиточного минимума. Навсегда, потому что вы же понимаете: каждый дополнительный рубль люди кой уж год берут с бою, но, в то же время, если забастуют, например, железнодорожники,— это видно всем, а если забастуют, например, вирусологи,— этого никто не заметит сто лет. Для

таких пациентов у нас разработана система льгот: дотированное лечение, лечение в кредит... Вот, скажем, один из последних наших пациентов... э... Павел Андреевич Сошников...

Все стало совершенно ясно в единый миг. Утомленный и усыпленный моей болтовней Евтюхов несколько расслабился и, когда в потоке словесного поноса неожиданно полыхнула эта фамилия,— он не совладал с собой. Даже если бы не дар Александры, элементарная наблюдательность подсказала бы мне, что дело нечисто. В глубине глаз лже-Евтюхова отчетливо мигнуло.

— Вам, скорее всего, эта фамилия ничего не говорит,— я позволил себе уже совершенно откровенно потешить себя издевкой, которую он, конечно, понять не мог.— Он прошел у нас три сеанса, и даже этот, в сущности, чрезвычайно короткий курс оказался ему весьма полезен. Так вот, плата была чисто символической. Чисто символической. Правда,— я сокрушенно покачал головой,— лечение не пошло ему впрок. Трагическая нелепость...

Я унялся наконец. Надо было дать ему отреагировать. И как следует вслушаться в него теперь, когда в его подноготной пошли бурные процессы.

Он действительно был железным человеком. Он настолько конспирировал цель прихода, что даже не ухватился за предложенную мною возможность. Судя по его поведению, у него действительно впереди была вечность. Он нервничал,— но не позволял себе дать волю желанию ускорить томительный процесс и не допускал ни единого демаскирующего прокола.

Его следующий вопрос не имел к Сошникову ни малейшего отношения.

Он не был корреспондентом. Ни «Деловара», ни какого-либо еще издания на белом свете. Никогда не был. Я еще не присягнул бы в этом, но ощущение у меня к данному моменту проклюнулось такое — он из ФСБ.

— То, что вы рассказываете, Антон Антонович,— это весьма существенно. Весьма существенно,— он со значением несколько раз покивал.— А то, буду с вами откровенен, мне встречались и такие расхожие мнения о вашем учреждении: это очередные шарлатаны, на американский манер выманивающие деньги у бесящихся с жиру высоколобых, психоаналитическая дурилка, фрейдисты-скоробогачи импортного кроя, с запредельным уже бесстыдством прикрывающиеся заботой о людях. Только с высоколобыми дело имеют? Конечно, у высоколобых долларцы!

Он говорил и внимательно следил, возьмет ли меня эта напраслина за живое.

— Бесящиеся с жиру ученые — это надо сильное воображение иметь,— задумчиво сказал я.— И очень сильно не любить всех, кто хотя бы таблицу умножения помнит. А что касается так называемых долларцев, то мы как учреждение ни малейшего дела с ними не имеем. Лишь как частные лица и лишь на общих основаниях.

— А вот, кстати, Антон Антонович. Кстати. Долларцы. Ведь, наверное, немало народу из ваших подопечных какое-то время работало, или работает, или намеревается поработать в развитых странах. А то и вовсе сваливает, как говорили прежде, за кордон. От иностранных фирм-работодателей вы разве не получаете валютной оплаты?

И я почувствовал, что лже-Евтюхов наконец-то начинает выруливать к действительно интересующей его теме. Странно. Неужели тема сведется к финансам? Тогда при чем тут Сошка?

— Нет. Никогда,— честно ответил я.— Не было случая, чтобы за помощью обратился человек, работающий за рубежом. Ни единого случая.

— Помнится, одно время вошло в моду поветрие: те, кто собирался отъехать, заблаговременно шли тут, именно тут, например, к зубному и лечили все, что

только можно вылечить. Потому что тут это гораздо дешевле. С вашим учреждением аналогичных ситуаций не возникает?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что люди, собирающиеся на время или навсегда покинуть страну, перед тем, как это сделать и приступить где-то за границей к работе по своей оч-чень творческой специальности,— он не сдержал саркастической усмешки, или изобразил ее нарочито,— вероятно, стараются перед самым отъездом максимально активизировать творческие способности у вас, чтобы, во-первых, оказаться там в более выгодном положении при поисках работы и, во-вторых, в случае возникновения каких-то... э-э... коллизий не платить чрезвычайно дорогим тамошним медикам. Поступать так было бы вполне здраво.

— Вероятно,— покучнев, ответил я. Евтюхов наконец-то подобрался к предмету разговора. И мне обязательно следовало заскучать, утратить интерес и заговорить односложно, чтобы он задавал как можно больше вопросов. Так он больше рассказал бы мне о цели своих расспросов.— Мне это не приходило в голову. Вероятно, потому, что я понятия не имею, где и как находят себе применение наши пациенты после лечения.

— Неужели вы так мало заинтересованы в результатах своих трудов?

— Это любопытно, конечно, и время от времени до нас доходит какая-то информация,— однако специально мы не интересуемся. Ну, а если человек или направившее его предприятие вполне довольны, они так или иначе доводят свое удовлетворение до нашего сведения.

Я выглядел теперь в его глазах классическим болтуном. То звенел без удержу о ерунде вне всякой связи с предметом интервью,— то теперь, по делу, из меня буквально клещами приходилось вытягивать каждое слово.

— И пациенты никогда не делятся с вами планами на будущее?

— Да нет, пожалуй. Не припомню.

— Но все-таки бывает? — его настойчивость, если посмотреть непредвзято, становилась уже неприличной, на грани подозрительного. Немножко он заигрался, похоже. Но ему очень важно было то, что он пытался выяснить сейчас.

— Как вам сказать,— я, не скрываясь, скосил глаза на часы и даже головой чуть качнул: ой-ой, мол, сколько времени прошло попусту.

— А фирмы-работодатели ваших пациентов в тех документах, с которыми они направляют к вам своих оч-чень творческих работников, никак не указывают, где и как будет после лечения пациент использоваться? Например, чтобы сориентировать вас относительно наиболее желательной для них направленности восстанавливаемых творческих способностей?

— Нет, никогда. Такое попросту невозможно. Желательное направление творческих способностей — вы, вообще-то, слушаете сами себя?

— Ну, вероятно, я не очень точно выразился.

— Хотите посмотреть документик-другой?

— Упаси Бог, мне вполне достаточно вашего рассказа,— он спохватился и одернул себя.— В конце концов, не это главное в нашей беседе. Мне просто любопытно в качестве характеристики отношений, устанавливающихся между врачами и пациентами.

— Ну, разве что в качестве характеристики. Иногда бывает, что устанавливаются очень доверительные, подчас дружеские отношения.

— Но ведь при дружеских отношениях было бы естественно пациенту обсудить с вами — со спасителями, так сказать,— перспективы будущей деятельности?

— Да что вы! Они, как и всякий выздоровевший человек, рады-радешеньки отсюда ноги унести и никогда нас больше не видеть!

— А вот Фрейд писал, что пациент, проходящий психоанализ, на определенной стадии лечения всегда начинает неровно дышать по отношению к аналитику. Женщины даже, как правило, влюбляются.

— Фрейд нам не указ. Здесь гораздо более современные методики.

Судя по всему, сам фамилию Сошникова он не мог назвать. Но и я не хотел ему подыгрывать во второй раз. Это могло показаться слишком уж нарочитым.

Да, похоже, не в самом Сошникове было дело. Почему-то его вообще интересовали пациенты, собирающиеся уехать из страны, — и то, знаю я об их планах или нет. А Сошников был только конкретным и ближайшим по времени примером.

Или не только?

— А вам было бы жаль, если бы кто-то из ваших пациентов весь свой талант, воскрешенный вами, поставил на службу какой-либо иной державе?

Опаньки!

Да что ж это он так вокруг отъездов-то? Весь внутри аж трясется. И на самом деле интересуется вот что: а не пришиб бы я Сошникова за то, что он собрался после лечения у меня уезжать?

Ох, как интересно!

Я опять посмотрел на часы. Но Евтюхов, прекрасно это видевший, и тут оказался железным человеком.

— Как вы отнеслись бы, — с видимым раздражением ответил я, — к тому, что хирург, чикающий аппендиксы изо дня в день, стал бы каждого оперируемого спрашивать: ты где после операции будешь работать? Здесь, мол, или за рубежом?

— Выглядит довольно нелепо, — согласился Евтюхов.

— Психолог — просто врач. Отнюдь не духовник, не гуру, не сэнсэй какой-нибудь. Он не несет ответственности за то, как будет жить выздоровевший бывший пациент.

— Понимаю вашу позицию... Боюсь, я уже надоел вам,— улыбнулся Евтюхов.

— Ну, что вы! — с максимальной неубедительностью и ненатуральностью возразил я. Он улыбнулся еще шире.

— Благодарю за чрезвычайно интересную беседу, Антон Антонович. Я полагаю, публикация этого интервью разрушит некие предвзятости, с которыми кое-кто относится к вашему учреждению. А возможно, и послужит некоторой рекламой.

— Мы в рекламе не нуждаемся.

Он поднялся. Перебросил ремень сумки на плечо. Потертая, набитая... Имидж сочинен аккуратно. Диктофон работал.

— Да,— сказал он тут,— это уже, как в песне пелось, не для протокола. Вы обмолвились о какой-то трагической случайности, произошедшей с этим вашим пациентом, как его... Сошиным.

Ха-ха. Изобразил.

— Сошниковым.

— Да, Сошниковым. Она как-то связана с лечением, которое он получал в вашем учреждении?

Я горько усмехнулся.

— Самым прямым образом, если можно так сказать. Слишком хорошо лечим. Депрессии его мы ему сняли,— так он на радостях где-то так надрался, что в вытрезвитель попал, а там ему, похоже, отвесили по полной. Теперь в больнице...

Его лицо стало хищным. Не сдержался все же.

— Получается, что после окончания лечения вы все же поддерживаете какие-то связи с вашими больными.

Как ни в чем не бывало, я развел руками.

— Подчас приходится поневоле,— и запустил еще один пробный шар: — Сошников мне дал почитать дискету со своими последними работами, которые не смог или не захотел публиковать. Отказаться я был не вправе — знакомство с творчеством пациента, знаете

ли, это одна из основных методик проникновения в его внутренние проблемы. Но времени у меня мало, читаю я долго — не успел. И вот позвонил, чтобы договориться, как вернуть, — а он пропал. Я человек щепетильный в таких вопросах, обязан дискету вернуть, так что принялся Сошникова искать...

Нет, дискета лже-Евтюхова не заинтересовала. На творчество Сошникова ему было глубоко плевать. Интерес был связан с чем-то иным.

— Но с ним вы его виды на будущее тоже не обсуждали?

Вот с чем он связан. Поразительно.

— Нет, — честно глядя Евтюхову в глаза, отвечивал я.

— Всего вам доброго, — произнес Евтюхов и тут как бы заметил оставшийся на столе диктофон. — Господи, ну и голова у меня. Чуть не забыл...

Когда он вышел, я встал и подошел к окну. Опять валил снег, уже настоящий, зимний.

Рано в этом году что-то.

Внизу громыхали на выбоинах машины, продавливаясь по ломаной кишке наполненного коричневой жижей проспекта, чуть не вполтину обуженного бесконечными парковками — под окнами и витринами, на доброй трети которых красовались масштабные объявления «Фор рент», «Фор сел».

Белые, мягкие крыши горбатых петербургских домов неторопливо летели сквозь лиловато-сизую мглу.

Он мне поверил. Я почувствовал совершенно определенно — он ушел, уверившись, что я ничего не знал о предстоящем отъезде Сошникова. А если бы и знал, — то было бы мне плевать.

Конечно, он еще будет анализировать запись, — но, думаю, она его не разуверит. Похоже, я перестал быть для него интересен.

Странно.

А вот он мне — стал интересен.

Очень кому-то вдруг понадобились мои пациенты. Никому не нужные, мучающиеся невостробованностью, задыхающиеся от бессмысленности бытия своего. Очень вдруг кому-то понадобились.

Чтобы сложить два и два, большого ума не надо. Весь этот разговор, все это, с позволения сказать, интервью было затеяно с одной лишь целью: выяснить, знал ли я о планируемом Сошниковым отбытии — и, если знал, то как к этому относился. Отчасти еще: узнать, в курсе ли я вообще, кто из моих пациентов собирается отбывать. Но главное — знал ли я о Сошникове.

Более того. Похоже, он уже был в курсе несчастья, что случилось с Сошниковым, — и поначалу не исключал, что я к этому несчастью причастен.

Чудны дела Твои, Господи...

Что же все-таки с моим великовозрастным пленцом произошло, и где? Кто и как ему мозги отшиб?

Все придется делать самому. Никем больше рисковать я не вправе. Ах, Коля...

Платежки.

Я посмотрел на часы. Время до встречи у «Стерегущего» еще было.

Я зашел в бухгалтерию, изобразил все, что полагалось, выслушал очередную пару экспромтов в свой адрес, посмеялся — кажется, довольно естественно — и вернулся к себе. Снова встал у окна.

Любование первым снегом. Самурайские штучки.

Повторять путь Коли Гиниятова нельзя. Во-первых, это, как выяснилось, смертельно опасно...

Коля, Коля... Тоня...

...а во-вторых, наверняка не получится. Этот Венька, Вениамин Каюров, теперь наверняка затаился, исчез. Не доберешься до него. Конечно, если то, что произошло, связано с ним. Но удостовериться, так это или нет, можно, только выяснив, ЧТО ИМЕННО произошло. Покамест из простой осторожности следует исходить, что это с Венькой связано.

Стало быть, надо искать иной путь.

Чем мы располагаем, чтобы этот путь нащупать?

«Завтра вот с Венькой Коммунякой выпью».

Раз.

«Аванти ру-ру-ру... бандьера росса... бандьера росса...»

Два.

«А почему он поет так долго одно и то же?» — «Возможно, последнее внешнее впечатление так сказало. Последнее перед тем, как химия ему впаяла по мозгам. Что-то по-испански, что ли... Наверняка из какого-нибудь мексиканского сериала, их же, как собак нерезаных».

Три.

«Похоже, химия хитрая. Не клофелин. В обычной больнице такую вряд ли расколют».

Четыре.

Лже-Евтюхов из ФСБ или какой-то аналогичной конторы.

Пять.

Больше ничем мы не располагаем.

Мелодия вот только не сладкозвучная, не навеивает трепетной любовной неги. Скорее маршевая. Не тянет на сериал. Хотя эта продукция отшибает мозги не хуже химии, — все равно не тянет.

Выпьем с Венькой.

Последнее впечатление.

Окаянство, не хватает эрудиции. Не знаю я испанского, итальянского аналогично, португальского — тож.

Маме позвонить?

Маму впутывать туда, где трупы бывают? Ну, ты даешь, Антон Антоныч. Токарев ты после этого, как есть Токарев.

Росса... что-то знакомое все-таки. Мартини бяанко... мартини россо. Бандьера. Или бандьеро, на слух не понять. Красное что-то. Очередное заморское винище? Ну, в картах вин я совсем профан. И почему оно поется? Рекламный слоган? Где мог Сошников услышать

рекламу заморского породистого вина? Телевизор он практически не смотрит, это я знаю...

Скорее по наитию, нежели от великой логики, я потянулся к неподъемному тому «Весь Петербург» и раскинул его почти на середине. Хотя нет, вряд ли рестораны — кишка тонка, дорого; да и не любит Сошников великосветского выпендрежа, нет у него смокингов-фраков, ненавидит он напрягаться на предмет того, когда которую вилку как держать. Ему куда ближе что-нибудь простенькое: колбаска на газетке, газетка на пенечке, водочка из одноразового стаканчика... так душевней, так ритуалу внимания меньше, общению — больше. Скорее забегаловка какая-нибудь, из тех, что в народе зовут гадюшниками.

Для надежности я повел пальцем по строкам. Но далеко пальцу ехать не пришлось.

Как просто.

«Бандьера росса».

Кафе. Телефон для справок. Телефон дирекции.

Адрес.

6. Выпил рюмку, выпил две — оказалось двадцать две

На randevу к настоящему журналисту я едва не опоздал, потому что, решив уже, куда и зачем направляюсь после встречи с ним, к «Стерегающему» поехал не на машине, а, что называется, на метле. То бишь на метро.

Встреча эта практически ничего не дала. Помимо того, что уже было известно с утра, не появилось никакой принципиально новой информации. Один произошел плюс — кто-то из официальных следователей волей-неволей сообщил о происшедшем Тоне. Я почувствовал гаденькое облегчение. Ужасно — но факт. Из песни слова не выкинешь, а из исповеди — и по-давно.

Как держалась Тоня, — этого мой информатор не знал.

Я чувствовал: ему очень хочется спросить, что именно Коля делал для меня. Но вопросы у нас не приняты. Задание — оно задание и есть. Если бы участие журналиста понадобилось, — я бы предложил ему участвовать, а уж затем, при условии его согласия, ввел бы в курс дела. Нет — так и нет. Все-таки надежные у меня товарищи, благодарно и чуть виновато думал я, когда мы, в какие-то полчаса став похожими на снеговиков, обменялись прощальным рукопожатием и разошлись. Вполне по Сошникову — дружба, замешанная на единой цели. Самая сталь. Журналист не задал мне ни единого вопроса.

Ранние сумерки накодовали мир, где свет шел не сверху, а снизу. Из серо-сиреневой мглы над головами неторопливо и нескончаемо вываливался белый снег, и пушистое покрывало, укутавшее землю, ветви и стволы, парапеты и провода, было светлее пропавшего неба. Даже звуки города умиротворенно изменились, даже трамваи звенели глуше, и без насада, и словно бы издалека. Мне не хотелось обратно в духоту. По-детски загребая рыхлый, воздушный снег ногами, совсем медленно, я брел к «Горьковской» и пытался заставить себя еще раз продумать операцию, в которой — уникальный случай! — планировался лишь один исполнитель, я сам. Но уже не мог. Время прицеливания кончилось; в сущности, я выстрелил пару часов назад и летел теперь по инерции. Долго это продлится, или нет — знать мне было не дано. Попаду — упаду.

Веселый разговор.

Это было своеобразное кафе. При гардеробе сидел дородный пожилой охранник, сразу вперившийся в меня с подозрением; когда я стащил куртку, он неспешно, но значительно поднялся и сделал шаг ко мне:

— Я вас тут прежде не видал.

Я набычился.

— Что, русскому человеку на своей земле уже и выпить нельзя без бумажки от Сороса? — нагло и до-
нельзя идейно ответил я.

Это охранника парализовало. Но ответ мой, видимо, показался ему достойным, ибо, поразмыслив несколько мгновений, он столь же неспешно вернулся на место, а я отдал куртку в окошечко гардероба и уже безо всяких проблем получил взамен обыкновенный, чуть помятый номерок.

Войдя внутрь, я сразу узнал то скупое, но уютно освещенное помещение, которое уловил как последнее осмысленное впечатление Сошникова. Я был там, где был он. Я был там, где он перестал быть.

Прямо при входе с несколько мрачной торжественностью полыхало в свете специального светильника бордовое, с золотыми кистями переходящее красное знамя. Рядом, под стеклом — диплом лучшего предприятия пищевого обслуживания, выданный неразборчиво кем в мае позапрошлого года, в канун, как явствовало из красиво вытисненной шапки, дня рождения Ленина. Над дипломом гордо и празднично сиял золотыми буквами алый транспарант: «Мы придем к победе коммунистического труда!»

И так далее. Крепи мир трудом! Новой пятилетке — высокую эффективность труда! Жить и трудиться по-ленински, по-коммунистически! Высшая цель партии — благо народа! Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи! Дети — наше будущее! Сохраним природу для грядущих поколений!

Ни одной фразы без восклицательного знака.

Отстоим Отчизну в схватке с буржуазией! Деньги не для нас — мы не для денег! Достоинно встретим Столетие Краснопресненского восстания!

Просторные портреты вождей и генсеков отблескивали аскетично и авторитетно. Траурные ленты на углах. Под каждым — имя, годы жизни, перечень достижений и клятва: «Что ты не успел, — мы успеем!» Только

под двумя последними не было ни перечней, ни клятв. Потому что завершал печальную вереницу Ельцин, никогда, сколько я помнил, генсеком не бывший, но для полноты картины кооптированный в эту компанию. Под его портретом коротко чернело: «Предатель».

А под портретом его обаятельного и нелепого предшественника — еще короче и беспощадней: «Дурак».

Фотографии воинов-освободителей. От самых первых — в буденовках, марширующих пред очами Ильича с шашками наголо, но пешком, до обнимающихся десантников на узких улицах Кабула.

Танки, танки, танки... Но исключительно — засыпанные цветами.

Берлинскими, будапештскими, пражскими...

Фотографии космонавтов. В траурной ленте — Гагарин со своей великой улыбкой, которая, наверное, сама по себе способна была прекратить холодную войну уже в шестьдесят первом, если бы Никите не шарахнуло все ж таки по-быстренькому победить Америку; в траурной ленте — Комаров...

Ничего тут не было криминального или хотя бы шокирующего. По улицам до сих пор бродит немало людей, у которых в душах творится то же, что творилось здесь на стенах; обязательно должен был найтись некто, взявшийся бы организовать подходящие стены для таких душ. Рынок.

Интерьер впечатлял. Чувствовался прекрасный дизайнер — возможно, наш бывший пациент, мы работали двух питерских дизайнеров экстра-класса. Будь я лет хотя бы на десять постарше, от ностальгии у меня, наверное, затрепетало бы сердце, в зобу дыхание бы сперло; я едва застал Совдеп, да и то на полном его излете, — и все равно мгновенно сработали некие таинственные гены; уже с порога я ощутил себя невинным дитятей, которого великая и добрая страна с отеческой лаской поднимает в светлое завтра на кумачовых ладонях. Каково же, наверное, тем, у кого

с кумачами навеки связалась юность — удивительное, и такое короткое, и такое невозвратимое время всемогущества и вседозволенности, время прицеливания... А на прицельную планку им одна за другой садились сверкающие мушки: Братск! Луна! Дивногорск! Венера! Атомные ледоколы! Термояд! Догнать и перегнать Америку! Контакт с иными цивилизациями! Африка освобождается! В Большой Космос могут выйти лишь расы, построившие справедливое общество! Бомбе — нет!!! Ни единой без восклицательного знака...

И многим грезилось, как па Симагину, что уже не за горами СВОБОДА. Время, когда добрый интеллигентный Шурик вместе со своей кавказской пленницей получат невозбранную возможность читать запретных Гумилева, Волошина, и даже Солженицына, а при необходимости жаловаться на товарища Саахова в справедливый и бескорыстный обком, — но в целом все будет идти, как шло...

Поэтому нынче столь многие и ненавидят столь отчаянно то время и все, что с ним связано. Собственной доверчивости простить себе не могут. И это бы ладно — но они ее НИКОМУ теперь не прощают, борются неистово с доверчивостью и верой как таковой; это у нас завсегда — собственные непоправимые ошибки гордо поправлять, ставя на правож тех, кто ни сном, ни духом...

Знаменосный мужской голос — даже голос был весь какой-то тогдашний, даже мелодика, сейчас таких просто не бывает — пел приглушенно и ненавязчиво, так, чтобы не мешать разговаривать тем, кто пришел поговорить, но и не позволяя вовсе перестать слышать себя: «Будет людям счастье, Счастье на века — У Советской власти Сила велика...»

Я пошел к стойке.

Здесь, разумеется, было самообслуживание. Никаких официантов. Равенство.

Бармен, крепкий молодой парень в униформе и лихо сдвинутой набок пилотке — вроде бы он косил под бойца интербригад времен испанской эпопеи, но не поручусь, я не историк, — тоже воззрился на меня с несколько настороженным любопытством, но демаршей себе не позволил. Я уже здесь — и я прав, как полагается клиенту. Новенький, да. Но клиент.

Я неторопливо, как бы со знанием дела, раскрыл книжечку меню — тощую, зато со стилизованным изображением Спасской башни с сияющей звездой на шпигеле. Углубился. Ну, разумеется, ничего импортного. Ни в напитках, ни в названиях блюд.

«Сегодня мы не на параде, Мы к коммунизму на пути...» — втолковывала песня.

— Бутылку водки «Вышинский» и... суп, — раздумчиво сказал я по длительном размышлении. — Скажем... да. Вот этот, «Урал-река».

— Не маловато ли одного супа под целую бутылку, товарищ? — заботливо осведомился бармен.

— Я, может, потом еще что-нибудь соображу...

Бармен с компанейской улыбкой понимающе кивнул.

— Хлеба сколько?

— Три, — и для пущей убедительности я выставил три пальца.

— Понял. Водку немедленно?

— Разумеется.

Он опять кивнул, уже с сочувствием, и проворно нырнул в холодильник. Одним стремительным движением свернул бутылке башку.

— Неприятности?

— Есть немного, — рассеянно ответил я, озираясь в поисках свободного столика.

— Вон слева, — предупредительно подсказал бармен, — у Константина Устиновича свободно.

Он поставил бутылку и стопку на небольшой подносик. Пообещал:

— Когда первое поспеет, я вас позову.

— Благодарю,— я кивнул и, неся добычу, пошел под портрет Черненко.

Песня иссякла, пыльные завершающие аккорды медленно остыли, и сделалось тихо. Сделались слышны разговоры. В мягком сумраке соседей было плохо видно, но реплики раздавались вполне отчетливо; хотя никто не орал.

Вообще публика была весьма приличной, и не сказать, что одни старики. Никто не обсуждал сравнительных достоинств «Хонд» и «Судзуки», «Саабов» и «Вольво». Никто не бубнил, уткнувшись в стакан: «Он эту точку откупил, козел, и уже назавтра — наезд, а я, в натуре, обратно крайний...» Даже цен на бензин не обсуждали. Даже не пели хором, размахивая бутылками пива: «Я знаю — у красотки есть тормоз от яйца!..» Никто не хвастался с идиотской гордостью — фраза подлинная, я поймал ее каких-то две недели назад в студенческой компании, когда, в очередной раз мотаясь по городу, заскочил перекусить в кафе на Университетской, возле филфака: «У меня есть тетка одна, ее звать Глория. Так она любит, когда ее называют Гонорея...»

— Он у них умным работает. Только я его в конце концов перехитрил — послал подальше.

— Рашид, пойми одну вещь: упавший камень, конечно, может случайно раздавить, например, зайца, но все равно любой заяц умнее камня.

— Дорогой Юра, все так. Но того зайца, который попал под камень, эта истина уже не может интересовать...

И молодежь:

— А вот еще: песня о малочисленных народностях российского Севера. Ну? Кто знает? Нет? Нивхи печальные, снегом покрытые!

Общее ха-ха.

— И выпил-то он дэзил, а ни бэ, ни мэ — полный офлайн. Зазиповали в углу. Так мне оверсайзно с них

стало — тут же и мувнулся оттель, и ноги моей больше в этом ресайкле никогда...

— Гайдаки, Чубаки и папа Ельцырос. Три грека в Россию везут контрабанду!

— Да будет вам жевать прошлогоднее сено. Где они — а где до сих пор мы!

— А вот еще: и Божья благодать сошла на Чехию — она цвела под сенью натовских штыков, не опасаясь дураков!

Общее ха-ха.

— Дураки вы, дядьки, все вам хаханьки. А у меня там подружка школьная. Едва выпускные сдала в девяносто четвертом, так и выскочила туда замуж. Как все это грянуло, — сразу писать перестала. Я ей открытки, поздравления... целый год бомбардировала, наверное, — все как в прорву какую. Вот и гадай, отчего.

— Лапочка, я бы постарался тебе заменить твою подругу, но ты для меня слишком каратична...

Ха-ха.

Грянул марш — по природе своей какой-то немецкий, эсэсовский даже. Но текст был русскоязычный: «Товарищи в тюрьмах, В застенках холодных — Вы с нами, вы с нами, Хоть нет вас в колоннах...» Разговоры пропали, заслоненные отрывистой, строевой мелодией.

Я налил себе водки.

Ни на что определенное я не рассчитывал — просто хотел поиграть в поддавки и здесь. Разговор с лже-Евтюховым довольно очевидно показал, какая это полезная игра. Ловить невесть что на одного-единственного живца, находившегося в моем распоряжении, то есть на самого себя, — других методик поиска у меня нынче не было.

Ибо, в сущности, я даже понятия не имел, что именно ишу.

Чтобы быть хоть сколько-нибудь убедительным, надо пить всерьез и быть пьяным всерьез.... Никакое притворство не поможет, никакие предварительные

таблетки не помогут. Вернее, помогут — засыпаться. Те, для кого ты играешь, кем бы они ни были, — не идиоты.

По-настоящему помогут лишь ненависть к убийцам да желание победить. Даже на автопилоте, даже в полном угаре — тот перепьет, кто ненавидит сильнее.

Хотя покамест перепивать мне было некого, и ситуация походила скорее на бой с тенью.

Я, мысленно перекрестившись, плеснул в себя содержимое стопки. Ледяной огонь вальяжно покатило по пищеводу вниз, в желудке завис и там уже неторопливо взорвался. Давненько не брал я в руки шашек...

И сразу налил по второй. Угрюмо сторбился, глядя прямо перед собой и вертя стопку то по часовой стрелке, то против. Все должны были видеть, что я подавлен. Кто именно? Я не знал. Все.

Сразу пить не стал. Должно было пройти хотя бы минут пять-десять, чтобы первая доза оросила мозг.

Марш отмаршировал свое, и снова проявились разговоры.

— Коммунизм они провалили, так? Ну, пересели из обкомов в банки. Теперь провалили и капитализм. У них же опыт одного проваливания, а больше никакого. Драть три шкуры со всех, кто защититься не может, и пугать их — то лагерем да расстрелом, то банкротством да безработицей, смотря по строю. Чуть слово против — что, вам Советская власть не нравится, вы вредитель, шпион? В лагерь! Или: что, вам демократия не нравится, вы сталинист, красно-коричневый? На улицу! Только нынче они совсем уж опытные, и потому, чтоб застраховаться от идейной оппозиции, ухитрились обгадить идейность вообще. Нынче просто одни голые задницы из витрин — и лишь в том идея, стоит у тебя на все или на некоторые. Если только на некоторые — ты меньшевик, если на все — большевик.....

— Ну, пусть, я согласен, в семнадцатом верх взяло не большинство, а быдло. Большинство хотело совсем

другого. Быдло было в меньшинстве. Быдло, на самом деле, всегда в меньшинстве. Но ведь и теперь взяло верх оно, меньшинство, быдло! Большинство опять же хотело совсем не того! Теперь дальше. Само по себе быдло взять верх не может, кто-то должен его вести... и ему платить. Про большевиков нынешнее быдло не устает на всех углах кричать насчет германского золота. Но про нынешних... попробуй скажи хоть что-то об источниках их пыла и жара! Сразу: ах, это просто борьба компроматов, ах, нечего кивать на внешних врагов, ах, это у вас со сталинских времен привычка везде видеть происки. Ах, на самом деле мы сами виноваты, все зло — в нас самих, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Всем нам пора показаться! А быдло хихикает и ручки греет...

— Президенты, как и прочие одноклеточные, размножаются делением. Только делят они не свои драгоценные телеса, а страну...

— А вот песня членов коммерческого Совета РАО ЕЭС! Знаете? Нет? Ты комсомолец? Да! Давай не попадаться никогда!

— Перестройка начиналась с лозунга: надо сократить аппарат. Сколько, мол, непроизводительно занятого народу! Так, слушай меня, этот самый аппарат страну и развалил, чтоб не сокращаться. Теперь, куда ни плюнь, — президенты, думы, избиркомы, партии, таможни, пограничники... В десять раз больше тунеядцев, чем при Советской власти! И все, слушай меня, как сыр в масле катаются!

— Мы тут... мы тут никто. Но и те, кто с красными флагами шатается кругом Думы, да и в самой Думе, — либо шуты, либо нормальные выжиги... Не знаю. Никого не осталось.

— Ну, пусть Шеварднадзе висюльку эту нацепил. Так он открыто хвастал, что, когда министром был, нарочно Союз разваливал. Но Горбачев-то! Принимать, как ни в чем не бывало, фрицовский орден за сдачу

Европы, за развал страны, за то, что солдатиков в голые степи загнали! Если ты тоже нарочно разваливал, — так под суд тебя за измену Родине, и под расстрел со всей компанией, и весь сказ! Полицаев несчастных до самой старости по погребам шукали, бессрочно, а они большей-то частью детишек своих спасали от смерти, когда к фрицам шли... и сколько те полицаи предавали? ну пятерых, ну, десятерых... а эти-то все двести миллионов разом! Ну, а если не нарочно, если не понимал, чего творишь, — так поклонись народу честно и хоть крест этот сраный у фрицев не бери, на кой ляд он тебе, с голоду опух, что ли?!

Грянула величаявая мелодия.

Несчастные люди, с безнадежной и уже чуть хмельной тоской думал я. Как это парень сказал? Будет вам жевать прошлогоднее сено. Прошлогоднее сено... Слаб я в сельском хозяйстве, опять не хватает эрудиции — прошлогоднее сено съедобно или нет?

Ну, навесили всем сестрам по серьгам. Усе правильно, граждане, усе справедливо. Дальше-то что?

Стул под моим седалищем и стол под моими локтями осторожно и согласованно, будто на пробу, колыхнулись на один борт, потом, после короткой паузы — на другой, и романтично поплыли. Отлично. Процесс пошел.

«Люблю Украину, Кавказ и Поволжье...»

Ну и правильно, подумал я. И я люблю. Всегда именно так и чувствовал, хотя ни в пионерлагере, ни, скажем, на ударной комсомольской стройке не бывал никогда, по горну не вставал и слышу эту, извините за выражение, ораторию впервые в жизни. У каких подонков от таких слов могло возникать ощущение тюрьмы? Воли захотелось! Как это Сошников про волю писал? Предательство по отношению... Надо пере-
честь.

«И где бы ни жил я, И что бы ни делал, — Пред Родиной вечно в долгу...»

Ага. Вот этим, стало быть, они все отравили. Они, кто заказывал и визировал тексты таких вот песенок, — Родина, а мы, то есть народонаселение, электорат — хворост для обогрева Родины, планктон для пропитания Родины...

Вторая стопка отправилась за первой вдогон.

Но ведь именно это и происходит теперь сызнова! Только ленивый не твердит о подъеме великой России — то есть их, великих в России. А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО?

Ай да Сошников. Нет, надо перечесть. Сразу не взяло, — а вот так походишь, поразмыслишь, посмотришь под определенным углом...

И градусом.

— Товарищ, ваш суп! — без особого напряжения перекрыв торжественное течение музыки, крикнул мне бармен. Я встал. Стою. Значит, все еще впереди; вон в бутылке сколько. Для того, чтобы сделать нечто, нужно соблюдать три условия: во-первых, начать, во-вторых, продолжать, и, в-третьих, завершить. Впрочем, возможно, завершат без меня. Завершат — меня. Как это я советовал Коле? Не ешь там и не пей... А его ножиком в бок. А я вот теперь пью, и сейчас вот стану есть.

Я поблагодарил и расплатился, честно пояснив, что делаю это на всякий случай, вдруг потом завинчусь и забуду, — бармен отнесся к объяснению с добродушным пониманием. Оказалось весьма недорого. Все для блага человека! Несколько уже напрягаясь, чтобы не расплескать, не выронить и не споткнуться, я донес до столика поднос с замечательной тарелкой, по краю которой трижды было написано «Общепит», и тускло-серой, легкой и мягкой ложкой — живописно погнутой в самую меру, чтобы образ не стусhevался. Поставил. Сел. Суп оказался вкусным.

Ну, под вкусный суп с чапаевским наименованием «Урал-река» да не дослать еще полтинничек — это не по-русски.

Состояние легкого одинокого опьянения приятно тем, что возникает абсолютно достоверная иллюзия — собственно, то, что это была иллюзия, понимаешь только на утро... дескать, вот-вот ухвачу истину, запредельное понимание, которое кой уж год не дается, только брезжит, проклевывается, дразнит и манит; и вот наконец сейчас, еще через минуту, еще после граммочки...

Народ, перефразируя оперного Германа, давно сформулировал это так: она пуста, а тайны не узнал я.

Гнаться за истиной я не собирался, я знал цену подобным погоням. Но некоторое безделье и некоторое расслабление, состояния крайне редкие в жизни, грех было терять попусту. Минутная стрелка стала неважной, стальной стержень в душе прореагировал со средой и растворился, а покрытые антикоррозийкой пружины обессиленно провисли, раскачиваясь... Я с хмельной решимостью прыгнул в прошлое и принялся рвать себе душу сладкой болью воспоминаний.

В апреле девяносто девятого выдалось несколько поразительно теплых и тихих дней, летних в лучшем смысле этого слова — потом-то опять весь май оказался просвистан ледяными ветрами, а там, в районе именно вот дня рождения не то Ленина, не то Гитлера, уже листья молодые полезли, уже запорхали совсем живые июньские бабочки... То была изначальная наша с Кирой весна. Я ухаживал самозабвенно, ни себе, ни ей не давая ни малейшего продыху, — и вот позвал ее промотать денек и съездить насладиться уникальным теплом на природе. Мне еще памятли были наши вылазки на перешеек с мамой и па Симагиным, уж так мы весело чудили тогда...

Близ Комарово, за Щучьим озером затаилась на плоском холме, среди прямых, как всплески, сосен укромная райская полянка; без травы, без ягодника, лишь сплошная подушка мягкой хвои да заросли вереска по боковинам. И туда мы пошли, и, оказалось, можно уже загорать, настолько там сухо и солнечно, настолько ус-

пела прогреться земля — хотя в тени еще плавилась и млели влажно поблескивающие груды мелкозернистого твердого снега в гаревых разводах поверху. Отогретый лес просыпался, ползали деловитые жуки и гудели деловитые шмели, а мы то разлагались на теплой хвое, то принимались, как были, практически нагишом, играть в снежки — никогда такого не было у меня в жизни, ни до, ни после, чтобы в одночасье и загорать, и играть в снежки! Господи, как мы хохотали! До чего же нам было безмятежно и вместе. Это было ВМЕСТЕ. Именно там и тогда — нате, нате вам пикантную подробность наконец! — мы сделались мужем и женой...

Я прихлебнул.

А как Кира вывезла меня к теплому морю, в Крым! Тут уж без финансовой помощи ее родителей было не обойтись. «Сеятеля» тогда не существовало, он лишь созревал в моем мозгу, воспаленном от сострадания к убогим талантам. Но вояж того стоил. Я, бедный, но гордый, встал было в позу, но Кира меня нейтрализовала с неодолимой хитростью идеальной жены: Тоша, а если ты вдруг соблаговолишь мне в будущем сезоне Глеба сделать, мне же надо перед этим как следует набрать здоровья?

Попробуй возрази...

Мне и самому, признаться, хотелось хоть разок еще побывать там, где жарко и красиво, — но чтобы, вдобавок, при этом не стреляли и под ногами не путались мины. Памятуя мамины рассказы о ее детской поездке, я настоял, чтобы это был Судак, и только Судак. Кире было все равно, Судак так Судак, — в школьные годы родители ее по всему Южнобережью прокатали; вот между четвертым и пятым классами вывозили как раз в Судак, в санаторий. Батя Кирина и тут предлагал поселить нас прямо в некоем «Полете», построенном ни много ни мало для космонавтов, что ли; времена нынче свободные — плати, и ты уже космонавт... Но тут я уперся рогом: во-первых, пришлось бы денег

брать у него втрое, а во-вторых... глупо, я в этом и не признавался никому, взрослый мужик в таком не способен даже любящей жене признаться; но мне хотелось с наивозможной точностью повторить мамин маршрут — так, чтобы именно в Судаке, и именно на Спендиарова, и завтракать именно в той мороженице, про которую мама столько раз мечтательно рассказывала...

И мы не пожалели. По сравнению со временами маминого детства ситуация с курортным жильем изменилась кардинально — едва ли не с каждой двери и калитки кидались в глаза объявления насчет сдачи комнат и квартир под ключ, со всевозможными капиталистическими удобствами, от горячего душа до гаражей. Мы привередливо прошлись туда-сюда и — наугад, но вполне счастливо — сняли комнату в центре, но поодаль от шумной осевой улицы и ревуших чуть ли не до утра набережных кабаков и танц-плясов, в уютном, аккуратном пансиончике. Хозяйка, славная деловая Оксана с великолепным отчеством Теодозьевна — для меня оно звучало удивительно по-гриновски, по-зурбагански, что ли, — в визитных карточках с украинской скромностью именовала свое заведение «Private Hotel». Правда, мороженица нас не дождалась, несколько лет назад ее взорвали во время каких-то разборок; но улица, как таковая, была налицо.

Кира с вдохновенным энтузиазмом, объяснимым лишь наслаждением от долгожданного главенства в паре, работала моим гидом преданно и неумолимо. Все-то она тут уже знала и помнила, все-то, девчонка-сорванец, излазила — и подносила мне свое детство с навек впечатанными в него здешними красотами, как себя. О, лазурный простор, сверкающий и раскаленный! О, прохлада и нега одиссеевых вод, о, чувственная ласка прозрачных, как жидкое стекло, колыханий! О, живописнейшее место мира — Новый Свет; о, бухты Разбойничья, Царская и Веселовская, о, горы Сокол и Пер-

чем, о, Караул-Оба и Долина тавров! О, благоуханные длинношерстные сосны и реликтовые можжевельники! О, дегустации вин в Коктебеле и Архадерессе! О, голицынское шампанское!

Что говорить — немотствуют уста. Ни одной фразы без восклицательного знака — будто на лозунгах большевиков. Как безмятежно, как ВМЕСТЕ мы там жили! Точь-в-точь по Плотину — пусть хихикнут пошляки, мне плевать. Не было взаимосопротивления, а только — взаимопроникновение...

Я прихлебнул как следует.

Между прочим, от алкоголя я отказался именно из-за крымских возлияний, а вовсе не по каким-либо идейным или санитарным соображениям. После тамошних божественных напитков не возникало ни малейшего желания поганить рот и прочий организм нашей гадостью. Со времен той незабвенной поездки я пил, лишь когда этого однозначно требовала работа, — вот как нынче в «Бандьере», например.

Похоже было, что перебором посмертных слепков невозвратного счастья я уже вполне привел себя в мрачно-слезливое состояние, которое требовалось для дальнейшего прохождения службы. Я неловко положил ложку на край тарелки — ложка вывернулась и, брызнув остатками супа, упала на скатерть. Я подпер голову кулаком, а затем попытался налить в стопку еще — и налил, но не только в стопку, на скатерть тоже.

— Твари... — пробормотал я невнятно. — Мелкие, ничтожные твари...

Но тут тишина исчерпалась, и прошлое вновь зазвучало из динамиков. И зазвучало в самую точку. Все наконец разъяснилось окончательно.

Потому что «Бандьера росса» — это оказалась песня. Мне, однако, нужна была тишина.

Стало быть, можно понадрывать сердце еще немало...

А день, когда я забирал Киру с Глебом из родилки!

Словно полководецу перед генеральной баталией, накануне я долго запасал все, что считал мало-мальски необходимым. С опасливым и удивленным уважением ощущая себя беспрецедентно взрослым, пропутешествовал несколько раз от дома к «Аисту» и обратно, благо разделяла их лишь одна остановка метро. До сих пор, если судьба пронесит мимо, при виде углового входа в этот магазинчик для малышни сердце мне будто окутывают густым теплым маслом...

С каменным лицом, не подавая виду, что творится в душе, я ждал появления мадонны, а чуть поодаль мама, глядя на меня с восхищением, с обожанием даже, время от времени принималась смеяться восторженно и чуточку грустно: «Андрей, ты представляешь? Я — бабушка! Ну, я не могу поверить! Я — бабушка!» — и прижималась к па Симагину, и как-то виновато заглядывала ему в глаза. Потому что па Симагин, конечно, тоже мог теперь считать себя дедушкой — но все же не совсем, мама это понимала; но не радоваться не могла — и па обнимал ее, улыбаясь ласково. А Кирины родители прикатили-прибыди на очередном «Мерседесе», и батька ее устроил мне форменный допрос на предмет подготовленности к приему взрослого семейства, причем путался в самых очевидных вещах...

Я прихлебнул. Кажется, это уже пятая приканчивалась. Или шестая. Я опьянел.

Чувствуя, что песня идет на убыль, я опять горестно замотал головой, едва не падающей с кулака под щекой, и прихлебнул еще. Шевельнул онемевшими губами. А когда стало тихо, невнятно и зычно забубнил в пространство:

— Во-во... вот эту он теперь и поет, алкаш проклятый... всю жизнь ее теперь, тля, петь будет!! Менты в вытрезвителе ему, что ли, мозги вправили... — прихлебнул. — Да я же врач! Специализируюсь на них, на твор-

цах. Ох, какая мелкая все это тварь! Лечишь их, ле-
чишь. Втолковываешь, будто отец родной, какие они
хорошие, добрые, милые, талантливые, необходимые.....
А они потом так поддают на радостях, что им обратно
башку отшибает! И вся работа... вся работа... В задни-
цу...! — рывкнул я. На меня слегка обернулись из-за
соседних столиков, но тут же тактично оставили наеди-
не с настроением.

Я громко шмыгнул носом. Бармен в интербригадов-
ской пилотке присматривался пытливо. А потом сделал
едва заметный, но для меня вполне отчетливый знак
кому-то. Плохо, если вышибале. Шум, скандал и драка
не входили в комплекс первоочередных мероприятий.
Но я чувствовал: нет. Кто-то меня откуда-то слушал, и
слушал со все возрастающим интересом. Я не мог по-
нять, кто. Просто: из пространства прилетало ощущение
подставленного уха. Ухо росло.

— Или за кордон линияют — так лучше бы они тут
в дурке гнили, лучше бы сдохли в ней! Ох, ненавижу!
Этих — вообще ненавижу! Ехал бы, да и лечился! Нет,
дорого!... А потом, свеженький, с иголки — драп-
драп! За долларами.... Творец! Чего он там натворит?
Против меня же, против нас же всех и натворит!

Я смотрел в стол, одной рукой подпирая съехавшую
на ухо щеку, другой вертя и крутя стопку. Я бубнил.
Долго бубнил. Запели снова, и умолкли снова, но я уже
не прерывался на пустяки, а вовсю беседовал с самым
замечательным, самым понимающим собеседником на
свете — с самим собой. Разговор шел вовсю; я то умол-
кал, мотая головой и соглашаясь, то снова высказывал
свое мнение. Язык у меня заплетался, и в глотке клоко-
тали сухие слезы злой мужской обиды.

— Эгоисты. Тщеславные, самовлюбленные, на весь
свет обиженные, а на свою страну — больше всего.
Недодали им, понимаете! Все им всегда недодали! Они
только всем додали... Вожусь из года в год с ними. А
они — мелкая тварь. Ты их лечи! А они потом либо

кутить до одури, либо за бутор, они умные, только ты дурак...

Просеивание, господа, просеивание и процеживание! А дальше уже операция как операция — тщательно спланированный случайный контакт, провокация — гонись за мной, не то уйду; потом зацеп и раскрутка...

Впрочем, до зацепа еще далеко... А до раскрутки и подавно.

Выйти на врага надо. Но подсечь он должен тебя сам — уверенный, что это его инициатива. Что это ОН ловко пользуется счастливой случайностью, а ты — подвернувшийся лох.

Есть в Крыму такая порода деревьев — лох серебристый. Один растет прямо у могилы Волошина на горе над Коктебелем. Мы были там с Кирой, и, когда она обогатила меня этим знанием, я, помню, подумал, неуместно хихикнув: вот ведь подходящая кликуха для покойника и вообще для всех титанов культуры серебряных предоктябрьских лет.

А почему, собственно, только тех лет? Едва ли не все наши таланты... м-да.

Вот только кто не серебристые лохи — те почему-то миглом начинают учеными обезьянками приплясывать то перед Гипеу, то перед первым попавшимся кошельком поувесистей...

За спиной у меня возник и встал столбом появившийся, кажется, откуда-то из подсобки человек; я ощутил его появление, но не поднял головы и даже не прервался.

— Как дальше работать с ними, как? Ведь тошнит...

— Товарищ, у вас не занято?

Молодой. Симпатичный. Дюжий весьма и весьма. Не хотел бы я с ним схватиться.

Особенно в теперешнем состоянии.

Максимально неопратно, но словно бы с максимальным напряжением интеллекта и воли беря себя

в руки, я вытер ладонью подбородок и нетвердо поднял голову.

— Да... да, пожалуйста,— ответил я, стараясь говорить внятно. В руках у гостя был двухсотграммовый графинчик с коньяком, пустая рюмочка и тарелка с чем-то холодным мясным.— Пожалуйста.

Он сел. Капнул себе коньяку из графина.

— Мне очень неудобно,— сказал он,— вам мешать, вы явно хотели побыть один. Но некуда.

— Ах, оставьте, товарищ,— сказал я.— Оставьте! Пор-рядок.

Я выглядел, как человек, который от отчаяния распянулся на миг, уверенный, что никто его не видит и не слышит, но тут же принялся, путаясь в собственных пальцах, вновь застегиваться.

— У вас неприятности? — осторожно спросил парень.

— Хуже,— ответил я.— Хуж-же! Неблагодарность!

— Товарищ! — взмахнул рукой парень и проворно плеснул мне коньячку.— Да если из-за этого всякий раз переживать и мучиться! Давайте выпьем чуть-чуть. За то, чтобы они нас не доставали.

— Всегда давайте,— согласился я, и мы чокнулись. Коньячок пролетел амурчиком.

— Геннадий,— сказал парень слегка перехваченным голосом и протянул мне руку через стол.

— Антон,— икнув, ответил я. Мы обменялись рукопожатием. Да, весьма дюжий.

— Я вас прежде здесь не видел,— сказал он, принявшись разделявать свой ломоть.— Как вам это кафе?

Я обвел мерцающие в сумерках портреты и лозунги умильным взглядом.

— Как в детстве...

Парень улыбнулся.

— Случайно набрали?

— Не совсем. Пациент один... посоветовал,— я желчно скривился.— Сволочь. Сидит и поет: бандьер

росса! Ни бэ, ни мэ, а это вот — поет. Говорят, последнее впечатление перед тем, как надрался вусмерть. А потом менты ему по башке звезданули... В вытрезвоне. Поет теперь. Уче-оный! Гнида... Трус. Сиэтл ему подавай! Тут из последних сил... с ним... а ему — Сиэтл!

— Странный случай. И больше ничего?

— Нич-чего. Не узнает, не реагирует. С кем был, о чем говорил — ни гу-гу. Пьянь. Аванти, дескать, популо... Попандопуло... Ру-у, ру-у... бандьера... Мар-разм! Мы на него три недели угробили! — я, будто с удивлением, тронул кончиками пальцев свою опустевшую бутылку. — Вот блин, трезветь не хочется.

— А вы не трезвейте, — посоветовал Геннадий. — Время от времени человек должен разрешать себе расслабиться, иначе... В тридцать лет от инфарктов умирают.

— Умирают, — мотнул я головой. — От чего нынче только не умирают.

— Да, правда, — ответил он, с аппетитом жуя.

Я отпустил бутылку и сказал:

— Не... Хватит.

— Ну, вот, — покаянно проговорил парень. — Я, похоже, все-таки перебил вам настроение. Может, еще по одной? — торопливо предложил он, видя, что я неопределенно заворочался на стуле, пытаюсь на ощупь вспомнить, как с него встают. Он категорически не хотел, чтобы я уходил.

— Нет, — выговорил я. — Буду тормозить. Не казните, товарищ... Геннадий. Все в порядке. Все в порядке. Мне действительно... Только хуже будет. Знаете, какая злость берет на утонченных! — я от полноты чувств скребанул себя скрюченными пальцами по груди. Шерсть свитера захрустела. — Сам в Америку собрался, дерьмо... Вот ему Америка!

Я поднялся и стал падать, куролеса в воздухе руками. Парень переиграл и выдал себя. Он заботливо меня

поддержал, — но, ничего не опрокинув и даже не задев, с такой выверенной неторопливой плавностью вдруг оказался уже не за столом сидя, а стоя, и там, где надо, что за версту запахло профессионалом. Я поблагодарил и зигзагом двинулся к гардеробу. Я узнал все, что хотел, и сделал все, что хотел. Парень смотрел мне вслед, и бармен смотрел мне вслед. Уютный сумрак мягко и задушевно пел: «Жила бы страна родная — и нету других забот...»

Гонись за мной, не то уйду.

Не погонится сейчас — придет потом. Мне оставалось только ждать. Протрезветь и ждать.

Выжить и ждать.

Этот тактичный милый парень вчера в паре с кем-то, мне неизвестным, убил человека, вышедшего из этого самого кафе. Скорее всего, человек тот был — Коля Гиниятов.

А может быть, и... Неловко продевая размякшие руки в рукава куртки, я еще раз прислушался к своим ощущениям.

А может быть, и Венька.

Дискета Сошникова

В третьей четверти прошлого века Запад отчетливо столкнулся с угрозой утраты большинством населения смысла жизни. Опасность мельтешения вокруг сиюминутных микроавторитетов была наконец понята.

Никсон, публично: «Мы богаты товарами, но бедны духом!»

Понадобились идеалы покрупнее. Демократия, например. Тогда и начала широко культивироваться мессианская концепция Народа-Демократияносца, — ничем, по сути, не уступающая миллион раз осмеянному мессианству большевиков.

Потому и рвутся они — может, даже непроизвольно, может, подчас даже наперекор собственному рассудку — к мировому господству. Не могут они действовать иначе, нежели под давлением парадигмы «мы — самые сильные, самые умные, самые богатые», а она подразумевает одну-единственную масштабную государственную задачу: подчинение Ойкумены. Не приведи Бог, подчинят — тогда на протяжении одного, от силы двух поколений скиснут от наркотиков, потому что задача окажется выполненной, а ничего иного, менее материального и утилитарного, эти духовные преемники великих гангстеров и истребителей индейцев придумать наверняка окажутся не в состоянии.

Как служить демократии, если ты не юрист, не сенатор? Да самое верное — учить демократии грязных азиатов и прочих дремучих русских. То есть в первую голову тех, чьи социально-политические механизмы наилучшим образом способны функционировать лишь в иных, отличных от евроатлантических, ценностных координатах.

Но ни в коем случае по-настоящему так и не выучить. Потому что, не дай Бог, они и впрямь выучатся, создадут у себя стабильные режимы и постараются начать жить комфортно, как при демократиях положено. А тогда настоящим-то демократиям никаких ресурсов не хватит.

Значит, пусть сытые и благодушные обыватели, окрыленные любовью к людям, с искренним чувством глубокого удовлетворения пакуют посылки с гуманитарной помощью для жертв посттоталитарной неразберихи, пусть солдатики от души геройствуют, на крыльях крылатых ракет неся демократию, куда прикажут. Государственные мужи и дамы твердо знают, что задачей любых видов воздействия (от посылок до бомбежек)

на тех, кто не успел войти в так называемый «золотой миллиард», является разрушение у них всех сколько-нибудь сильных и самостоятельных властных структур и недопущение их возрождения — ни в традиционном виде, ни в модернизированно-демократическом — в преддверии близящегося Армагеддона. Ведь Армагеддон этот будет не финальной схваткой Добра и Зла, но всего лишь финальной схваткой за остатки природных ресурсов, за сырье для изготовления продуктов удовлетворения простеньких, но чрезвычайно обширных потребностей налогоплательщиков. И самое разумное, самое дешевое, самое бескровное — выиграть эту схватку еще до ее начала.

Ничего в такой политике нет зазорного. Государство обязано заботиться о своем народе, и уж по остаточному принципу, если эта второстепенная забота не входит в противоречие с первой, — может заботиться о народах остальных. Альтруизм может быть свойствен отдельным людям, но не государствам. Ведь альтруист в той или иной степени жертвует собой ради другого, и тут он в своем праве, если ему так нравится. Но государству-альтруисту пришлось бы жертвовать своим народом ради других народов.

Значит, тот или иной человек у власти жертвовал бы не собой ради других, но другими ради третьих — а вот чужими жизнями, вдобавок жизнями людей, которые тебе доверились и за которых ты в ответе, этап распоряжаться уже безнравственно. Да вдобавок и неразумно: жертвовать народом, который тебя кормит и которым ты правишь, — ради народа, которым правишь не ты и который кормит не тебя.

Кстати: опять-таки уникальность — единственная нация в мире, которая несколько раз совершала эту благородную с виду безнравственность и глупость: мы.

Заставь дурака Богу молиться — он лоб разобьет.

Вечный позор в мире сем, равно как и адские скоророды посмертно, тем вождям, которые еще во времена относительного могущества и благосостояния СССР все ресурсы величайшей и богатейшей страны кинули на производство всевозможных армад.

Получилось: душу любого среднего подростка или призывника можно стало купить за джинсы, любого майора, инженера или литератора — за дубленку для жены, любого генерала, министра или секретаря обкома — за комфортабельную дачу. При том, что ВНУТРИ СТРАНЫ не производилось, по сути, ни джинсов, ни дубленок, ни бытовой техники для домашнего комфорта!

С них, с тех вождей все началось, а не с перестройки и не с Беловежской пуши.

Ведь не от недостатка патриотизма простые советские люди, от души радовавшиеся за Гагарина и Кастро больше, чем за самих себя, начали бегать, скажем, за импортной обувью, — а оттого, что в отечественной было больно и уродливо ходить. И еще оттого, что начальство уже тогда принялось щеголять во всем импортном — им за вредность их работы это полагалось от государства.

В таких условиях только дурак не купил бы их на корню со всеми их лучшими в мире танками. Даже и покупать не надо, сами ответственные работники вздыхали: Европа, о-о! Америка, о-о! Ну, а простых смертных уже начальники, в свою очередь, приучили к подкупу, раскидывая заказы на заводах и в НИИ: на заработанные деньги цейлонский чай купить нельзя, но получить от партии как благодеяние, как подачку за верность — можно.

А теперь изумляемся, что процвела коррупция! Конечно, процвела! Бесчисленные танки, так и не принеся Отечеству ни безопасности, ни величия, пошли в переплавку (что требует новых усилий, но отнюдь не вдохновляет на новые трудовые подвиги), ботинок и

дублинок своих все равно так и не появилось — зато появилась демократия.

А они там, вдали, точно знают, что такое должна быть наша демократия!

Кучка бандитов провозгласила суверенитет и выпустила кишки тем, кто попытался их урезонить, — демократия. ОМОН подъехал и пульнул в ответ — тоталитаризм. Порнографию или секты пытаются ограничить — тоталитаризм, бомбами его... а если и не бомбами, так перестанем денег давать — для начальства это хуже бомб.

Противодействовать экономическому и культурному подавлению со стороны Запада при нынешнем мировом раскладе золотишка и харчей можно, лишь подавляя в той или иной степени собственные демократические институты.

Если правительство не поймет этого и не сделает этого сверху, с осторожностью и тактом, в равной степени для всех, — оно неизбежно вызовет к жизни патриотический и, уж как водится, наряду с ним — псевдопатриотический, экстремизм, который начнет ограничивать демократию уже по-своему, снизу, в соответствии со своими представлениями и выборочно.

Люди честные, ответственные, ориентированные на традиционные идеалы — по сути, опора страны, — вынуждены будут защищать ценности своей культуры НЕЛЕГАЛЬНО. С юридической точки зрения они начнут становиться преступниками, а затем и срастаться с настоящими преступниками, — потому что заниматься преступной деятельностью, не вступая в контакт и не переплетаясь с уже наличествующим преступным миром, невозможно.

Рабочие не отдадут свой завод не приметно купившим его по бросовой цене иностранцам — преступники, хулиганье. Инженер прячет дома уникальный прибор,

который по невесть кем и зачем заключенному договору он обязан демонтировать, — преступник, вор. И так далее. И при этом с постной миной: все по закону, никакого произвола. У нас правовое государство.

Государство это рискует таким образом выпихнуть в криминал свой последний оплот и последнюю надежду.

Впрочем, если страна и впрямь продана уже вся, именно так власти и будут поступать.

Камо-но Тёмэй: У кого могущество — тот и жаден; кто одинок, — того презирают; у кого богатство, — тот всего боится; кто беден, — у того столько горя; кто поддерживает других, — раб этих других; привяжешься к кому-нибудь, — сердце станет не твоим; будешь поступать, как все, — самому радости не будет; не будешь поступать, как все, — станешь похож на безумца.

7. Хмурое утро

Разумеется, поутру голова у меня, мягко говоря, не лезла ни в какие ворота. Ни в прямом смысле, ни в переносном. Помимо вполне объяснимого пульсирования травмированных мозговых сосудов я ощущал под черепом некий часто и неритмично бьющий колокол. По ком звонит колокол? Ох, не спрашивай: он звонит по тебе. Об тебя. Бум-бум-бум! Как показала экспертиза, череп был пробит изнутри.

Некоторое время я, не открывая глаз, только морщился и крутился, пытаюсь уложить башку поудобнее, пока не сообразил, что это просто капель за окном. Вот те раз, я в бессознанке до весны провалялся, что ли, подумал я, пытаюсь, будто заботливый комвзвода — солдатики перед атакой, приободрить себя шуткой перед тем, как сбросить ноги на пол. Славно кутнул... Я уже сообразил, что питерскую погоду опять развернуло на

сто восемьдесят, и мягко светящийся пушистый покров, столь элегически укутавший город вчера, истекает теперь горячими слезами от обиды и превращается в бурую грязь.

Первым делом две таблетки растворимого аспирина. Так. Не будем ждать, пока пузырьки совсем осядут, пусть внутри шипит — хуже не станет. Теперь — в душ. Обычные полчаса утреннего рукомашества и дрыгоножества мы нынче, увы, отменим по техническим причинам. Хорошее выражение все-таки: рукомашество и дрыгоножество, я его от па Симагина ухватил, а он откуда — не ведаю, вроде бы вычитал где-то... Пять минут кипятка, минута ледяного. Потом снова пять минут кипятка и снова минута ледяного. Голову отпустило, но слегка зажало сердце. Со всем хорошо. Как сказали бы вчерашние веселые вариаторы стихов и песен: давай, миокард, потихонечку трогай...

Вредная у нас работа.

А откуда, кстати, цитатная основа? Ожесточенно шкура и наждача себя грубым полотенцем, я рассеянно рылся на свалке памяти. Да, это с одной из маминых — вернее, еще бабушкиных — доисторических грампластинок, которые я так любил слушать в ранней молодости: давай, космонавт, потихонечку трогай. Как там дальше? И песню в пути не забудь.

Я, не особенно задумываясь, негромко замурлыкал себе под нос первое, что взбрело на ум, и, лишь заливая кипятком растергую с сахарным песком растворяшку, сообразил, что пою-то я ту самую «Бандьеру». Тьфу! Первый симптом, что ли? Опоили Янычара?

Безудержное цитирование — верный признак алкогольного отравления. Но специфика ситуации заключалась в том, что именно алкогольное отравление, в отличие от иных, я мог в то утро рассматривать как счастливый жребий. Раз в состоянии цитировать, стало быть, что-то помню. Стало быть, меня пока не того.

Словом, если у вас долго и сильно болит голова, — радуйтесь: вам ее еще не удалили. Если это, конечно, не фантомные боли.

Сегодня кончался столь лихо оплаченный мною срок пребывания Сошникова под присмотром жалкого и алчного Никодима. Помимо того, что мне надлежало непременно заехать в больницу, следовало подумать и над тем, куда везти Сошникова оттуда. Хотя, собственно, вариантов было один: к себе. Жена бывшая не возьмет ни за какие доллары. Прощупать иные медицинские заведения города я физически не успею, такие дела в одночасье не делаются. Наваливать, скажем, на Киру — исключено. Мама с па Симагиным не отказали бы, и действительно сделали бы все в лучшем виде, людей заботливее не видел свет, но — неловко.

Здесь у меня две комнаты. Постелю ему в бывшей бабушкиной. А там видно будет.

Долго я с ним, однако, не протяну. Некогда, мотаться-то мне предстоит изрядно. Если все пойдет нормально. А если со мной что-то... тьфу-тьфу-тьфу... Он же один в пустой квартире с голоду помрет.

М-да, придется думать.

Что у нас еще на сегодня? Нет, ничего. Ждем-с.

Когда придут-с.

В больницу было рано, и я присел к ноутбуку почи- тать Сошникова дальше.

Я читал и все больше поражался, насколько вовремя — до издевки вовремя — попала ко мне Сошниковская дискета. Еще до «Бандьеры» я воспринимал бы ее совсем иначе. Равнодушной. А теперь перед глазами у меня маячили во всей своей неприглядности, тошнотворности даже — и в то же время во всей своей плачевной трогательности — вчерашние кумачи.

Я, кажется, требовал от Сошникова предсказательной силы? Ее есть у него. Вот: люди, ориентированные на традиционные идеалы, будут защищать их нелегально.

С бодуна только и анализировать этикие проблемы. Пошибче пива оттягивает.

Между прочим, мы тоже нелегально защищаем вполне традиционные, еще докоммунистические идеалы: уважение к талантам, сострадание к убогим.

Это что же, стало быть, я, ни много ни мало, функционирую... как бишь... в рамках парадигмы православной цивилизации?

Ни фига себе пельмешечка.

Изумление сродни изумлению господина Журдена: это что же, я, оказывается, всю жизнь разговариваю прозой?

А я еще понять не мог толком: зачем, дескать, я во все это ввязался? Дескать, просто нравится мне, и все. А оно вон чего: парадигма.

Вот прекрасная была бы цель для государства: обеспечение невозбранных возможностей творчества для своих серебристых лохов. Для малахольных, как выражалась сошниковская бывшая, гениев. Содержание для них этаких домов призрения. Пусть бы они там вне хлопот о БЫТЕ И СБЫТЕ творили, что им в голову взбредет...

Впрочем, эти дома уже были, и назывались шарашки.

Не все так просто.

А станет ли Отчизна выпихивать нас в криминал?

Закона подходящего нет. Не приходило в голову творцам уголовных кодексов, что отыщутся этикие вот гуманисты. Впрочем, если возникнет желание... Коли обнаружат нас и захотят пресечь, — мигом найдут статью. Дело нехитрое и, не побоюсь этого слова, привычное. Блаженных упекать — не с мафией бороться.

Веселый разговор.

Поколебавшись, я решил двигаться в больницу на машине. Я уже достаточно прочухался, чтобы это не было слишком рискованным — не более, чем всегда; а ехать назад с Сошниковым в метро и троллейбусе мне

совершенно не улыбалось. Формально оставались еще леваки, акулы, как выражался Кирин отец, частного извоза, — но у меня было сильное подозрение, что, когда на руках у меня окажется столь живописный трудящийся, как Сошка, они от нас примутся, не замечая светофоров, зайцами порскасть.

Ехал я максимально осторожно. Чудовищные контейнеровозы и автобусы с остервенелым рыком, норовя всех расплющить и одним остаться, чадили дизелями и, будто дождевальные установки, развешивали в воздухе густые облака липкой взвеси, надежно залеплявшей стекла, — подчас я ощущал себя летящим в коллоидном тумане пилотом Бертоном из столь любимого па Симагиным «Соляриса»; а к слепым полетам я нынче на редкость не был склонен. Если Бертон накануне полета за Фехнером усидел бутылку водки да коньячком полирнул, ясно, какой такой разумный Океан ему мерещился... От дизелей я шарахался плавно и без ложной гордыни. Но зато, вспомнив читанные в юности детективы, малость поиграл в обнаружение хвоста.

Ничего я не обнаружил из ряда вон выходящего. Копчик как копчик.

А вот доктор Никодим меня поразил.

Я действительно нашел его на отделении. Больница была как больница — тесный душный лабиринт, пропахший нечистой кухней и несвежей пищей, и неприятные люди в мятых несоразмерных халатах. Процедура напротив туалета, столовая напротив кабинета рентгеноскопии...

— Ага, — деловито сказал Никодим, углядев, как я приближаюсь. — Я вас ждал. Идемте на лестницу, там курить можно. Я боялся с вами разминуться и не курил, а очень хочется.

Мы вышли на лестницу, где на площадке между этажами, прикрученная проволокой к перилам, косо висела застарелая, в корке и напластованиях пепла, жестянка из-под какого-то лонг-дринка. В распахнутую

перекошенную форточку садил сквозняк. Несколько раз нервно щелкнув своим «Крикетом» — то пламя сбивало тягой сырого ветра, то не попадал огнем в сигарету, — Никодим поспешно закурил. Пальцы у него дрожали, будто это он вчера бухал, а не я. На его худом, костистом лице с плохо пробритым подбородком изобразилось блаженство.

— Ну вот, теперь я человек, — сообщил он и с энтузиазмом шмыгнул носом. — Да и отвлекать здесь не будут. Значит, так. Ничего я не нашел. И так, и этак... Никак.

— Вот тебе раз, — после паузы ответил я.

— Это ничего не значит, — нетерпеливо проговорил Никодим. — Вернее, это значит только, что вся дрянь мгновенно вывелась. Это значит, что ваш друг и вы — а с вами за компанию, вероятно, и я — классно влипли.

— Не понимаю.

— Чего тут не понимать! — он возбужденно засмеялся. — Ни малейших следов — и это при том, что удар был нанесен. Что это значит? Это значит, что применено было какое-то спецсредство, созданное в каких-то темных закоулках со специальной целью отшибать честным людям остатки разумения, да еще так, чтобы никакие лишние гаврики вроде врачей потом ни до чего не докопались. Дескать, сам человек свихнулся, с него и спрос. Если б сейчас пришлось проводить какую-то официальную экспертизу для суда, для следствия, — мы бы облажались. Ничего нет! Сам допился до ручки, подумаешь, реакция нетривиальная. Индивидуальная непереносимость, мало ли нынче странных аллергий... И нет состава преступления. Понимаете? Так могут действовать лишь очень серьезные конторы. Я не буду ничего называть по буквам. Просто-таки ОЧЕНЬ серьезные. Для вас это новость?

— Да как сказать, — признался я. — Подозревал слегка.

— В таком случае большое вам спасибо за то, что вовремя поделились со мною своими подозрениями, — с издевательской вежливостью проговорил Никодим и сделал широкий жест сигаретой.

— Черт, — сказал я. — Мне и в голову не пришло, признаться. Не было никаких оснований...

— Ну, да блекотать уже поздно, — прервал меня Никодим. — Я, что называется, в доле. С вашим другом... коллегой, протеже — поступили по последнему слову гуманизма образца двадцать первого века. Убить не убили, не обагрили рук своих невинной кровью, а этак попросту удалили из головы все лишнее. Под себя он, слава Богу, не ходит, а, если возникает нужда, — начинает хныкать. Хватай его за руку тогда и веди в сортир. Там он более-менее справляется, смывать вот только разучился.

— Никодим Сергеевич... — прочувствованно начал я, но он опять сделал нетерпеливый взмах сигаретой.

— Вы, я так понимаю, определенное участие принимаете в его судьбе?

Я понял, что разговор начинается серьезный и честный. Никодим лучился какой-то веселой злостью. Я усмехнулся:

— Скорее — неопределенное. Я понятия не имел, что дело так обернется.

— Как и я, — Никодим тоже усмехнулся и кивнул. — Но вы ведь не врач. Вы... — он выжидательно умолк, но я не собирался ничего разяснять. — Вы, как я понимаю, тоже из какой-то конторы.

— Не совсем, — уклончиво сказал я. Я, честно скажу, растерялся.

— Он, видимо, был славным человеком и умницей, — задумчиво проговорил Никодим. — Это чувствуется. Даже по тому, извините, как он хнычет, это чувствуется. Вы прикончите тех, кто это с ним сделал? — просто спросил он.

Я только варешку развалил. Правда, совсем ненадолго; сразу сконцентрировался и поджал губы.

— Это было бы совершенно правильно,— пояснил Никодим свою нехитрую, но несколько неожиданную для меня мысль.

Я молчал. Никодим тоже помолчал, потом выжидательно шмыгнул носом, потом помолчал еще.

— Ну, понял,— проговорил он наконец.— По обстановке, видимо. Тогда вот что. Я его понаблюдаю здесь несколько дней. Или дольше. Я почему-то надеюсь, что он постепенно начнет восстанавливаться, хотя бы минимально. Речь, контактность... С начальством я договорился. Сослался на тяжелую черепно-мозговую травму, на вас, пардон,— что он не бомж анонимный, а уважаемый доктор наук, с которым беда приключилась. На ментов — как они его бескорыстно спасли, а мы, дескать, хуже, что ли... В общем, это теперь не ваша забота. Ваша, как сказали бы друзья-чечены, забота... вы были в Чечне?

— Был,— негромко ответил я.

— Я почему-то еще позавчера догадался. Хотя, простите, сначала решил, что вы оба нарки и один другого хочет мне сбросить после случайной передозировки. Я тоже был. В девяносто девятом и далее до упора. Вы, наверное, на тот свет отправляли? А я с того света потом обратно сюда вытаскивал. Так вот, друзья-чечены сказали бы: ваша забота — наточить свой кинжал и выползти на тот берег,— он коротко и иронично улыбнулся; мелькнули неровные, желтые от никотина зубы.— Кроме шуток, попался как-то раз такой, Лермонтова цитировать — обож-жал.

Я все не мог придти в себя. Вот те, бабушка, и дар слышать насквозь. Придя, я почувствовал, конечно, что Никодим взвинчен до последней крайности и упоен собственной порядочностью, но с какой такой радости — это было, как гром с неба. Ясного.

— И вот еще что,— Никодим, будто вспомнив о чем-то неприятном, но важном, задрал полу халата и суетливо полез в карман брюк. Потом протянул мне ладонь. На ладони лежали доллары.

— Здесь сорок два,— сказал он.— Остальное улетело. Возьмите.

Я заглянул ему в глаза. В них были только бесшабашная решимость — и неотчетливое, возможно, даже неосознаваемое, но явно НЕПРЕОБОРИМОЕ желание сделать мир лучше.

— Простите меня,— повторил он,— что я позавчера так с вами прокололся.

— И вы меня,— ответил я.— За то же самое.

Он удивленно моргнул.

И я взял деньги. И мы договорились, что я заеду сюда через три дня на четвертый, если у меня ничего не случится. Бывшей жене, возникни у нее вдруг желание как-то проявиться — она покамест так и не проявилась,— Никодим пообещал ничего не говорить. На всякий случай мы обменялись телефонами.

Больше в тот день ничего не случилось. Но все равно — из-за Никодима это уже оказался хороший день.

8. Телефон и другие

Вернувшись домой, я первым делом наварнул супу. Спозаранку я есть не мог, только кофе кое-как продавил — а вот оголодал, проехавшись. Суп, конечно, был не «Урал-река», а обычный пакетный, холостяцкий. Но мне и это оказалось сладко.

Потом я решил отзвонить сошниковской бывшей супруге и коротенько ее успокоить. И дать телефон справочной, чтобы уж больше сей мадаме не надоедать, мягко говоря, по пустякам и не мараться; я чувствовал себя полным идиотом и в каком-то смысле даже предателем Сошникова, когда для чистой проформы вынужден был хоть в двух словах рассказывать о его беспомощном положении людям, коих оно нисколько не волновало и не интересовало.

Однако разговор пошел иначе. Подошла дочь.

— Хак-хак.

— Воистину хак-хак. Плата экзэ.

— Доступ закрыт. Пользуется другой юзер.

Я сначала подумал: чего обычной — мужик к бабе пришел. Но у дочки голос был не тот. Мрачноватый.

— Заверши задачу, — на пробу предложил я.

Девчонка помолчала, подбирая слова, а затем вполголоса, как партизанка Зоя, сообщила:

— К нам запущен антивирус.

Я торопливо и не очень грамотно перебрал несколько возможных вариантов перевода этого откровения на общерусскую мову. Потом меня как ударило:

— В погонах?

— Виртуально.

Угадал. Вот сюрпризы катят...

— На что поиск?

Она опять некоторое время молча подышала в трубку. Видать, и у нее подчас возникали сложности с синхронным переводом себя.

— Кто с платы снимал информацию об муве проце-ра в компьютеркантри.

— И кто?

Девчонка хихикнула.

— Скрин в пальто! Ей оверсайзно было, что он мувнется, куда все рвутся, потому запаролилась в три слоя. Это я.

— И что теперь плата?

Говорить о человеческих переживаниях на хак-хакском диалекте было невозможно, и девочке постепенно пришлось с этим фактом смириться. Хак-хаки между собой, сколько я знал, столь низменных тем вообще не касаются. Но со взрослыми приходилось иногда.

— У платы глаза, как плошки. Я же, говорит, вам сама... и стоп, дальше молчок. И теперь сидит в перепуге, не знаю, с чего. А тот — дыр-дыр-дыр, работает. Будто, знаешь, пытается читать диск, который не вставлен.

— С тебя еще не считывал?

— Не-а.

— Скажешь ему?

— А чего не сказать?

— А мне?

— А и тебе. Парикмахерше своей скачала.

Парикмахерш даже для самых совершенных своих машинок Гейтс пока не придумал. Приходилось называть по старинке. Я секундочку еще подумал.

— Сравни версии,— предложил я потом и набросал портрет лже-Евтюхова. Сопя в трубку, девчонка слушала до конца, потом солидно помолчала, осмысляя, и ответила:

— Версии идентичны.

— Хак-хак,— сказал я с благодарностью.

— Хак-хак,— задорно ответила она и повесила трубку, даже не спросив, с кем, собственно, говорила. Свой, это ясно — ну и, стало быть, все в порядке, и хак-хак в натуре.

Чудны дела твои, Господи...

Но я слишком умотался, чтобы всерьез анализировать новую ошеломляющую информацию. Успеху, лицемерно утешил я себя, и подремал четверть часа на любимом своем еще с детских лет диване — девяносто процентов всех книжек в жизни было прочитано на нем. Потом, очнувшись и ощутив настоятельную необходимость в стимуляции, снова принял душ. Вчерашнее безмятежное и безудержное веселье еще давало о себе знать — отвратительной квелостью.

Горячая вода расширяет сосуды и тем подстегивает работу мозга. Сколько раз замечал. Именно под душем мне пришла в голову довольно очевидная мысль относительно того, как играть дальше. Поддавки поддавками, но надо же сориентироваться и насчет того, чем играем — шахматами, шашками, картами, домино... костями. Пока похоже, что костями. Свеженькими.

Коля...

Тоня.

Нет, завтра. Деньги будут завтра, — вот завтра и позвоню.

Смогу ли я завтра позвонить?

Жив буду — смогу. А нет, так и ладно. Тогда уж с меня взятки станут весьма гладки.

Жаль, что светлая мысль не посетила меня чуть раньше, в машине, например. Теперь, наверное, придется опять идти из дому вон, а я, честно сказать, уже пригрелся на диванчике под торшерчиком...

Прежде всего я позвонил на работу.

— Как обстановка?

— Нормальная, Антон Антонович, — бодро ответствовала Катечка. — Новых не было. Первую психогруппу Борис Иосифович уже отпустил, все нормально прошло, сейчас обедаем. Вторая — по плану.

— Молодцы. А я сегодня не приду.

— Вовремя сообщили, Антон Антонович, — почти до предела выбрав дозволенный мною в моем заведении ресурс демократичности, иронически сказала Катечка. — А то мы до сих пор не догадались!

— Важные дела возникли.

— Ну, разумеется! Как же иначе!

— Иронизируешь, дитя природы? Вот тебе за это пеня. Пообедаешь когда... Да пообедай не торопясь, со вкусом, прожевывая пищу тщательно и переваривая с любовью...

— Будет вам, Антон Антонович! Я вас слушаю!

— У меня идея. А у тебя — лишняя работа, довольно нудная и хлопотная.

— Поняла, — без энтузиазма ответила она.

— Хочу завести статистику на наших бывших пациентов. Это, как ты понимаешь, чтобы лучше себе представлять эффективность лечения.

— У, ё! — старательно произнесла Катечка. Она была славная девушка и никогда не матюгалась, во всяком случае — в присутствии сотрудников-мужчин; но

тут была явная нарочитость. Таким образом она дала мне прочувствовать свое отношение к моей идее. И тем самым выбрала ресурс демократичности окончательно и на двое суток вперед.

— Смир-рна! — негромко сказал я.

— Яволь. Роняю ложку и встаю, — угрюмо откликнулась она. И через мгновение: — Встала.

Врала, конечно. Но условности были соблюдены.

— Вольно, — разрешил я. — Продолжать питание. Так вот. Мне нужны самые общие сведения: здоров ли, работает ли по специальности и, если удастся выяснить, успешно ли. Если не работает, то остался ли в городе или съехал куда. Тут важны не подробности, а широта охвата. Статистика, сама понимаешь. Так что покончишь с питанием — и садись на телефон. Надеюсь, архив ты не потеряла?

— Нет! — возмущенно фыркнула Катечка. — Натюрлихь, нет!

— Значит, координаты всех бывших пациентов у тебя под рукой. Так что тебе и трубка в руки. Полученные данные, золотая моя, по мере поступления протоколируй, но домой мне не перебрасывай. Сегодня, когда закончишь, скинь все, что успела, на дискетку, а из машины удали. Хакер не дремлет. Завтра приду с утра и посмотрю. Вопросы есть?

— Вопросов нет... товарищ Сухов.

— Вот и славно. Творческих успехов, Катечка.

— Антон Антонович, вы млекопитающий? — не утерпела она. И пока я думал, что ответить на этот неожиданный вопрос, ехидно сказала: — В таком случае, приятного млекопитания.

И повесила трубку.

Это какая-то цитата, как и Сухов, сообразил я. Только Сухова я понял, а млекопитание — нет. Я принялся набирать новый номер, краем сознания вспоминая выдернутый из памяти упоминанием Сухова мамин рассказ о том, как кто-то из ее факультетской демокрухи

во времена перестроечных самоуничижений интеллигентно горячился: пройдет еще год-два, и вы поймете, что этот фильм порядочному человеку просто нельзя смотреть! Вы поймете, что этот Сухов ваш — бандит, профессиональный убийца, у него руки по локоть в крови! Не такие ли вот порядочные, подумал я вдруг, считанные годы спустя ляпали на Басаевские деньги кинище, немедленно получившее — в отличие, кстати, от «Белого солнца» — уйму отечественных и зарубежных премий... как его бишь... будто наш солдатик, волею судеб принявший ислам, возвращается в родное село, и там его терроризируют дрынами страшные и тупые, вечно пьяные русские за то, что он не потребляет алкоголя и, в отличие от них, как и всякий, понимаешь ли, нормальный мусульманин, не корыстолюбив совсем и за долларами не гоняется...

Ох, понимаю Вербицкого, не к ночи он будь помянут. Как это он лихо формулировал: коллективное стремление к духовному самоубийству...

Интересно, позвонил он маме, или слабо?

Как жизни людям калечить — так мужества выше крыши, а как исправлять — ой, живот схватило.

— Привет,— сказал я. Чуть не сказал хак-хак.

— Привет,— сказал настоящий журналист.

— Есть подвижки?

— Ни малейших. Все говорит за то, что он случайно напоролся на каких-то обкуренных. Ни мотива, ни свидетелей, ничего. Но ты же понимаешь — на это вообще практически все убийства, кроме самых громких, можно списать с легким сердцем. Менты пока не хотят сдаваться. Но дело осложняется тем, что никто, даже Тоня, не знает, как он оказался в то время в той части города. Зачем его на юг понесло? — он запнулся, потом сказал: — Один ты, наверное, знаешь. Но молчишь.

В его голосе был явственный упрек.

— Я уж думал об этом,— честно ответил я.— Но не знаю, как можно было бы информацию перекинуть

ментам и при этом остаться в тени. А потом, я уверен, что это им не поможет. Я бы тебе рассказал, а ты, может, как-то попробовал бы пустить дальше. Но не хочу по телефону.

— Ничего себе ты ввязался в дела,— сказал журналист.

— Да,— согласился я.

— Я могу чем-то помочь? — подышав и поразмыслив, спросил он.

— Да,— ответил я.— Нам надо встретиться, и как можно скорее. Куда скажешь, туда и подъеду. Я сейчас бездельничаю.

Мы встретились минут через сорок. Раньше не получилось — начинался час пик, и было не протолкнуться. Бедная моя «Ладушка»; когда я ее покинул, напоминала жертву селевого потока. Не то что днище — и крыша, и даже, по-моему, антенны жалобно истекали бурой дрянью.

Мы взяли по мороженому и медленно пошли вдоль Фонтанки. Впереди посередь мутных небес угадывалась над крышами скругленная тень — купол Троицкого собора.

— Вид у тебя несвежий,— пытливо взглянув мне в лицо, сказал журналист.

— Вечор согласно легенды, утвержденной ГРУ, необходимо кушал водку.

Он немного принужденно засмеялся.

— Какие теперь легенды славные! Надеюсь, расходы оплатят?

— Фига с два, за свои. Так вот. Коля должен был вступить в контакт с неким Вениамином Каюровым, соседом одного нашего пациента, попавшего в странную беду. Незадолго перед несчастьем пациент сказал, что собирается с этим Каюровым дружески посидеть. А наутро его нашли на улице в устойчиво невменяемом состоянии, без памяти и речи.

Журналист присвистнул.

— Более того. У меня есть непроверенная информация, что сразу после этого и сам Каюров приказал долго жить.

— Змеюшник какой-то зацепили... — пробормотал журналист.

— Похоже на то.

— Знаешь... Мне почему-то всегда казалось, что раньше или позже это должно случиться. Нелегальщина к нелегальщине тянется, подполье в России большое, но узкое. С кем-нибудь да стукнешься локтями.

А я вспомнил Сошникова опять: заниматься преступной деятельностью, не переплетаясь с уже наличествующим преступным миром, невозможно... Я его скоро чаще родителей вспоминать начну и цитировать, как китайцы — Мао, подумал я и, конечно, разозлился на себя. Слава Богу, это пока не про нас. Скорее уж про «Бандьеру».

— Ссылаться на тебя и твои слова, если вдруг затеется журналистское расследование, мне, конечно, нельзя, — почти без вопросительной интонации сказал он.

— Упаси тебя Бог, — ответил я. — Вообще не суйся в это дело. А вот если изыщешь способ сориентировать ментов на Каюрова, — будет славно. Правда, вряд ли они его найдут, но хоть дело сдвинется.

— Помозгую, — ответил журналист, задумчиво глядя на черную воду. Помолчал. — А тебя, значит, не упаси Бог. Ты, значит, сунулся.

— Так получилось, — ответил я. — Сам не рад.

— Рад, не рад... Не в этом дело, — голос у него был почти равнодушный. — Если тебя завтра где-нибудь найдут в столь же прохладном состоянии, мне-то что делать?

— Да перестань, — с досадой ответил я.

— Мне перестать несложно, — в голосе появились нотки раздражения. — Но перед дуэлью ты, как порядочный человек, обязан, пользуясь выражением предков,

привести в порядок свои дела. В частности, оставить мне хоть какие-то инструкции.

— Какой ты деловой,— сказал я.

— Дурак ты, Антон,— ответил он.— Я же переживаю.

— А ты не переживай,— посоветовал я.

Он снова помолчал.

— Слушай,— проговорил он уже совершенно иным тоном.— Я тебя знаю. Только ради того, чтобы осчастливить меня этой актуальнейшей, но для меня практически бесполезной информацией, ты бы задницу от дивана не оторвал. Что от меня требуется?

— Действительно, мне кое-что нужно — но так, ерунда, тебе это раз плюнуть,— льстиво залопотал я. Он только покосился на меня. Взгляд был полон дружеской иронии.

— Ну, похоже, придется мне, по меньшей мере, начинать газетную кампанию за эксгумацию Андропова,— сказал он.— И желательно, к утру чтобы было готово. Угадал?

— Нет. Мне нужны слухи и сведения о несчастных случаях, странных заболеваниях, исчезновениях и прочем подобном среди творческой братии города. Пока, во всяком случае, только города. Года за два последних. И отдельно разложить вот по какому параметру: кто из таких вот пострадавших собирался отчаливать за бугор, на время или навсегда — все равно. А кто — нет.

Журналист, словно бы и не услышав меня, продолжал некоторое время смотреть на гладкую и черную, будто нефть, воду Фонтанки, медленно и тяжело прущую к заливу. Потом опять присвистнул.

— Вот даже как,— сказал он.

— Похоже, так,— ответил я.— И ты совершенно точно предугадал,— к утру чтоб было готово. На комп мне данные не сбрасывай. Распечатку передашь из рук в руки — договоримся, где пересечься, завтра в первой половине дня.

— Черт знает что,— пробормотал он.— Слушай, Антон, пошли пива выпьем. Для конспирации хотя бы. А,— вспомнил он,— тебе же сегодня... — мазнул меня вызывающим взглядом.— А может, тебе как раз сегодня...

— Нет,— я улыбнулся.— Я же на колесах. Запой отложим.

— Знаешь ты, что такое запой... — пренебрежительно сказал он.

Ни страха, ни вообще какой-либо слабину даже не мигнуло в нем, когда я все это рассказывал,— только ненависть к подонкам и желание победить. Я чувствовал гордость за него. Сам я не мог похвастаться такой решимостью. Запах недавнего убийства, которым веяло от моего вчерашнего собеседника... Опасности тогда я не чувствовал, на меня у них смертяжкиных видов покамest не было — это факт. Но сам этот запах...

Что же все-таки происходит?

Нет, мало данных. Не смей думать. Схему какую-нибудь дурацкую измыслию, потом ломай ее. Ждать надо. Хотя бы еще сутки.

Уже смеркалось, когда я вернулся в свою нору и разложился наконец на диване, от всей души надеясь, что в третий раз вылезать наружу мне нынче больше не придется. Устал я. И психически, и физически. Хотелось чего-то спокойного, большого и чистого. И стройного. И лучше в неглиже.

Господи, Кира, как ты мне нужна. Да, в суете и замоте я об этом часто забываю; но, если накатывают тоска и беспомощность, и в общем-то где-то даже — страх... если провисаешь в пустоте, если в жутких потемках пытаешься нащупать хоть что-то определенное...

Понятно было, что не дадут мне там ни спокойного, ни тем более чистого в неглиже, причем я же сам и виноват в этом,— но я все-таки позвонил Кире. Хоть голос услышать. Может, Глебчик подойдет, перекинемся парой фраз.

Никто не взял трубку.

Сумерки размеренно откачивали из комнаты свет, а я лежал, заложив за голову руки, и тупо глядел в потолок. Почитать что-нибудь от мозгов? Музыка послушать? Баха, например, или Генделя. Кого-нибудь из тех времен, когда не знали ни героина, ни, скажем, лоботомии, а вместо шарашек были блистательные дворы просвещенных монархов.

Кто бы нынче взялся печатать, например, Вольтера — разумеется, при условии, что это не переиздание уж двести лет всем известного бабника, а неопробованный свежак, новье? Убыточная же литература!

А он в ответ сотовик свой цап! — и прямо к Фридриху Великому. Але, Фриц, тут одни козлы требуют под «Кандида» полную предоплату! Сделаешь? Блин, отвечает из Сан-Суси Фридрих, нет вопросов, Франсуа Мари Аруэ! Я им, в натуре, такую на двух пальцах предоплату сделаю — будут не жить, а тлеть!

Так началась Шестилетняя война...

Или — Семилетняя?

Чего-то я вдруг засомневался. Не хватает эрудиции — даже для того, чтоб грамотно пошутить. Мамино, скажем, поколение в этом смысле нашему сто очков даст вперед, свалка памяти у них забита не в пример обильнее. Иногда — завидно.

В комнате вконец смерклось.

Это сколько же развелось черных кошек в нашей комнате! Уму непостижимо. Куда ни встань, наступишь на какой-нибудь хвост. И сразу — невесть чей истощенный мяв, и когти из мрака...

Наверное, я снова чуток придремнул, потому что курлыкание телефона прозвучало, как набат; меня буквально подкинуло над диваном. И такая тоска меня, видно, взяла по жене, так мне хотелось, чтобы это был от нее звонок, что, когда в трубке раздался мужской голос, я спросонок поначалу подумал, будто кто-то ошибся номером.

— Антон Антонович? — заговорщически произнесли там.

— Да,— буркнул я, торопливо пытаюсь сконцентрироваться.

Как выражаются, по слухам, вьетнамцы — сконцентрируем идеологию.

— Это Никодим Сергеевич, доктор.

Сконцентрировал. Аж в брюхе похолодело. На всякий случай, будто ожидая, что вот сейчас придется немедленно куда-то бежать, я даже спустил ноги с дивана и отчаянно завозил ими по полу, нащупывая тапки.

— Слушаю, доктор. Что-то случилось с нашим пациентом?

— Нет, с пациентом как раз все по-прежнему. А вот у вас появился,— он иронически шмыгнул носом,— конкурент.

— То есть как?

— Приходил один господин и очень интересовался.

— Чем?

— Всем. Что случилось, да каковы предположения, да покажите результаты анализов... Представился, между прочим, адвокатом, которого нашла супруга для горячо любимого бывшего мужа, невинно пострадавшего от милицейского произвола.

— Врет.

— Я так и понял, что врет. Поэтому сразу насторожился.

— Что вы сказали?

— Что все анализы, проведенные на предмет обнаружения следов наркотического воздействия, дали отрицательные результаты. Что нельзя с достоверностью утверждать, кто нанес какие травмы,— то ли менты, то ли он еще до вытрезвона в какую-то драку на улице ввязался, так что судиться, увы, не получится. Что серьезных повреждений на башке не выявлено, но, с другой стороны, ничем, кроме как травмой черепа, нынешнее состояние потерпевшего медицина объяснить не может.

— Никодим Сергеевич, а я бы с вами пошел в разведку.

— Спасибо, не надо. Мой героизм имеет строго очерченные границы. Они совпадают со стенами медицинских учреждений, пусть даже прифронтовых.

— Понял. Что он?

— Подчистую забрал бумажки с анализами.

— А разве это можно?

— Оставил расписку, все чин-чинарем. Адвокат же. Ха-ха. Сказал, что для разговора с супругой ему нужны документы на руках. Еще очень интересовался, кто навещает больного. Я сказал, что вы.

— Теперь я вам очень признателен. Мой героизм, знаете ли...

— Я сказал, что посещал больного директор заведения, в котором больной проходил курс психотерапии. Интерес естественный, поскольку нынешнее странное состояние потерпевшего может быть связано с тем его расстройством, с которым он обращался к вам. Или, по крайней мере, усугублено им.

— Тогда ладно, беру свои слова назад. Как он выглядел, адвокат этот? Вот послушайте...

И я принялся набрасывать подробный портрет лже-Евтюхова. Некоторое время Никодим внимательно слушал, потом вздохнул с таким разочарованием, что в мембране оглушающе зашелестело.

— Ничего похожего. Довольно молодой парень, челюсть, скулы, плечи... Интеллигентная бородка, искусствоведческая такая. Глаза синие.

М-да. И на Геннадия из «Бандьерь» тоже не похож.

— Ладно, мимо... Что-нибудь еще?

— Да. Он аккуратненько так намекнул, что неплохо бы потерпевшего перевести в больницу получше. Что он даже взял бы это на себя. Я отказал категорически: нетранспортабелен, и шабаш.

— Сильно. А ведь, судя по тому, что я у вас, Никодим Сергеевич, видел, к вам хоть пять, хоть десять че-

ловец с автоматами явятся и начнут зачистку палат, — никто не заметит.

— Не совсем так. Беззащитных членов семей, которые в неурочное время прорываются родственников навестить, мы гоняем довольно успешно. Особенно когда они без сменной обуви... Вот если террористы со своими тапками придут — тогда все, хана.

Мы с удовольствием посмеялись, потом Никодим спросил:

— Нет, Антон Антонович, вы это серьезно — насчет автоматов? У меня же тут, помимо Сошникова, сорок три человека больных на отделении. И персонал. Если начнется пальба...

— Не думаю, что в нашем случае автоматы актуальны, Никодим Сергеевич. Тут дело, похоже, тонкое. Лобзиком будут пилить.

— Знающие люди говорят, это еще приятнее...

Вот так мы балагурили, чтобы нехорошие мурашки перестали бегать по коже. Удалось. Постепенно острота ощущений снизилась до степени этак предэкзаменационного мандража — когда два, в общем-то, вполне подготовленных студента, то ли считая мандраж хорошим тоном, то ли чтобы излишней уверенностью своей не гневить и не искушать богов, весело трясутся у входа в аудиторию и зубоскалят напрапалую.

Тогда только попрощались.

Получается, отстаю я, причем даже не знаю, на сколько ходов. Вообще ничего пока не знаю. Мяв и когти из мрака. Тоска, кошмар...

Я снова позвонил Кире. И там снова никто не подошел. Кира работает, отец ее работает, Глеб гуляет или у приятелей сидит... Все могу понять. Но тещу-то где носит?

Кира работает... Но, коль скоро дома ее нет в такое время, то — НЕ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ. По нашему пациенту она работает.

Тоска, господа, тоска.

Но, может, и к лучшему, что никого. О чем теперь говорить-то нам? О работе только — но я сейчас работой сыт по горло. Как выразились бы хак-хаки — оверсайзная она уже какая-то стала, работа эта; а запускать драйв-спэйс нету масти.

Ожидать услышать чего-то вроде: миленький, замечательный мой Антошенька, да как же я люблю-то тебя, родной мой, да как же я по тебе соскучилась — не приходится. С чего бы это Киру так понесло теперь?

Принял решение, совершил несколько поступков, этим решением обусловленных,— так и нечего теперь душу рвать себе и ей. Был в Керчи — так молчи.

В Судаке.

Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь на остаток вечера, я попробовал подергать памятью мрачные обугленные четки связанных с Кирой НЕПРИЯТНЫХ воспоминаний. Обидных. Отчуждающих и отторгающих. Как она, прекрасно зная мое культовое отношение к нашей исходной обители, к махусенькому Эдему нашему с коричневыми раздвижными решетками на окнах, которые мы ни разу не сдвигали,— хладнокровно и вроде бы даже нарочито замечала: никаких, честно сказать, приятных воспоминаний у меня с этим карцером не связалось, Антон. Тесно, душно. А уж когда Глеб появился,— и вовсе невыносимо...

Или как однажды она сорвалась едва ли со злобой: ну нет у меня теперь той беззаветной любви, нет; но я та же, что была!

Интересный ход мысли.

Или...

Но, хоть убей, не вспоминалось плохого. Ощущалось нечто бесформенное и тяжелое, вроде как угрюмый черный бегемот топтал сердце; но конкретно — нет. Как назло, наоборот, заплескалось яркое, солнечное... За одно я мог поручиться: солнечного было больше в трех начальных годах — собственно, ничего иного там и не было; а черное, как на дрожжах, разрослось в

течение трех последних лет, став нынче едва ли не основным.

И в одной этой статистике уже был приговор. Мне. Главным образом — мне. К высшей мере. Обжалованию не подлежит.

Ах, Кашинский, Кашинский... Чуешь ли, какое сокровище тебе вот-вот может достаться? Не проворонь, лапша ты этакая!

Взгляд сверху

Когда то ли на излете перестройки, то ли в первый год шоковых примочек — уж не вспомнить точно — Комитет про него забыл, Кашинский поначалу боялся поверить в привалившее счастье. Чтобы именно так, как ему мечталось все эти годы, безо всяких с его стороны усилий и жертв, естественным образом и вследствие внешнего хода вещей, удалось избавиться от унижения, уже казавшегося вечным... Вот так вот само по себе все ползло, расплзлось — и доползло до свободы. Сказка! Сердце пело.

Недолго оно пело.

Да, всем оказалось несладко, все растерялись и не знали, как быть дальше. Ушел на пенсию после очередного инфаркта Вайсброд; сразу после путча растворился обманчивый гений Симагин... Лаборатория разваливалась на глазах — и развалилась вскоре. Карамышев что-то еще пытался вытворять, но это уже никого не интересовало, ни дирекцию, ни органы. Вот откуда свалилась свобода. Как в старом анекдоте про Неуловимого Джо: неужто и впрямь Неуловимый? — да нет, просто не нужен никому.

Никому не нужен. Не нужен как мужчина. Не нужен как ученый. Не нужен как стукач. Даже как стукач стал не нужен!

Именно это неожиданным образом оказалось горше всего.

Ведь именно ЭТО у него получалось лучше всего. Именно вокруг этого, как на поверку-то выяснилось, денно и ночью крутились мысли и переживания; если бы не это, понял Вадим однажды, у них вообще не осталось бы оси. Именно этому он отдавал более всего эмоций — пусть горьких и тягостных, все равно: то и был его внутренний мир, его духовная жизнь, которой ни в малейшей мере не могли ему обеспечить ни наука, ни секс, ни вообще что бы то ни было.

Ведь не только тягостными они бывали, не только горькими. Они давали и чувство полноценности, чувство превосходства хотя бы в чем-то — а без превосходства ХОТЯ БЫ В ЧЕМ-ТО человек жить не может. Ты лучше бегаешь, — я лучше прыгаю, значит, все в порядке, никому не обидно, можем дружить. Ты лучше вычисляешь, — я лучше за этим слежу... Гармония. Теперь гармония рухнула. Жизнь стала пустой.

Он сменил место работы, потом еще раз сменил. Но это не помогало. Какое-то всем заметное проклятие, наверное, висело над ним; наверное, эти годы оставили свой неизгладимый след, и он, вроде бы еще живой, вроде бы еще не старый и не глупый человек, догнивал во вмятине этого следа расплюснутым ошметком. И к нему относились соответственно. Не сразу — поначалу он производил впечатление: обаятельный, интеллигентный, остроумный, начитанный, с какой-то романтической усталостью, с тайной бедой на сердце... но обязательно, непременно, неотвратимо через какие-нибудь два-три месяца его начинали держать за человека второго сорта. За сявку. Уверенные и наглые, не отягощенные никакой рефлексией пацаны, которым он вежливо говорил «вы», начинали бросать ему «ты»; он им по-прежнему, подчеркнуто: «вы», — а они ему по-прежнему, будто и не замечая его потуг поставить себя: «ты»...

От одного этого можно было повеситься или взбеситься.

Прошло много лет, и девяностые успели смениться нулевыми, прежде чем он вдруг ощутил, что груз, о давлении которого он и думать забыл... который, оказывается, все еще громоздился у него на плечах, — начал легчать.

Поначалу он не поверил себе. Это происходило настолько медленно, настолько подспудно, что он долго относил происходящее не к климатическим, а к погодным изменениям души; ну, сегодня вроде нет такой тоски, наверное потому, что скоро отпуск, можно будет уехать и никого не видеть; а потом опять будет тоска. Однако изменения оказались климатическими.

Оледенение сменилось потеплением.

Пришел день, когда он отчетливо понял, что оставшиеся впереди годы можно, оказывается, прожить, а не со скукой пережидать, пока курносая положит опостылевшему состоянию конец. В этом ожидании не было позерства; он никогда не думал о самоубийстве, тем более — никогда не пугал им окружающих, но подчас, прикидывая возраст, думал устало и безнадежно: это сколько же мне еще тянуть. А вот теперь...

Теперь надо было наверстывать.

И, вспомнив, как мечтал когда-то в детстве порадовать мир выдающимися открытиями, он в безумной надежде записался на некие курсы психотерапии, где якобы умели возвращать утраченные творческие способности. И исправно ходил на них, и то индивидуально, то в группе честно валял там дурака. И ни пожилой психолог, симпатичный, хоть и еврей; ни молодой волчара директор, своей ничем не сдобренной каменной цельностью неприятно напомнивший Кашинскому чекиста Бероева, под которым пришлось ходить долгие годы; ни даже шмакозьявка секретарша, наверняка любовница директора, — никто там, в этом «Сеятеле», не говорил Вадиму «ты».

И, вспомнив, каким когда-то грезил стать, он наконец принялся систематически пытаться вести себя

увереннее и решительнее. Смешно сказать — принялся следить за осанкой. Принялся стараться не сутулиться! Принялся сгонять обрюзглый тряский жир!

То ли курсы были виноваты, то ли груз потихоньку продолжал отпускать и время пришло, но буквально за несколько последних недель он, дважды попав в довольно нервные и сложные коллизии, выбрался из них с честью. Может быть, даже с блеском. Он не помнил такого с аспирантских времен. Вечно он плыл по течению, вечно лишь рукой махал — будь что будет; сокрушительная какая-нибудь катастрофа, дескать, все равно вряд ли случится, а сияющих вершин все равно, дескать, вряд ли удастся достигнуть... И вот — нет. Он и впрямь начал делаться хозяином своей жизни. Сколько бы ее там ни осталось впереди.

У него крылья выросли за спиной.

И он влюбился.

Смешно сказать. Ему давно перевалило за сорок, он облысел, он страдал колитом и гипотонией, у него уже ломило суставы перед дождем, — но он влюбился. Теперь он понимал, что влюбился впервые. Теперь он понимал, что только с крыльями за спиной человек и может влюбиться. У раздавленных ошметков в лучшем случае бывает только похоть.

Как и у лишенных рефлексии волчар. Противоположности сходятся.

Он почти ничего не знал об этой женщине. Они пересеклись совершенно случайно, на пролете, и он ей чуточку помог. И поначалу даже не представлял, чем это обернется.

Она была молода. Она была красива. Она была умна и остроумна, и умела слушать, и умела отвечать. Она была, как олененок. Она была, как солнечная дорожка на море.

Она была замужем.

Теперь он это знал. Теперь он знал, что ее сыну скоро пять.

Теперь она с нескрываемым удовольствием ела маслины. Кафе было довольно пристойным, и потому маслины были пухлые и без косточек. От излучины к излучине неторопливо текла спокойная, равнинная музыка — молодежь, случайно знал Кашинский, называет такие мелодии «медляками». Впрочем, вероятно, это выражение тоже успело устареть с той поры, когда Кашинский его услышал, и ныне следовало говорить как-то иначе. Вероятно, эта женщина знала, как.

— Конечно, что-то было. Только, Кира, очень, очень давно. Молодость... — с мужественной печалью говорил Кашинский. — Я-то думал, как это здорово, как славно, что меня любят просто так. Не за то, что я деньги в дом тащу, не за то, что я сопли чадам подтираю денно и ночью, — просто за то, что я, оказывается, вот такой замечательный сам по себе. Ведь из того, что меня любят просто так, очевидно следует то, что я замечателен сам по себе. Логика! Смешно, правда? Но, что греха таить, от этого и сил прибавлялось, и ума, и вдохновения... Свинство природы в том, что от этого действительно становишься немножко замечательнее!

Они впервые были вместе так непринужденно и неторопливо. Собственно, это вообще была лишь их четвертая встреча, и Кашинскому стоило больших усилий решиться позвать эту женщину поужинать. Но так хотелось, чтобы они наконец перестали быть случайными знакомыми, фактически — до сих пор совсем чужими.

И он решил быть абсолютно откровенным, насколько это возможно. Он решил, что сегодня решится все. И потому нельзя было кривить душой; если какие-то связи завяжутся, они должны завязаться между правдой и правдой, а не между приукрашенными образами. Ведь связи между макияжем и макияжем распадаются, стоит только случайному дождю смыть косметику.

И вот он раздевался, а она слушала и понимала его с полуслова. Он был в этом уверен.

Только про Бероева нельзя было рассказать.

— А вот однажды я всей шкурой вдруг понял, что любят-то просто в ожидании, когда я брошу распускать свой не Бог весть какой яркий хвост и поташу наконец получку в дом, и начну родившимся наконец-то детям подтирать сопли. И все! Ни за какие там замечательные мои качества!

— Вадим, простите, — перебила она.

Она говорила ему «вы». За одно это он готов был целовать ей туфли. Она смотрела на него мягко и участливо, как мама. И чуть улыбалась.

— В этом не было ничего унижительного для вас, поверьте женщине. Ведь ждали все-таки вас! Не кого-то вообще. Не десятерых одновременно, по принципу кто-то да поймается. Вас, вы сами сказали. А это уже немало.

Он покачал головой. Он очень старался быть искренним; но он не умел. Он хотел говорить правду — но понятия не имел, какова она на самом деле. Как поведать ее, чтобы и не приукрашивать себя, и не впадать в самоуничижение? Приукрашивать было нельзя — Кашинскому впервые за много лет хотелось, чтобы эта юная женщина общалась именно с ним, а не с размаляванным рукою лстивого чучельника комком стареющего белка о двух ногах. Он устал притворяться лучше себя. Но ведь и возводить напраслину на себя было сейчас нелепо!

— Кира, наверное, я поначалу вполне мог бы стать и заботливым мужем, и заботливым отцом. Что я, не человек? И получку бы носил, и сопли бы вытирал. Но однажды до меня дошло с ужасающей какой-то, знаете, ясностью: меня никогда не любят и только всегда хотят замуж.

Потому теперь на замужних потянуло, подумала Кира. словно порыв ветра, налетела неприязнь. И, словно порыв ветра, улетела. То, что он рассказывал ей все это, было знаком беспредельного, почти детского доверия, а такое доверие нельзя обмануть. В том

числе — обмануть неприязню. Нет, нет, я не должна. Он хороший, но ему очень не повезло смолоду, в этом все дело.

И пахло от него прохладно и чисто.

Она чувствовала себя очень виноватой перед ним. Словно она совершила подлость.

А разве нет?

Все эти сомнительные Антоновы игры...

Надо с ними кончать.

Но Антон ведь их не бросит. Он, понимаете ли, мир спасает. Значит — и с НИМ кончать. А разве я этого хочу?

— Думаю, вам только казалось, — проговорила она. — Вы слишком заикнулись на этом.

Она говорила то, что чувствовала, говорила от всей души. Но сама ненавидела то, что говорит. Нечестно! Нечестно! С каждым словом ощущение вины лишь усиливалось. Раньше, пока они не бывали вот так, Киру не тяготили ложность и лживость ее положения, но теперь оно обернулось кошмаром. Самые простые и искренние фразы приходилось вымучивать, будто графоманом написанный и скверно выученный текст.

— Нет-нет. Я вскоре понял, в чем дело. Со своей проклятой уступчивостью я выглядел как человек, которого очень легко можно сделать удобным. Ведь когда двое становятся вместе, они оба меняются, это неизбежно. Если кто-то из них меняется недостаточно, или не меняется вовсе, они, как правило, перестают быть вместе, правда?

— Правда, — согласилась она, и ему показалось, что подумала она о чем-то своем.

— Так вот меня всегда принимали за человека, ради которого можно меняться минимально, а меня менять максимально. Вот что было ужасно. Именно из-за этого, я полагаю, и только из-за этого ждали, как вы выразились, именно меня. Тех, кто уже как следует погулял, либо, наоборот, никому не понадобились, я привлекал.

Потому, что со мной можно было не считаться. Делай, как нам надо,— или прощай. Как мне самому надо,— это мои собственные проблемы, и если я хоть словом о них заикнусь, значит, я эгоист. А, кроме меня, эгоистов нет, все просто живут и добиваются своего. И, Кира, всю свою жизнь я, чтобы не обидеть... Меня почему-то никто никогда не боялся обидеть. Понимаете, Кира? В голове осталось лишь одно: меня никто не любит. Меня только используют. Когда такое гвоздит, можно совершить очень страшные вещи...

И я совершил их. Мне велели; пришли и просто велели — и я совершил. Совершал много лет.

Неужели она не поймет, с тоской и надеждой думал он. Неужели ей не захочется хотя бы из чувства противоречия, хотя бы из жалости доказать мне, что со мной можно считаться? Что мне можно подчиняться хотя бы отчасти?

— Ведь когда двое делают вместе, они оба начинают отвечать друг за друга, правда?

— Правда,— негромко и очень отрешенно проговорила она, глядя куда-то мимо, и снова ему показалось, будто, соглашаясь с его словами, она думает совсем не о нем.

Как он хорошо сказал, думала она. Отвечать друг за друга. Не просто любить друг друга или нуждаться друг в друге — в конце концов, любое одомашненное животное нуждается в своей кормушке и, как правило, любит того, кто сыплет туда еду.

Сколько лет вместе — и вот вдруг выяснилось: я не знаю, отвечает ли Антон за меня.

А я за него? Даже этого не знаю...

— Так вот почему-то получалось так, что я должен был отвечать — а за меня отвечать никто и не думал. И я от этого просто осатанел. Просто осатанел. И от себя — потому что ощущал себя проклятым. И потому еще, что ведь вдобавок я сам себя считал подлецом всякий раз, когда пытался не уступить. Ведь я, видя, что

меня пусть и не любят, но хотят замуж, уже сознательно делал вид, будто этого не понимаю. И тот мизер, который мне давали В ОЖИДАНИИ, я брал — а братъ был НЕ ВПРАВЕ, ведь я-то знал, что НЕ ДОЖДУТСЯ! Ох, давайте немножко выпьем, Кира.

— Давайте, — по-прежнему негромко и отрешенно согласилась она. И подняла свой бокал. — Давайте, Вадим, выпьем за то, чтобы ответственность никогда не была нам в тягость, а безответственность никогда не была нам в радость.

— Какой тост, — проговорил Кашинский с неподдельной дрожью в голосе. — Согласен всеми потрохами, Кира.

Они выпили. Помолчали, с нерешительным пониманием улыбаясь друг другу. Потом она сказала:

— Наверное, есть еще третье. Это вот и следует вам искать. И не восхищенная раба, и не клуша в ожидании... интересного положения. Просто человек, который хочет помочь.

Он только руками всплеснул.

— Да с какой это стати — помочь? Экий гуманизм!... Тот, кто якобы за так хочет помочь, — просто обманывает тебя с какой-то совсем уж мерзкой целью, о которой и сказать-то тебе открыто не решается. Либо обманывает себя, а когда поймет, что себя обманывал, — за эту самую помощь тебя же и возненавидит! — он вздохнул. — Какая же вы еще молодая, Кира... Помочь! Видели вы эти бесконечные афиши с призывами: гос-пода, будьте благоразумны — не оказывайте никакой помощи незнакомым людям на улице, в транспорте или в общественных зданиях, не выполняйте ничьих просьб. Не принимайте от посторонних помощи и по возможности не обращайтесь за помощью ни к кому, кроме официальных лиц. Нарушение этих правил может привести к непоправимым последствиям для вашего здоровья, благополучия и благосостояния...

— Жизнь — не общественное здание.

— Она еще хуже, Кира!

Она покачала головой.

— Я знаю людей, которые стараются помогать совершенно бескорыстно. На свой страх и риск. Не считывая даже на простейшую благодарность. Тайком, — она, пригубив, помолчала; он ждал. Уронила: — В меру своего разума, конечно.

— Ну, не знаю... Познакомьте.

— Вряд ли это возможно.

— Вот видите. Вы сами в них не уверены.

— Я в них уверена. Я в себе, Вадим, не уверена...

Что-то я не то делаю.

У него перехватило горло от нежности.

— Наверное, вам самой нужна помощь?

Она помолчала, потом сказала тихонько:

— Наверное.

Он мгновение выждал, чтобы не показаться слишком назойливым. Потом осторожно спросил:

— Я не мог бы?..

Она не ответила. И вдруг безо всякого тоста взяла бокал и сделала несколько больших глотков.

— Я вас очень понимаю, Вадим. Казалось бы, у мужчины и женщины именно тут взгляды должны особенно расходиться. Но мне так понятно, до чего это больно и безнадежно — все время быть без вины виноватой!

Ее глаза затуманились, размякли черты лица.

Какие глаза!

— А вы?.. — вдруг решился он спросить с откровенностью, которая испугала его самого прежде, чем он закончил фразу. — Вы не хотели бы мне помочь? — Помолчал. Она не прервала его. Значит, можно было продолжать. — Бескорыстно, — он чуть улыбнулся, возвращая ей ее слова. — На свой страх и риск. Не считывая даже на простейшую благодарность. Вы мне, я вам... так и помогли бы друг другу.

Она, конечно, поняла, что он имеет в виду. Ее губы чуть дрогнули, и лишь через мгновение она ответила:

— Наверное, нет, Вадим.

— Почему?

— Боюсь, это было бы нечестно.

— Почему? — настойчиво повторил он. Но она не ответила. — Расскажите теперь вы о себе, — попросил он. Но она замотала головой так, что ее длинные волосы залетали и заплясали вокруг лица. — Ну почему же опять нет?

— Не могу. Нельзя.

— Устав тайного ордена не велит? — улыбнулся он.

Она затравленно глянула на него.

— В каком-то смысле.

— Кира!

— Это все звучит ужасно пошло, Вадим. Как в сериале каком-то. Но, пожалуйста, не спрашивайте!

— О вас спрашивать нельзя. О гуманистах ваших спрашивать нельзя. О чем же можно? Хорошо, я вот что спрошу: почему же эти гуманисты ВАМ не помогут, если они готовы всем-всем так бескорыстно помогать?

Тонкой рукой, уже немного потерявшей точность движений, она тронула свой бокал, но не взяла.

— Потому что сапожник без сапог, — с горечью сказала она. — Потому что никто не может помочь тому, кто сам помогает, — и вдруг ее прорвало: — Если бы ему хоть на секунду в голову пришло, что я тоже нуждаюсь! Что мне тоже вот-вот потребуется восстанавливать способности! И творческие, и прочие!!

В голове у Кашинского медленно повернулся некий тяжелый, настывший на долгом морозе маховик.

— Кира. Вы как-то связаны с этим... с «Сеятелем»?

Она вздрогнула. И неубедительно произнесла:

— С каким «Сеятелем»?

— Кира... — потрясенно проговорил Кашинский.

Она решительно подняла бокал и спрятала за ним лицо.

— Вадим, нам лучше не видеться больше,— с усилием сказала она.— Вы мне симпатичны, это правда. Я очень понимаю вас и сочувствую вам, и хочу, чтобы у вас все было хорошо. Это тоже правда. Но лучше нам уже не видеться. Я, собственно, согласилась поужинать с вами именно для того, чтобы это вам сказать. Я не могу. Совестно.

Опять будто из сериала, подумалось ей. Она готова была сквозь землю провалиться. И зачем я только пошла на этот ужин! Надо было сразу, просто. А теперь... Пошлятина.

— Почему? — тихо спросил он.

— Я не могу вам сказать.

И осеклась. Пошлятина! Пошлятина!

Вообще ничего нельзя было сказать. Все ненастоящее. Каждый жест, каждый сорвавшийся с губ звук были от крови, из сердца,— но Киру душило смердящее чувство, будто она и теперь непроизвольно, привычно шьет для Вадима очередную горловину. И делалось насмерть обидно за изуродованную этим чувством близость.

Покончить с наваждением можно было лишь одним-единственным способом.

В конце концов, я не изменяю и не предаю. Я просто отказываюсь участвовать в его играх. Я столько лет боролась за единство, подчинялась ему, словно раба,— а он даже не видел этого. Теперь мне надо спасти свою жизнь. Не то я так и буду шарахаться от людей, чувствуя постоянный привкус того, что не живу, а только мерзостно и подло притворяюсь. Обманываю. Верчу-кручу людьми.

Да как же у Антона на это духу хватает? Неужели он — ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК?

— Понимаете, есть люди... очень хорошие,— добавила она, будто сама стараясь убедить себя в том, что

говорит, — которые решили, что традиционных способов лечения, всех этих ролевых игр, аутотренинга, внушений — мало. Бывает, что те, кто мог бы еще очень многое сделать, оказываются не в состоянии творить, потому что по тем или иным причинам устали, обессилели, сломались. Им надо помочь. И, договорившись между собою, держа все в секрете, эти люди, будто ангелы-хранители, носятся вокруг человека, который нуждается в помощи, и на первых порах многое делают за него так, что ему кажется, будто все это он сам. И одновременно провоцируют на усилия, которые человек сам бы поленился совершать. Там сложные методики... Конечно, с точки зрения морали это неоднозначно, но...

Кашинский слушал, напряженно распрямившись и окаменев. Слушал и не мог поверить. А она говорила и говорила; сначала более-менее спокойно, потом — волнуясь и горячась. Ей тоже оказался нужен добрый слушатель, который все поймет.

— ...Это помогает, Вадим, действительно помогает! Вы не представляете, скольких талантливых людей мы вытащили! Из апатии, из отчаяния, из запоев, из полной, казалось бы, утраты ума...

Маховик в мозгу Кашинского провернулся еще раз. А потом из ледяного вдруг стал раскаленным.

— И все, что со мной в последнее время...

— Нет, Вадим, нет! — отчаянно закричала она. Из-за соседнего столика на нее обернулись с гадливым, ироничным удивлением. — Все сделали вы сами! Только незаметная помощь, коррекция...

— О Господи, — сказал Кашинский.

Давным-давно он не чувствовал себя игрушкой в чужих руках. И вот — вернулось.

— Да вы хоть понимаете, что творите?

Она не ответила.

— И вы тоже этим занимались? — спросил он.

Она не ответила.

— Это что-то запредельное,— сказал он.— Чудовищное. Это же преступление!

— Нет,— беспомощно сказала она.— Нет.

— Это хуже Сталина. Хуже психушек. Хуже доносов.

— Нет, Вадим, нет. Вы хотели откровенного разговора — вы его получили,— в ее голосе появилась отчужденность.— Я, в конце концов, слушала вас. Слушала сочувственно, старалась понять. Откровенность одного немислима без бережности другого. Постарайтесь и вы. Постарайтесь ответить мне тем же.

— Да что тут понимать! Манипулирование людьми!..

— В ваших интересах, Вадим! Только в ваших!

— Кто может в этом поручиться?

— Я. Ведь вы буквально ожили за последний месяц. Буквально другим человеком стали!

— Сволочи!! — выкрикнул он, сорвавшись на отвратительный нутряной визг.

Сволочи, они украли у него все, чего он добился. Это, оказывается, не его, а их заслуга!

Он тяжело вздохнул, пытаясь взять себя в руки.

— Вас надо спасать, Кира. Вас надо вытаскивать оттуда. Я так понимаю, что вы фанатично преданы... или, по крайней мере, БЫЛИ преданы тому, кто все это творит. Я даже догадываюсь, кому именно. Токареву! Директору вашему! Я помню его, с первого собеседования запомнил! Этакий Наполеончик!

— Не смейте! — выкрикнула она.

Но Кашинский просто называл своими именами то, что она сама начала робко подозревать.

— Почему? Очень похож! Чей-то карманный Берия, вот он кто! И надо бы выяснить — чей именно... Я его игру порушу. Это же вопиющее нарушение прав человека, в конце концов. Надо подключить прессу, милицию! А может, даже международные организации, если эти ваши как-нибудь заручились поддержкой

силовики. Ох, да они наверняка давным-давно работают на них.

— Вадим, вы с ума сошли,— она тоже попыталась овладеть собой и урезонить его, говоря хладнокровнее.— Мы лечим людей.

— У эсэсовцев в лагерях тоже лечили. На Лубянке тоже лечили. В психушках лечили вовсю.

— Да при чем тут Лубянка и психушки?

— Притом!

Почему-то когда то, что она лишь начала подозревать, громогласно сформулировал он,— это стало выглядеть надругательством и злобной клеветой. Ей стало страшно.

— Послушайте, Вадим. Если бы я кому-то разболтала все, что вы мне в порыве откровенности поведали,— как бы вы к этому отнеслись?

— Это другое. Я никому не принес вреда. Я никому не принес вреда! — закричал он; на сей раз уже он будто старался убедить себя в том, что говорит.— Весь вред, который я, быть может, нанес,— не на моей совести! Он на совести таких, как вы!

— О чем вы, Вадим? Бред какой-то...

— Нет, не бред. Играть людьми, притворяться, расчетливо и хладнокровно врать...

— Врачи притворяются и подчас лгут.

— Да какие вы врачи! Вы фашисты! — Он осекся.— Кира, простите. Я не о вас. Вы жестоко запутались, я чувствую. Иначе вы ни за что бы мне этого не рассказали. Я не психолог, не врач,— он издевательски скривил губы,— но даже мне понятно: в глубине души вам самой хочется, чтобы кто-то выволок вас из этой грязи. Так получилось, что это буду я.

— Вы с ума сошли,— беспомощно повторила она.

— Я этого так не оставляю.

— Вадим, пожалуйста, никому ни слова!

— Кира, вы сама не понимаете, что говорите. Вы действуете среди людей, играете ими — и еще смеете

просить о сохранении ваших мерзких тайн! Узнать о преступлении и молчать! Да просто долг мой...

У нее слезы проступили на глазах. Но его это уже не трогало. Он чувствовал себя настолько сильнее и выше нее... У него действительно крылья хлопали за спиной. Безответственность больше не будет мне в радость, думал он, спокойно и твердо отвечая на умоляющий взгляд ее глаз. А ответственность — никогда не будет мне в тягость. Ты сама хотела так.

Кашинский уже не помнил, что жаждал связи правды и правды. На самом деле ему нужна была всего лишь связь между ним, каков он есть, — и ею, такой, какая ему нужна.

Если она иная — нужно ее изменить, вот и все.

Эта женщина теперь зависела от него всецело. От единого слова его зависела, как когда-то он — от единого слова Бероева. ТАКИХ крыльев у него не было еще никогда. После долгих пустых лет справедливость восторжествовала. Теперь он властвовал и он спасал.

Он наконец-то получил шанс расквитаться с тайной полицией, в какие бы одежды ее ни рядили новые времена.

— Кира, — сказал он. — Я должен подумать. Если вас интересует, что именно я решу, позвоните мне... нет, лучше приходите ко мне, и мы спокойно все обсудим у меня дома, там никто не сможет нам помешать.

Ему понравилось, как расширились ее глаза. В них уже не было материнской снисходительности. В них был ужас понимания того, что роли поменялись. Я-то не злоупотребляю своей властью, подумал Кашинский, я-то знаю, как надо. Я знаю, как надо!

Я — не им всем чета.

9. Он на зов явился

Конечно, статистика, которую я получил наутро, не была шибко репрезентативной. Прямо скажу, пробелов в ней было больше, чем сведений. Но кое-какую пишу для ума она, тем не менее, дать могла.

Среди ста двух наших бывших пациентов, о которых Катечка успела что-то выяснить, были такие, что продолжали вполне успешно и плодотворно работать в тех учреждениях, в которых мучились тогда, когда им пришлось обратиться, или они были направлены, к нам. Некоторые из них получили повышения, а некоторые из этих некоторых получали их неоднократно. Были такие, что сменили место работы, как правило — удачно и в творческом, и в финансовом плане. Трудящиеся из числа вольных художников успешно продолжали таковыми оставаться.

Были и такие, что свалили за границу, и сведений о дальнейшей их карьере, разумеется, этак вот запросто было не раздобыть. Катечка и не пробовала.

А меня благополучно свалившие и не интересовали.

Примечательным и, как мне сразу показалось, имеющим отношение к делу было тут вот что. Семнадцать человек из этих ста двух в течение буквально последних полутора лет пострадали от разнообразных и не всегда понятных стечений несчастных и роковых обстоятельств. Кто-то менингитом заболел, или энцефалитом, что ли, — врачи не всегда бывали тверды в диагнозах. Жить-то живут-поживают, а вот творить — слабо стало; дай Бог вспомнить, как звали. Кто-то с лестницы упал, кто-то в автокатастрофу попал...

Семеро из этих семнадцати отравились недоброкачественным алкоголем. То есть именно такое предположение высказывалось относительно всех семерых — по каждому, разумеется, абсолютно независимым образом; и высказывалось, как я понял, потому только, что больше предполагать было нечего. Где-то пригубил — и привет,

тяжелая интоксикация, потеря разума, рвота-кома... а потом — мозги отшиблены, будто не было. В одном случае милиция просто-таки землю рыла, пострадавший был из высокопоставленных; по нулям. Праздничное застолье в хорошем ресторане, пили только качественное хлёбово, ели только качественную хавку... Из кожи вон лезли сыскари в течение нескольких недель, пытаясь определить, кто и как торгует столь освежающим напитком, и каков этот напиток конкретно, — ничего не выяснили.

Легко узнать, кто из России уже уехал: спросил, и тебе ответили. А вот узнать, кто собирался уехать, но по тем или иным причинам остался, — куда труднее; дело тут интимное, и мало кто начинает прежде, чем билет в кармане и багаж в чемодане, тарыхтеть о том, что привалила позволяющая расплесться с Отчизной удача. Тут и чисто суеверная боязнь сглазить, и вполне материалистическая боязнь, что друзья-коллеги ножку подставят... да и застарелые страхи, укоренившиеся еще со времен борьбы с сионизмом, — была, говорят, такая. Но добросовестной Катечке удалось выяснить, что аж четверо пострадавших от злого рока трудящихся получали приглашения кто из страны Мальборо, кто из иных, почти столь же вожделенных. Эти приглашенные принадлежали к совершенно разным епархиям, и угадать что-либо из перечня их профессий оказалось совершенно невозможно; физик, археолог, социолог и астроном — в огороде, что называется, бузина, а в Киеве Кучма.

Я, напуганный жуткими прозрениями Сошникова о патриотах, яро и бескомпромиссно защищающих свои идеалы криминальными средствами, уже рисовал себе перспективу столкновения с товарищами, которые по принципу «так не доставайся же ты никому» травят и калечат интеллектуалов, собирающихся сдать свои извилины в пользование мировой буржуазии. Даже гуманизм в их действиях определенный подмечал, хоть и

весьма специфический: до смерти не убили ни одного, только привели в состояние, для буржуазии неинтересное... Хотя и умысел умный тут тоже можно было найти: убийства все ж таки хоть как-то расследуют, на заметку берут, регистрируют хотя бы,— а такие вот казусы суть дело житейское. Явно меньше вероятность привлечь внимание.

Ну, и надо заметить вдобавок: еще и поэтому эти казусы никого не беспокоили, что ни за одним из них не просматривалось заметных финансовых махинаций. А раз не видно драки за жирный кошель, значит, и преступления-то нет, и действительно произошла не более чем неприятная случайность,— так у нас привыкли рассуждать.

Однако — увы, полный с этой моей гипотезой получился пролет.

Потому что, как нарочно, среди этих абсолютно нерепрезентативных четверых двое на приглашающий щелчок пальцами из-за океана отреагировали тривиальным образом, то есть сверкая пятками, бросились в консульство за визами, и злой рок настиг их буквально в последний их миг на родной земле — вот как Сошникова; а ровно двое же, напротив, отреагировали нетривиально, то есть вежливо под тем или иным предлогом отказались. И, тем не менее, рок настиг и их. Так что один выпил рюмку то ли коньяку, то ли бренди, и, так и не проспавшись, спятил, один непонятно почему свалился в плохо закрытый канализационный люк и, видимо, от сотрясения мозга — а от чего еще? — стал скорбен слабоумием, один подвергся нападению грабителей в двух шагах от дома и, опять-таки получив как следует по кумполу, безнадежно поглупел, а один прямо посреди города подцепил, во всей видимости, энцефалит и стал неработоспособен и до крайности молчалив.

Вообще-то нас всем этим не удивишь; весной, например, много писали о мужике, который очень следил

за своим здоровьем и совершал ежедневный моцион по пустырю где-то за Шуваловским, что ли, парком, строго одним и тем же маршрутом — и лучевую болезнь заработал, бедняга. Повезло проторить свою тропу аккуратно над забытым могильником начала пятидесятых.

Но, во всяком случае, два — два. В итоге — ноль.

Журналист, разумеется, смог собрать сведения о гораздо меньшем количестве персон. Но зато собирал их более целенаправленно, только о пострадавших. Пятеро из упоминаемых у журналиста числились и в списке Катечки; два перечня частично перекрыли друг друга, что было, в общем, нормально. Остальные были сами по себе — и поскольку всех наших бывших пациентов я, разумеется, помнить был не в состоянии, на тот момент осталось неизвестным, лечились когда-то эти остальные у нас, но Катечка просто не успела о них ничего выяснить, или они не были отягощены комплексами и безбедно сеяли без «Сеятеля», пока судьба-злодейка не сделала им козью морду.

И тут результаты оказались приблизительно пятьдесят на пятьдесят. На семерых, правда, информация о зарубежных поползновениях вообще отсутствовала — хотя из этого никоим образом не следовало, что этих поползновений на самом деле не было; просто информация отсутствовала, и все. Но касательно девяти было известно, что их либо приглашали, либо они сами долго добивались и наконец добились, и вот уже шнурки завязывали, как... И касательно двенадцати опять-таки было известно, что их манили и звали, а они — на хрен послали. И все равно увяли.

То есть налицо опять были две взаимоисключающие тенденции. То есть тенденции не было.

Или все-таки были две взаимоисключающие?

Как оказалось, не одному мне пришла в голову богатая мысль о кознях страшных русских органов. Полтора года назад, оказывается, после трагического и по словам родственников абсолютно этому человеку не-

свойственного запоя, счастливо разрешившегося сильной интоксикацией, бытовой травмой и, в конце концов, полным слабоумием, один аккредитованный у нас корреспондент из Филадельфии высказал в сенсационной статье подобную догадку. Пострадавший, как сходились все, был классным генетиком, и его звали в Штаты весьма настойчиво. Филадельфиец собирался даже затеять некое расследование, даже что-то начал предпринимать, у статьи вышло продолжение... и шабаш. Нет, ничего с журналистом с этим не случилось, как сидел в Питере, так и продолжал сидеть, но — обрезало. Утратил интерес в одночасье. Даже не вспоминал.

Никаких однозначных выводов сделать из полученных мною материалов, конечно, нельзя было. Но некие странности ощущались.

Во-первых, какое-то аномально большое число несчастных случаев на единицу площади талантов. Во-вторых, странное поведение филадельфийца; если бы я про это в детективе читал, я, как книгоглот искушенный, тут же сообразил бы, что случайно угадавшему правду лоху заткнули рот некие могущественные силы.

Вот только кто? Нашим до американских ртов дотягиваться несподручно; вернее, что затычку ставили свои. Но какой смысл американцам ставить затычку своему же журналисту, который вот-вот докажет в очередной раз и с убойной убедительностью, что злее да подлее русских и на свете-то нет никого? Какой хай можно было бы поднять, если б оказалось, что и впрямь ФСБ травит ученых, лишь бы не отпускать их за границу? Да такого даже при большевиках не было! Да за это мы вам все кредиты срежем! И так далее.

А вот нет.

И в-третьих. Вертя распечатки и так, и этак, я вдруг додумался посмотреть распределение роковых случаев а: относительно лишь тех, о ком было достоверно известно,

собирался он уезжать, или нет, и бэ: по времени. Так вот, в-третьих: на первом этапе неприятности происходили исключительно с теми, кто СОБИРАЛСЯ уезжать, а на втором — исключительно с теми, кто уезжать НЕ СОБИРАЛСЯ или ОТКАЗЫВАЛСЯ.

Это была уже закономерность. Пусть не очень убедительная по узости статистической базы — но в границах данной базы просто-таки вопиюще однозначная.

Причем, так сказать, в-четвертых: журналистское расследование, столь подозрительно прервавшееся, по времени пришлось как раз на период, когда одна тенденция сменилась другой. Просто-таки с точностью до пары месяцев.

Вот и думайте, господа.

И в-пятых: случай с Сошниковым — ни в том, ни в другом списке, разумеется, не отраженный и лишь мне известный, — похоже, был единственным за почти полтора года, когда рок настиг человека, который СОБИРАЛСЯ уезжать. Что бы это ни значило — нарушение некоей закономерности присутствовало. И именно данное обстоятельство, вероятно, могло объяснить всю эту жутко закипевшую подземную суету, всю эту пляску троллей... То есть даже должно было бы объяснить, — если бы мне удалось выяснить, какого именно рода закономерность была нарушена.

Это я сейчас рассказываю и немножко ерничаю для оживляжа. А тогда я попросту сомлел. Честно скажу: шерсть дыбом встала. Не понравилось мне это в-третьих и особенно в-четвертых. А уж про в-пятых и говорить нечего.

Потом я еще подумал: если я, частное лицо, вот так элементарно, менее чем за сутки, при помощи одного друга, одной секретарши и двух телефонов собрал этот пусть и не говорящий ничего определенного, но весьма настораживающий материал, — куда смотрят наши brave стражи государственной, равно как и общественной, безопасности? Как это было у Рыбакова в «Тяже-

лом песке»: если муж человек ученый и все время смотрит в книгу, то куда остается смотреть жене? Жене остается смотреть направо и смотреть налево...

И тут же вспомнил про лже-Евтюхова.

Ага. Значит, и стражи пляшут где-то поблизости. Совсем хорошо.

Я-то им на кой ляд сдался?

Такое впечатление, что ФСБ смотрит куда угодно — и направо, и налево, только не в книгу!

Впрочем, этим нас тоже не удивишь. Как и лучевой болезнью с доставкой на дом. Мы привыкли. Мы, блин, притерпемши.

А все-таки обидно.

Еще некоторое время я предавался неопределенным, но вполне мрачным раздумьям, а потом позвонил Борис Иосифович, чтобы я пришел за вожденными дензнаками. И стало мне уже совсем невмоготу, потому что все предлоги исчерпались, и надлежало мне теперь брать ноги в руки и ехать к Тоне выражать соболезнования, и как-то втереть ей деньги, которые были, так сказать, пенсией от командования вдове погибшего бойца... но командование на этом поле такое уродилось, что даже объяснить вдове ничего не могло. Придется врать насчет старого долга, который мне все было не собратся отдать, а вот теперь, елы-палы, нашел удобный момент, собрался...

Хоть волком вой, честное слово.

Жаль, у меня любовницы нету. Поехал бы потом к ней, она бы мне водочки поднесла, или даже коньячку, смотря по чувствам; я бы отказался, конечно, — а впрочем, может, и нет; выпил бы, тельник бы на себе порвал и сердце измученное выкатил для обозрения, а она бы меня поутешала... чего ей не поутешать-то, я ж уйду скоро — она опять вздохнет свободно.

Потом позвонила Катечка.

— Антон Антонович, к вам посетитель на собеседование.

— Кто?

— Мужчина, Антон Антонович,— исчерпывающе сообщила Катечка.— Некто Викентий Егорович Бережняк. Шестьдесят восемь лет.

— Однако... Заранее записывался?

— Нет. Четверть часа назад пришел. Я сказала, что вы примете только при наличии свободного времени, а если не примете, то запишу его на вторник.

Я глянул на часы. Тоня, может, еще на работе. И вообще, поеду попозже, чтобы сюда уже и не возвращаться...

И вообще — поеду попозже.

Я сгреб распечатки и сказал:

— Приму.

Так, вероятно, Сократ, или кто там, мог сказать о чаше с ядом, поднесенной ему благодарными согражданами.

Через минуту дверь открылась, и он вошел.

Росту и телосложения был он нешибкого. Невыразительное, как бы затушеванное лицо. Запавшие глаза. Легкая хромота. И трех пальцев на левой руке не хватало. Не очень-то он был похож на ученого с угасшими творческими способностями. То есть что-то погасшее в его облике было, но не совсем то, к чему я привык. Добрый, невзрачный и неловкий старичок.

А в душе он был совсем иным.

Напряжен, будто мощная, до упора взведенная пружина.

И застарелая ледяная ненависть, отточенная, как бритва. И уверенность, граничащая с фанатизмом. И безнадежное, свирепое одиночество. И отчаянная боль сострадания не понять к кому.

И я был ему позарез нужен. Не понять, для чего.

Он на зов явился.

Моя пьяная истерика в «Бандьере» сработала.

Надеюсь, я не изменился в лице. Как сидел в расслабленной, несколько утомленной позиции, так и

остался: посетителем, дескать, больше, посетителем меньше; все они одинаковы, когда торчишь тут кой уж год.

Дрожишь ты, дон Гуан... Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

Дай руку.

Щ-щас. А ногу не хочешь?

— Присаживайтесь,— сказал я, довольно убедительно делая вид, что он застал меня врасплох и я, уважая его появление, с трудом сдержал зевок.— Прошу вас,— и коротко повел рукой в сторону кресла для посетителей.— Здравствуйте, Викентий Егорович.

Судя по его внутренней реакции на мое обращение, старательно кинутое ему с первой же фразы,— имя и фамилия были настоящие.

— Здравствуйте, доктор,— сказал он негромко. Голос тоже был стертый, спокойный и глуховатый. Но я уже понял, что это годами шлифовавшаяся маска.

— Ну, какой я доктор,— я неопределенно повел рукой снова.— Я так... Доктор будет с вами работать, если собеседование покажет, что мы в состоянии вам помочь. Зовите меня просто Антон Антонович.

— Хорошо, Антон Антонович. Как скажете.

Он сел и несколько мгновений пристально смотрел на меня,— будто не зная, с чего начать. Присматривался. Дуэль? Пристрелка? Разведка боем?

— Я биофизик. Хотя следует, наверное, сказать — бывший биофизик. Я, знаете, не работаю по специальности давным-давно,— он чуть усмехнулся.

Он не врал.

— Я, грешным делом, думал, что все, конец настал старику. В сущности, ничего страшного, пора и честь знать. Но слухом земля полнится. Узнал про вас...

— Если не секрет, откуда?

Он снова пристально глянул на меня.

— Я всегда стараюсь это выяснить,— простодушно пояснил я.— Мы очень мало прибегаем к обычной

рекламе, но зато очень интересно и полезно бывает выяснить, как распространяется информация. Обратные связи, знаете ли. Надо знать, что о нас говорят.

— Понимаю, понимаю. Не волнуйтесь, только хорошее. Случайность, знаете. Племянница моя работает в парикмахерской, а дочь одного из ваших бывших пациентов у нее регулярно стрижется.

Он не врал.

У меня будто штопор в голове завертелся. Где-то недавно мелькала парикмахерская... совсем недавно. Да Господи, где же...

Так. Дочь Сошникова, индианка хак-хакающая. Парикмахерше своей скачала, сказала она, отвечая на вопрос, кому рассказывала о близком отъезде отца. Так. Ну и ну. Тесен мир.

— Знаете, молодые девушки как зацепятся языками: тра-та-та-та-та! И обеим не так скучно — ни той, что сидит, ни той, что с ножницами кругом нее скачет. Обо всем успеют... И вот о вас — тоже. И о вашем заведении, и о вас лично, Антон Антонович. А уж племяшка — мне... Все в превосходных степенях, так что не волнуйтесь. Говорят о вас, знаете, хорошо.

— Давно у нас был этот пациент? — спросил я почти равнодушно.

— Нет. Разговор недавний. Как его... племяшка называла же... Сошников.

Ну что ж. Будем играть в полную откровенность? Тогда и я.

Я сделал печальное лицо.

— Ах, вот как, — упавшим голосом проговорил я. Он внимательно следил за моим лицом. Чутьочку чересчур внимательно для пациента.

— А что такое?

— С ним произошел несчастный случай, — сухо сказал я. Что это он врачебные тайны выведывает! Так не делается! — От этого, увы, никто не застрахован.

А потом решил сменить гнев на милость.

— Представьте, он мне дал дискету со своими последними работами, я прихожу, чтоб вернуть,— а он пропал. Я туда, я сюда. А он уже в больнице...

Нет, дискета и его не заинтересовала. Как и лже-Евтюхова. Видимо, дело было не в работах Сошникова, а в самом Сошникове. А вот мы с другой стороны пробуем...

— И ведь обида какая,— продолжал я болтать.— Он буквально на днях должен был уехать в Штаты, уже и приглашение получил в Сиэтл.

В нем полыхнуло. Виду он не показал, правда, но я понял: для него очень важно то, что я знал об отъезде.

Однако для него самого это известие не было новостью. Он-то тоже знал. Ему важно было именно то, что об этом знаю я. И я определенно почувствовал, что его желание наладить со мною контакт усилилось.

Свихнулись они все, что ли?

— Какого же рода несчастный случай? — настойчиво спросил Бережнюк.

— Ну, это врачебная тайна,— ответил я.— Давайте все-таки о вас.

— Давайте,— согласился он. У меня было отчетливое впечатление, что в мысленном перечне вопросов, которые он пришел сюда выяснять, против номера первого он поставил аккуратный жирный плюс.

Я посмотрел ему в глаза. Он помедлил.

— Я, знаете, патриот,— сказал он и усмехнулся со стариковским беспомощным добродушием. Но глаза остались холодными и цепкими, и он буквально буравил меня: как я отнесусь к его словам?

Я пожал плечами.

— Я тоже,— сказал я.— И не стесняюсь этого. А вы, по-моему, стесняетесь.

Ага. Попал. У него екнули скулы.

— Я не стесняюсь,— отчеканил он. И сразу овладел собой.— Просто мне кажется, что в интеллигентной, знаете, среде к этому слову относятся с определенным

предубеждением. Что патриот, что идиот... что фашист. Сходные, прямо скажем, понятия. Нет?

— Нет,— спокойно ответил я.— Люди, Викентий Егорович, разные. Что бы ты ни сделал — всегда найдется кто-то, кому твой поступок покажется неправильным, глупым, непорядочным. Ну и пусть покажется.

— Вы, Антон Антонович, молоды,— почти не скрывая зависти, произнес он.— Уверенность в себе, крепкие нервы, вера в будущее, которое у вас есть просто в силу возраста. Мне труднее.

Мне показалось, что он сидел. Давно. Еще, скажем, при Совдепе. Что-то такое мелькнуло у него в памяти, когда он говорил о будущем. Ого.

— Я понимаю.

— Хорошо. Так вот. Лет тридцать назад наша с вами страна, по глубочайшему моему убеждению, во множестве наук обгоняла весь остальной мир годков этак, знаете, на двадцать. Демократическое вранье, что ученому лучше всего работать на свободушке.

— Вы думаете? — вежливо уточнил я.

— Думаю, Антон Антонович! — убежденно повторил он.— И думы свои подтвердил экспериментально. Лучше всего ученые работают за решеткой. Там, где с них сняты заботы и о быте, и о досуге. И о покупках, и о ценах. И об отпусках, и о подругах, и о всяких там хобби. Но зато и самоутверждаться больше нечем, как только, знаете, работой. Спасаться от унижения и тоски больше нечем. И ум, и душа, и силы телесные, ежели учесть полное отсутствие подруг,— все в одну точку бьет. Лично для ученых это, знаете, ужасно, отвратительно и смертельно подчас. Но для науки это черт знает, как хорошо!

— Интересная мысль,— сказал я.— Но вот тогда вопрос — зачем, в таком случае, вообще наука?

Он запнулся. Я пожалел, что его прервал,— и зарекся на будущее вплоть до особого распоряжения.

Надо было дать ему выговориться. Он не врал и не выдумывал даже. Забавно — он говорил сейчас о самом сокровенном. Я чувствовал, что ему об этом поговорить, в сущности, не с кем; давным-давно не с кем. Он был не лже-Евтюхову подлому чета. Он меня вовсе не провоцировал и прощупывал — он искал реального контакта.

Он единомышленника искал, Господи!

— Об этом чуть позже, — сказал он. — Сначала обо мне.

— Простите, — совершенно искренне проговорил я.

— Потом было некоторое, исторически весьма короткое время, когда НИИ стали малость посвободней тюрем. На ученых свалился проклятый быт. Все эти хлопоты, сопряженные со свободной жизнью, — жены, дети, пропитание, отпуска, поликлиники... Но зато, знаете, выручало то, что наука не была ориентирована на немедленный применимый результат. В семидесятых, знаете, мы торчали в очередях, но захлеб спорили о внеземной жизни, о кварках, о темпоральных спиралях... Не за деньги, а потому, что нам это было интересно, интереснее очередей! А, скажем, американцы, которые не торчали в очередях, непринужденные беседы за коктейлями вели в лучшем случае о спорте — какая же все-таки команда какую отлупит в будущую среду, «Железные Бизоны» или, понимаете, «Бешеные крокодилы». И потому быт, при всей его омерзительности, не мешал тем, кто хоть чуть-чуть имел извилин подо лбом и за душой. Наоборот — помогал. Помню, от очередей, знаете, лучше всего было отключаться размышлениями. Именно в очередях мне приходили в голову самые замечательные мысли.

Ну-ну.

Я тут же вспомнил, как па Симагина осенило нечто совершенно гениальное в ТОТ день, поутру казавшийся таким чудесным, а на поверку оказавшийся таким ужасным. Когда мама заболела. Когда кончилось детство.

В очереди в химчистку его осенило!

Мы с ним часа два, наверное, парились там,— и вот, жужжа, налетела откуда ни возьмись муза с логарифмической линейкой!

Что-то в рассуждениях Бережняка было. Неужто он прав? Но действительно, чего ради тогда...

Какой Сошниковский вопрос вдруг выскочил. Чего ради — что?

Не о том мне сейчас надо думать.

Поддавки.

— Не буду спорить,— сказал я угрюмо.— Я еще мелковат был, но охотно вам верю. Все говорит за это. Только что проку теперь судить да рядить о том, что не сбылось. И какое отношение...

— Как вы хорошо, уважаемый Антон Антонович, это сказали. Что проку? Есть прок, есть. Сейчас вы поймете, к чему я клоню. Пока нам важно понять, что именно благодаря столь специфической обстановке наука наша ушла, знаете, так далеко вперед, что сейчас это просто даже не оценить. Просто не оценить. Только беда-то была в том, что все эпохальные открытия оставались втуне и просто складывались в тайную копилку на случай, как пел когда-то Высоцкий, атомной войны. А когда погиб СССР, сверхсекретность сыграла злую шутку. Разворачивалось достояние двадцать первого, а то и двадцать второго века не самими учеными, а либо полуграмотными, знаете, начальниками институтских первых отделов, либо совсем неграмотными секретарями, знаете, райкомов. Ученые, правда, получили свободу разговаривать про свободу, но она им быстро опостылела, ведь им от этого не только, знаете, личных яхт и самолетов не перепало, но даже советская пайка перестала перепадать. А собственники их открытий торопливо распродавали все первым попавшимся покупателям,— даже не очень понимая, что именно продают, и о цене, знаете, имея представление самое слабое. Самое слабое. И потому продавали

втридешева. Только бы, знаете, успеть схватить хоть сколько-то зеленых за вот эти файлы, или эти ампулы, или эти формулы, или эти ящички... А покупатели хватали тоже впопыхах, мелкой нарезкой. И потому-то, заметьте, воспользоваться покупками... да что там воспользоваться — разобраться! — не имеют ни малейшей возможности. Ах, любезный Антон Антонович, голубчик! Что там было и утекло? Антигравитация? Механика предотвращения землетрясений и тайфунов? Системы сверхсветовой коммуникации? Создание дешевых и неотторгаемых искусственных трансплантатов? Полная расшифровка генов? Принципиально новое понимание того, как играет с нами исторический процесс? Никто не знает. Понимаете? Никто не знает! Мне вот в свое время довелось работать под началом замечательного ученого — вам его имя ничего не скажет, разумеется, а тогда он был одним из корифеев так и не состоявшейся науки, биоспектральной так называемой...

Вот тут я едва не потерял лицо.

Упоминание термина, который я в детстве слышал чуть ли не по двадцать раз на дню, меня едва из кресла не вышибло. Тесен мир? Бережняк попал в точку — то есть все эти дела давно минувших дней были для него, видимо, ясны предельно, и он отнюдь не просто бредил. Не совсем бредил. А может, и совсем не бредил?

На самом-то деле я ведь действительно так и не ведаю, что в конечном счете стряслось с этой, например, биоспектральной, о которой па рассказывал нам с мамой столько прекрасных сказок.

— Разработки начинались перспективнейшие, поверьте. И куда все делось? Опять-таки, никто не знает.

Честно говоря, я совсем не такого разговора ожидал от долгожданного своего каменного гостя. Я даже растерялся слегка и на какое-то время совсем перестал вставлять полагающиеся мне медицинские и директорские

реплики. Куда ж это его несет? Мужик-то симпатичный, вот беда!

— Викентий Егорович, — мягко сказал я и откинулся на спинку кресла. — Я понимаю вас. Я понимаю вашу горечь и боль. Но поближе бы к тому, что вас лично беспокоит. Или я, простите, задам прямой вопрос: вы зачем пришли?

Он помолчал, вглядываясь в меня испытующе — но по-человечески испытующе, отнюдь не как на рубанок, который то ли пригодится, то ли нет, то ли покупать его, то ли оставить на прилавке...

— А вас лично, Антон Антонович, это все не беспокоит? — вопросом на вопрос ответил он.

Я поколебался. Мне не хотелось с ним играть — ни в поддавки, ни во что иное. Он, наверное, все-таки бредил — но он был честен, и это подкупало. Его хотелось защищать, как Сошникова.

— Не травите душу, — сказал я.

Он сочувственно улыбнулся.

— Потерпите еще немного, доктор, — ответил он. — Вот вы упомянули только что некоего пациента, который получил приглашение и должен был бы вскоре уехать из страны. Вы, уважаемый Антон Антонович, никогда не задумывались, каким принципом руководствуются западные коллеги всевозможных наших талантов, одних приглашая поработать к себе, а других вообще как бы не замечая?

— Честно говоря, не задумывался, — сказал я.

— А не хотели бы попробовать задуматься?

— Викентий Егорович. Зачем вы пришли?

Он уставился мне в глаза требовательно и горько.

— Чтобы попросить вас задуматься.

Я вздохнул, сторбившись в своем кресле.

— Хорошо. Задумаюсь. Дело обстоит довольно просто, полагаю. Кто успел себя как-то подать и отрекламировать, чаще всего через ту или иную диаспору, — тот заморский пирожок и скушает. А кто только па-

шет, будь он хоть семи пядей во лбу, так и будет сохранять тут поджарую фигуру на щедротах Родины, равных трети прожиточного минимума...

Он покивал.

— Взгляд правильный, честный — но обывательский. Возможно, так было еще каких-то пять-семь лет назад. Возможно, в какой-то весьма небольшой, знаете, степени это и по сей день так. Но я абсолютно убежден, что основной принцип изменился. За время, прошедшее после той дикой скупки, наши зарубежные коллеги сумели кое-как разобраться, что именно они купили и чем это ценно. Но воспользоваться не в состоянии в силу разрозненности и хаотичности материалов. Разведка же у них работает вполне, знаете, удовлетворительно. Вполне удовлетворительно. Выяснив, кто из наших специалистов участвовал в работах над тем или иным особенно заинтересовавшим их непонятным осколком, они теперь любезно, этак делая милость, приглашают их в свой рай. Поучиться у них, знаете, деловитости... Гуманитарную заботу проявляют, — он перевел дух. Пальцы рук его нервно подрагивали. — Им там отчаянно нужны люди, которые им объяснят толком, что же такое они накупили, и доведут скупленное до ума! Им же самим такую задачу не вытянуть!

Господи, потрясенно подумал я. Бедный мужик.

— Вам не обидно? — тихо спросил он. — Вам не тошно от такой перспективы?

— Какой? — столь же тихо ответил я.

— Что наши, не побоюсь этого слова, исторические соперники, вечные враги — станут, да еще и с высокомерной миной, как, знаете, благодетели, пользоваться наработками наших гениев, практически бескорыстно и с полной отдачей творивших в советскую эпоху! А неблагодарные, вскормленные и воспитанные рынком ученики этих гениев, подросшие, наработавшие кой-какие ремесленные рефлексy, за двойную пайку им еще и растолкуют все!

Я помолчал. Надо было срочно выбирать линию поведения. Он меня вербовал, это ясно. Вернее, готовил к вербовке. Чутье у него, судя по всему, — дай Бог всякому. Одно неверное слово — и вербовки не будет; и я так и не узнаю, для чего ему нужен.

Честность — лучшая политика? Чего проще!

— Тошно, — совершенно искренне проговорил я. — Да, тошно, Викентий Егорович. Ну, и что с того?

Он молчал. И тут меня будто поленом вразумили.

А ведь, пожалуй, можно догадаться, что ему от меня нужно.

Я резко наклонился в кресле вперед и, пристально уставившись Бережняку в глаза, негромко отчеканил:

— У меня возникло такое чувство, Викентий Егорович, что вы не лечитесь ко мне пришли.

Он выдержал взгляд. И через несколько очень долгих секунд ответил:

— Вы правы, голубчик Антон Антонович. Мне нужна от вас помощь совершенно иного свойства.

— Слушаю вас, — проговорил я.

— Запад ведет против нас необъявленную войну. Мне неведомы причины его идиосинкразии к России — чтобы в этом разобраться, нужно быть историком, культурологом, я же всего лишь простой биофизик. Но то, что такая идиосинкразия существует исстари, давно не вопрос. Давно не вопрос. Это просто не подлежит сомнению.

Он говорил теперь совсем иначе. Говорил, как вождь.

— Наша экономика, наши властные структуры Западом уже полностью съедены, и что-то поделать с этим в обозримый период мы не можем. Единственный ресурс, который у нас еще остался и который, в отличие, скажем, от минералов или лесов, кое-как все ж таки возобновляется, — умы. Умы, Антон Антонович, голубчик! Именно от наличия или отсутствия умов будет впоследствии зависеть, удастся ли переломить

ситуацию, или стране действительно конец на веки вечные, безвозвратно. Не от нефти, не от конфигурации границ, не от своевременности выплаты пенсий старикам — только от этого фактора, одного-единственного! И наши враги это прекрасно понимают. И у них, знаете, все козыри в этой игре.

Он держал спину очень прямо и глядел мне в глаза прямо. Твердо. С отчаянной горечью всего лишь.

— Если бы я был президентом, я постарался бы остановить утечку мозгов экономическими средствами. Всю экономику бы бросил на это, клянусь. Потому что нет у страны сейчас важнее задачи. Но в моем положении у меня такой возможности нет. Ничего нет, кроме понимания, что утечка должна быть прекращена любой ценой! И в первую очередь — утечка тех, кто даже не по собственной инициативе едет на ловлю счастья и чинов, а кого, так сказать, любезно приглашают! Кто в ближайшее время будет растолковывать и сдавать противнику лучшие из наших открытий!

Глаза у него уже полыхали наркотическим пламенем. Но то был не героин, то был пламень веры. Игнатий Лойола... Будет людям счастье, счастье на века! Вот уж будет!

— Я вас понимаю, — медленно проговорил я.

— Надеюсь, — ответил он, смягчив тон. — Надеюсь, что понимаете. Мне посчастливилось быть случайным свидетелем того, как позавчера вы, несколько перебрав, кажется, водки... в сущности, печалились именно об этом.

А вот тут он соврал. Не было его в зале кафе. Но ему, конечно, передали — сначала бармен, потом тот парень, который ко мне подсел.

— Да, был такой казус, — я чуть усмехнулся. — Я очень расстроился из-за несчастного случая с моим последним пациентом, с Сошниковым, я вам говорил. И, конечно, мне было очень обидно, что пациент, который

оказался мне весьма симпатичен и в которого мы вложили определенную толику усилий, решил покинуть страну.

— Он решил сам или его позвали?

— Он мне сказал, что получил приглашение. Но он историк и социолог, вряд ли он ценен для оборонки, — я вдруг, словно бы глянув на наш диалог сверху, сообразил, что с какого-то момента мы уже беседуем как соратники. С точки зрения развития спецоперации это было неплохо. Даже хорошо. Но с моральной... С моральной — тошнехонько.

— Не скажите, — возразил Бережняк. — Я повторяю: понимание хода истории подчас может оказаться более мощным оружием, чем атомная бомба. Ближайший пример: Сталин. Пока он оставался, знаете, марксистом и понимал, куда и как идет мир, пока осаживал своих вояк, Троцкого или Тухачевского, — в политике его никто не в состоянии оказался переиграть, ни внутри страны, ни вне. А стоило ему свихнуться на чисто военных методиках — сразу, понимаете, ошибка на ошибке.

Ну-ну.

Он помолчал.

— Как вы думаете, Антон Антонович, если бы году этак в сорок третьем ученые, занятые в «Манхэттенском проекте», решили вдруг по приглашению немецких, знаете, коллег переехать на время поработать к Гитлеру, как отнеслась бы к этому американская демократия?

— Думаю, — медленно ответил я, — этим ученым всячески постарались бы воспрепятствовать.

— Вот именно. Вся-чес-ки! — по слогам повторил Бережняк. — На войне, как на войне! Не правда ли?

Честно? Договорились, будем честными. Игра у нас нынче такая.

— Не знаю, — сказал я.

Теперь пришла его очередь, впившись взглядом мне в лицо, резко наклониться в кресле ко мне — так что

он едва не ударился грудью о край разделявшего нас стола.

— Насколько мне известно, вы однажды имели уже счастье защищать Родину. И, несмотря на молодость, делали это вполне достойно. Вам предоставляется шанс сделать это снова — и на войне куда более серьезной. От которой зависит выживание России в целом.

Да что ж это меня от него так вдруг затошнило?

Из-за патетики, наверное. Если бы он все это же произнес по-человечески, я отнесся бы к его словам серьезнее. Но шаблонным пафосом он все сгубил.

Не все. Но многое.

— Чего вы от меня хотите? — глухо спросил я.

— Ничего, голубчик Антон Антонович, ничего. Продолжайте работать, как работали. Открою вам небольшой секрет с целью укрепления взаимного доверия: волею судеб человек, который давал мне основную долю информации о том, кто, когда и куда собирается уезжать, к великому моему сожалению, более не сможет этого делать.

От него отчетливо пахло смертью, и я сообразил: это же он про Веньку! Вот кто был его информатор! Точно, он же статистик... был. А они его — того. За что?

Какие-то тени прежних по поводу Веньки чувств — настороженности и тревоги, лютого недоверия, отращения — время от времени долетали от Бережняка, периодически чуть разнообразя валившую из него лавину мрачной, безумной правоты; но разобраться в тонкостях у меня пока не получалось.

— Мне нужен новый информатор. А через ваше учреждение проходит львиная доля интеллектуальной элиты города. Да и не только нашего города, насколько мне известно. Поэтому о каждом из ваших пациентов перед окончанием курса лечения вы будете выяснять точно: не собирается ли он уезжать, не приглашают ли его. И, выяснив, сообщать мне.

— Вопрос о доверии — вопрос не праздный, — медленно проговорил я через несколько мгновений после того, как он закончил. — Откуда мне знать, не провокатор ли вы?

Он задрал голову и глянул на меня как бы сверху вниз.

— Ниоткуда, — ответил он. — Чутье гражданина России должно вам подсказать.

Да, подумал я. Самый человечный человек. В натуральную величину.

— В конце концов, и я перед вами беззащитен, — сказал он. — Я ведь тоже не могу исключить, что в момент нашей следующей с вами встречи меня не будет поджидать, скажем, засада ФСБ или, знаете, Интерпола какого-нибудь. Но я иду на риск. Ради России я иду на риск.

— И что вы будете делать с этими данными? — спросил я.

Он сплел пальцы рук на остром тощем колене, обтянутом тонкой серой тканью поношенных брюк. Плечи его ссутулились, и лоб пошел морщинами.

— Все это, голубчик, вас совершенно не должно касаться. Совершенно не должно касаться. Едет — не едет, вот и все. Дальше уж моя забота. Только моя, — тяжело повторил он. — Но крови мы с вами проливать никогда не будем. Никогда не будем. Даю вам, знаете, слово.

Он помолчал. Весь его апломб вдруг улетел куда-то, и на миг я ощутил его ужас. И ту безысходность, безвыходность ту, в которой он жил.

— Я ведь все понимаю, Антон Антонович, — тихо и с жуткой тоской проговорил он. Словно волк завыл на луну перед смертью. — Если бы вы знали, как я бы хотел брать их под белые руки и вести, будто юных новоселов, будто новобрачных счастливых в светлые просторные лаборатории, в библиотеки. Если бы вы только знали... Но ведь война, Антон Антонович! Война! И

мы с вами — не более чем партизаны на оккупированной территории!

Меня в пот ударило.

Не будь я навек осчастливлен предсмертным подарком Александры, то мог бы еще засомневаться — искренен он или играет. Уж так театрально это звучало, так театрально...

Он был искренен. Он душу раскрывал передо мной. И это было самым страшным, — что он ВОТ ТАК искренен.

— Я должен подумать, — глухо ответил я.

— Подумайте. Подумайте хорошо и мужественно. Я скоро приду снова, и тогда вы мне ответите.

— А если я отвечу отказом? — медленно спросил я.

Он помедлил.

— Тогда мне будет очень жаль, — сказал он. — До свидания, Антон Антонович, — он встал. И подал мне руку.

И мне пришлось ее пожать!

О, тяжело пожатье каменной его десницы...

— Всего вам доброго. Желаю вам принять правильное решение.

— Я себе этого тоже желаю, — вымученно улыбнулся я. Тут я сказал ему чистую правду.

Он взялся за ручку двери, и снова повернулся ко мне.

— До свидания, Антон Антонович, — повторил он.

Когда он вышел, я верных минут пять сидел и обалдело смотрел на закрывшуюся дверь. У меня у самого будто мозги отшибло дубинкой той правоты, которую он изучал. Всяких я в этом кабинете видал, но вот вождей — не приходилось.

А ведь многое у него переключалось с Сошниковым.

Но они ни в коем случае не нашли бы общего языка. Потому что Сошников старался понять и не лез воевать, убивать и калечить. А этот, наоборот, лезет

воевать, а понимать с легкостью необыкновенной отказывался. Это, дескать, дело историков, а я простой биофизик, но факт есть факт, война идет, посему — пли!

И, как оно водится у вождей, — пли прежде всего по врагу внутреннему, по изменникам и дезертирам, а враг внешний пусть уж обождет, пока у нас до него дойдут руки.

А потому, как оно почти всегда бывает, — беспомощный Сошников пускает слюни и поет «Бандьеру» в настывшей промозглой палате, а этот трудящийся отдает приказания и уверен, что чутье граждан России должно подсказывать этим гражданам кидаться на вражки амбразуры по первому его слову.

Как сказал бы, вероятно, наш интеллигентный президент, — урою. За Сошникова — урою.

Но сразу в ушах зазвучала эта смертная тоска: я все понимаю, Антон Антонович... Я даже вздрогнул.

Встал и, как обычно в моменты тяжелых раздумий о судьбах мироздания, подошел к окну. Но там было уже неинтересно — темнело; и зажигались разноцветные и потому, несмотря ни на что, какие-то праздничные окна в квартирах напротив.

Получается, все-таки, что во всем и впрямь виноваты злобные русские патриоты? Элементарно, Ватсон!

Не складывается. Не складывается.

Во-первых, очень уж просто. Я допер до сей глубокой мысли через полчаса работы со своей отнюдь не исчерпывающей статистикой. А они года три, по меньшей мере, шуршат в своем подполье, — и до сих пор их не повязали, лапушек. Парадокс?

Во-вторых, перемена вектора сюда не вписывается. Какого же рожна сей патриот начал гвоздить именно те умы, кои попытались сохранить Родине верность?

Мысль будто билась о стекло. И надо было ехать к Тоне. Тоска справа, тоска слева.. Я гибну, донна Анна!

Честно говоря, странно, что этого не произошло прежде, — но после общения с этим хоть и изранен-

ным, но все равно замшелым командором я совершенно отчетливо встревожился за Киру и Глеба. Вчера я был, видимо, слишком упоен собой и своими играми, нет их дома — ай-ай, ну и ладно, бродят где-то. А игры-то пошли такие, какие нам до сей поры и не снились.

Словом, я немедленно позвонил Кире. И подошла теща.

Ну, я поздоровался, перекинулся парой фраз. Как-то она неуверенно говорила — словно стеснялась, или ей давали знаки со стороны, что отвечать. Я спросил Киру.

— Она сейчас не расположена, очень устала...

— Но с ней все в порядке?

— Да, с ней все в полном порядке...

— На пару слов хотя бы.

Теща загукала в сторону, ощутимо прикрыв трубку ладонью. Казалось, она в чем-то убеждает Киру, просто-таки уговаривает.

— Здравствуй, Антон,— произнес голос Киры. Я ее едва узнал. Совершенно больной голос.

— Кира! — сказал я встревоженно.— Ты не заболела, Кира?

— Почему ты так решил? — хрипловато и с явственным усилием произнесла она.

— По голосу.

— Нет, Антон. Я здорова.

— А Глеб?

— И Глеб здоров.

— Как диссертация?

— И диссертация здорова.

— Кира, у тебя что-то случилось?

— Нет.

Это была не она.

Это была она, очень похожая на маму, когда мама заболела, а потом ушла от па Симагина и рыдала о Вербицком.

Кашинский, я ведь тебя урою, если ты Киру обидишь. Я сейчас в заводе. Я Сталина видел, теперь мне сам черт не брат!

Таким вот тоном, такими вот отрывистыми фразами мама разговаривала с па в последние дни совместной жизни. Уже только формально совместной. Я все помню.

К сожалению. Лучше бы забыть. Ничего не понимал тогда,— но какой это был ужас... Мир рушился. Медленно так, неторопливо и основательно: трещины, крошево, густые клубы цементной пыли... Почему я тогда не спятил?

— Как операция? — спросил я, изо всех сил постаравшись, чтобы хоть меня голос не выдал. Чтобы вопрос шел в одном строю с предыдущими. Как диссертация? Как операция?

— Антон, я больше с тобой не работаю,— голос у нее просто-таки рвался. То ли от слез, то ли от ангины, то ли... не знаю.— И с Кашинским больше встречаться не намерена. Ни с Кашинским, ни с кем. Прости. Считай, я тебя...— у нее зажало горло. Она прервалась, и я услышал странные сдавленные звуки, то ли бульканье, то ли горловое квохтанье... я лишь через секунду сообразил, что она едва сдерживает истерику. Справилась.— Считай, Антон, я тебя предала. Одним сотрудником у тебя стало меньше.

Двумя, подумал я, почему-то сразу вспомнив о Коле. Проникающее ранение в область печени... Избави Бог.

— Киронька, да что случилось? Может, мне приехать? Хочешь?

Трубка стукнула, положенная, видимо, на телефонный столик, а еще через мгновение раздался чуть растерянный голос тещи:

— Антон, извините Киручку, но она убежала к себе. У нее какие-то огорчения. Я и сама толком не знаю — и стараюсь не приставать с расспросами. Ей нужно прийти в себя.

— Понимаю. На работе?

— Вероятно. Хотите с Глебом поговорить?

— Н-нет, — после короткого колебания ответил я. — Я тоже тут... на бегу.

— Я так и думала, — с достоинством и даже несколько торжествуя проговорила теща и повесила трубку.

А о чем я мог бы сейчас с ним говорить? Будь умницей, слушайся маму, вспоминай меня пореже? Так он и сам все это делает.

Так.

Так-так-так. Что-то я, кажется, не то сделал.

Только этого сейчас не хватало.

Я прижался кипящим лбом к холодному стеклу окна и стоял в этой позиции, верно, с минуту. Вот тебе и донна Анна.

Ладно. Как учил нас в окопе близ станицы Знаменской старшина, назидательно воздев короткий и лохматый кубанский палец: «Шо есь баба? Баба есь мина замедленного действия. То она лежить себе тихохонько, полеживает, а то удруг кэ-ак бабанеть! Усе кругом удребезги. И хрен поймешь, с чего она бабанула. Ни с чего, просто момент в механизме натикал...»

Ладно. Живы, здоровы — и слава Богу, по нынешним временам это уже немало.

А поеду-ка я к родителям, со сладостной оттяжкой подумал я. Вот уж где можно отмякнуть. Всегда.

Я надел куртку, попрощался с Катечкой и вышел в слякоть. Побрел к стоянке, запихнув руки поглубже в карманы и стараясь не глядеть по сторонам, на бесконечные «Фор рент», «Фор селл» в пустых витринах. Партизан под оккупантами, елы-палы. Маша, Маша, тридцать третий больше не выбивай, все выдули, алкаши проклятые! — Лэдиз энд джентльмен, зе портвайн намбер серти сри из солд аут, сэнк ю!

Сдается, продается...

Не бьется, не ломается. А только кувыркается.

Я не стану рассказывать, как был у Тони. К делу это не имеет ни малейшего отношения, — а у меня до сих пор перехватывает горло, стоит только вспомнить, как она на плече ревела у меня, как... нет, не стану.

Деньги я ей втюхал, разумеется.

И, пожалуй, не стану я рассказывать, как провел вечер у мамы и у па Симагина. Это тоже не имеет отношения к делу, а пытаться на словах изобразить тепло и безмятежность... Великий писательский дар надо иметь. Полвека назад были фантасты, до мозговых грыж тужившиеся описать светлое коммунистическое будущее, — читать невозможно их дребедень. Страница бреда — страница сюсюканья. Потом опять страница бреда — и опять страница сюсюканья. Не стану я опошлять своего коммунизма, своего рая. Своей колыбели.

Разумеется, они меня поили, и кормили, и оставляли ночевать. Разумеется, счастливая мама тараторила, сама спрашивая и сама отвечая, и штопала мне правый носок, каким-то чудом углядев, что он уже засветился на большом пальце и вот-вот прохудится; а па больше помалкивал да смотрел серьезно, и о чем-то, по-моему, догадывался, — но насчет па у меня всегда было странное чувство, будто он про что-то мое самое главное и самое тяжкое непонятно каким образом догадывается, но по-мужски не подает виду, хотя и подмигивает слегка: мол, если сам захочешь поговорить, я к твоим, сынище, услугам, а первый не начну, не приставуч. Конечно, я, как обычно, и сам не заметил, когда вдруг перестал ощущать себя самодостаточным взрослым, у которого проблем выше крыши, и опять превратился в счастливого и в меру балованного ребенка, в подростка при любящих и любимых родителях — чудесное, замечательное чувство, если им не злоупотреблять. И мы сидели перед приглушенно бубнящим ящиком и без конца пили вкуснящий чай.

Три момента.

На столике у изголовья их постели я обнаружил книгу Вербицкого «Совестливые боги». Она была подписана в подарок и датирована вчерашним числом — значит, дядя, так сказать, Валерий был тут у них накануне, и один Бог знает, сколько они просидели и как. Ухитрившись украдкой, пока никто не видит, добраться до подарочной надписи, я с чувством, как когда-то говорили, глубокого удовлетворения прочел: «Ася, Андрей! Вы это, я слышал, читали, но пусть у вас будет своя. Спасибо вам за то, что могу вам ее подарить. Теперь, наверное, смогу и что-нибудь написать. Как я рад, что вы снова вместе! Ваш Вербицкий».

Все-таки родители у меня, подумал я, где-то тоже серебристые лохи. Но вот вопрос: будь они иными, кем бы я был сейчас? «Мерсами» бы торговал? Да Боже упаси!

А еще я подумал, что, с какой стороны ни глянь, писатели да прочие художники суть народ инфантильный до крайности. Как для любого карапуза нет большего счастья, чем гордо облагодетельствовать того, кого он более всех любит, продемонстрировав или, паче того, подарив горшок со свеженькой, только что сотворенной какашкой,— так и упомянутые творцы предпочитают в знак особого расположения дарить исключительно продукты своего духовного метаболизма. Больше им нечего, что ли? Или они таким образом родственные души ищут и прикармливают? В таком случае, худо им придется, конец настает этому утонченному способу национальной рыбалки. Бросай уду, фраер, доставай гранату!

Ох, человек, человек, любимая погремушка Всевышнего...

Бряк-бряк-бряк. Нет, плохо, давай сызнава. Бряк-бряк-бряк! Нет, глуховато звучит. А ну, как следует: бряк-бряк-бряк-бряк-бряк!

Какие звуки Он кой уж век пытается из нас вытрясти, если бы знать...

Потом, попозже, я все ж таки попробовал разговаривать па Симагина. И, как обычно, это не составило ни малейшего труда — только обратиться.

Я выяснил, что да, манили его за рубеж, когда здешние дела пошли враздрай. И в лабораторию Маккензи в Штаты, и к фон Хюммелю в Германию, и в Японию к Такео — и от всего он отказался, мотивируя это тем, что бросил занятия биоспектральной оптикой вовсе. Но было это давным-давно, году в девяносто втором — девяносто четвертом, минимум лет за восемь до первого несчастного случая из моей статистики. Так что в обнаруженные мною последовательности он не укладывался — ни в ту, ни в другую.

И третье: я помянул фамилию Бережняка — дескать, приходил такой на собеседование ко мне, и биоспектральную оптику случайно помянул. Па сощурился, стараясь припомнить подробности и одновременно коротенько прикидывая, как получше ответить. До чего славно было чувствовать, что он прикидывает, именно как лучше и точнее рассказать — а вовсе не взвешивает, например, о чем рассказать и о чем умолчать. Есть разница. И поведал, что да, действительно, был у Эммануила такой коллега поначалу, когда па еще только аспирантуру заканчивал. И, по словам Эммануила, коллега далеко не бездарный. Незаурядный коллега. Я его даже помню, задумчиво проговорил па. Такой невзрачный, нелюдимый. Но мы и двух слов сказать друг другу не успели, а поработать бок о бок — и вовсе не пришлось.

Времена были странные, тебе понять трудно, сказал па. Даже Родину любить надлежало только предписанным образом, а ежели ты ухитрился делать это как-то не по лекалу, то запросто мог оказаться среди идеологических врагов. Хотя поскольку, с другой стороны, все ж таки не тридцать седьмой год стоял на дворе, для этого надо было постараться — не просто что-то там в душе испытывать, в голове мыслить и на

кухне трендеть, но засветиться действиями. И вот Бережняк засветился: участвовал в каких-то патриотических рукописных изданиях, подписывал чего-то... Оказался Бережняк в конечном счете диссидент со славянофильским уклоном в сталинизм, вот такая икебана. Даже член какой-то группы, разносившей партократию в пух и прах одновременно и за небрежение русским народом, и за буржуазные послабления. И было против них заведено уголовное дело, явно надуманное; и получил Бережняк сколько-то там лет. А потом следы его потерялись, в лабораторию он вернуться не пытался, и Вайсброд, как ни тужился, ничего не узнал о его послелагерной судьбе.

Па сам этого всего толком не знал и не наблюдал, мелкий был. Все рассказал ему Вайсброд, причем уже довольно поздно — в больнице, незадолго до ухода на пенсию и фактического распада лаборатории. И говорил он о Бережняке весьма уважительно. С пиететом говорил. Например, тот ни разу, скажем, никогда никого не подставил и не обманул. Никогда не участвовал в институтских играх и дразгах. Даже толикой антисемитизма себя не попачкал. Исключительно порядочный и надежный человек. Когда о самом Вайсброде поползли тщательно инспирированные слухи, дескать, вот-вот в Израиль отчалит, — за редкими исключениями едва ли не все средненормальные вольнодумцы в институте, любители под кофеек почесать языки за Солженицына, за Сахарова да за зверства КГБ, вдруг как-то разом перестали Эммануила замечать. Бережняк же, никогда с Вайсбродом не бывший шибко близок, взял за обычай подчеркнуто, выбирая момент так, чтобы крутом было побольше народу, подходить к нему поперек толпы и церемонно здороваться за руку. И жутко полюбил беседовать с ним о долгосрочных перспективах: через год-полтора вы сможете... думаю, буквально через пару лет мы с вами... При этом, скажем, когда Галича шандалахнуло в его Париже телевизором и трудящиеся

принялись игривым шепотком, как тогда водилось, предполагая, что это опять происки злых чекистов-ликвидаторов, Бережняк заметил коротко, и, похоже, не считывая ни в ком найти ни малейшего понимания: «Собаке — собачья смерть». Что с ним будешь делать? Портрет Сталина на столе держал. Убеждения такие у человека!

Жаль, сказал па, Вайсброд умер — он рад был бы узнать, что Бережняк жив и даже творить собрался...

Ох, не знаю, подумал я, не знаю, был бы Вайсброд рад...

Но смолчал, разумеется.

Вот такая была получена мною информация. Интересная, что говорить, и добавляющая некие немаловажные для психолога штрихи. Ты с ним помягче, предупредил па. Ему, надо полагать, досталось изрядно. Я в ответ рассказал про три отсутствующие пальца. Жуть, согласился па. Но в душе у него может отсутствовать еще больше. Или, наоборот, присутствовать много нового.

Опять как в воду смотрел.

Дискета Сошникова

Конфуций: «Если управление неправильное, государев престол непрочен. Если государев престол непрочен, крупные вассалы восстают, а мелкие воруют. Если наказания строги, но нравы испорчены, не сохраняется постоянство в применении законов. Если не сохраняется постоянство в применении законов, мораль и долг теряют смысл. Если мораль и долг теряют смысл, служилый люд ничего не делает. Если наказания строги, но нравы испорчены, в народе много страха, но мало преданности. Такое государство называют больным».

Все уже было.

Можно придумать самые справедливые и гуманные законы. Но в условиях дефицита порядочности у закон-

ников-исполнителей эти законы в самый миг их принятия, безо всякой паузы, будут становиться таким же объектом купли-продажи, как, скажем, презервативы или макароны. Порядочность же не существует вне культуры. А культура — это вовсе не начитанность, эрудированность, внешняя воспитанность и так далее. Это устойчивая сориентированность на традиционные нематериальные ценности.

В благополучных обществах возможности для проявления лучших человеческих качеств уменьшаются, поскольку их и применять-то особо негде; а возможности для проявления худших остаются, по крайней мере, на прежнем уровне.

С начала времен до наших дней главная мечта государства: сделать так, чтобы на все раздражители подданные реагировали одинаково. В идеале — поголовно все. Чтобы сто процентов населения на каждый чих правителя, на каждое дуновение из-за кордона, на каждое облако в небе реагировали с единообразием солдат в строю, слышавших: налево! направо!

Эта мечта особенно влияет на поведение государства по отношению к подданным, когда оно пытается навязать им себя в качестве их главной цели.

Древний Китай, середина IV века до нашей эры, реформа Шан Яна: раз все люди стремятся к выгоде и избегают ущерба, следует положить им награду за старательное и успешное соблюдение предписанного и наказание — за несоблюдение. Что именно предписано, — народу должно быть все равно.

Так возникло право, абсолютно свободное от морали. Нацеленное исключительно на то, чтобы поставить каждого человека один на один с государством и его аппаратом подавления и поощрения. Человек, словно

марионетка, должен был быть подвешен на ниточках наград и наказаний.

Это — первая в истории человечества серьезная попытка создать тоталитарный режим.

На пути всех подобных попыток, от Шан Яна до Сталина и Гитлера, вставала культурная традиция. Именно она обуславливала недолговечность тоталитарных режимов. На идеологизированность обычно кивают как на питательную среду тоталитаризма, — но она то как раз и является основной реальной помехой диктатуре и вожделенному для нее единообразию.

Помимо требований государства, реализуемых им при помощи законов, существуют требования морали, поддерживающие срабатывание в обществе традиционных связей: богов и верующих в них, родителей и детей, учеников и учителей, мужчин и женщин, друзей... Награды и наказания, получаемые внутри этой системы, в значительной степени лежат в сфере переживаний — нематериальной и зачастую прямо антипрагматической: человек либо чувствует себя хорошим, либо угрызается совестью.

Поэтому в идеократических обществах, как правило, есть чем ответить на бесцеремонное насилие государства: религиозным фанатизмом, верностью отеческим богам или иным идеалам и принципам, преданностью клану или индивидуально кому-либо из родственников, учителей, друзей и пр., чувствами индивидуальной чести и порядочности, исступленным бесребренничеством и подобными духовными противоядиями.

То есть в них существуют ценности, которые можно с успехом противопоставлять прагматическим ценностям пользы и вреда, ценностям осязаемых, съедобных наград и каторжных, палочных и голодных наказаний, при помощи которых подчиняло себе человека

государство. И, что не менее важно, ориентация на такие ценности всегда могла дать референтную группу, коллектив единомышленников. Человек, презревший казенные награды и наказания и потому выброшенный из государственного колдовращения, никоим образом не был обречен на полное одиночество.

Пример: хотя бы трагедия Антигоны.

По введенному государством закону хоронить братьев нельзя. Наказание — смерть. Антигона нарушает закон ради традиции и идет на смерть. У нее есть РАДИ ЧЕГО это делать. Она ощущает себя честной, правильной, выполнившей свой долг. Совесть ее чиста. Довольны боги, довольны предки. Государственная польза — тьфу. И симпатии на ее стороне (в том числе и наши, хотя мы не верим ни в тогдашних богов, ни, тем более, в тогдашних предков). Она — героиня.

Парадоксально, что в постиндустриальных, деидеологизированных обществах, априори считающихся царствами свободы уже потому только, что власть идеологии в них разрушена, эти противовесы исчезают и перестают срабатывать.

Личная выгода и невыгода, МАТЕРИАЛЬНЫЕ награды и наказания становятся единственными ДУХОВНЫМИ ценностями. В условиях господства религии индивидуального прижизненного успеха, который к тому же измеряется лишь в доступных массовому сознанию величинах — то есть количественных и вещных, человеку нечего противопоставить ему в сердце своем, ибо в этом сердце уже ничего иного нет.

И человек становится-таки марионеткой на ниточках наград и наказаний. То есть наконец-то становится стопроцентно управляемым, и, вдобавок, сохраняет при этом иллюзию свободы.

При архаичных фашизмах насилуемые подданные, как правило, имели духовную альтернативу государственному подкупу привилегиями, повышением в должности или увеличением зарплаты, которые государство сулило в обмен на безоговорочную покорность. Им было РАДИ ЧЕГО сопротивляться, РАДИ ЧЕГО отказываться от соблазнительно висящих перед носом посясторонних благ. Именно поэтому соблазн награды государству приходилось форсировать страхом наказания. Не клюешь на привилегию — тогда расстрел. Не клюешь на повышенную должность — тогда лагерь. Не клюешь на увеличение зарплаты — тогда увольнение, отсутствие зарплаты вообще и полная нищета.

Но ведь именно массированное применение насилия для нас, по сути, и является тем единственным качеством нацизмов, фашизмов и тоталитаризмов, которое делает эти режимы столь неприглядными и нежелательными. Только оно. Отнюдь не государственные цели, которые при помощи такого насилия достигаются.

Эти цели нас интересуют в весьма малой степени, а зачастую и вовсе не интересуют, — тем более, что у государств, вне зависимости от господствующих в них режимов, цели, как правило, однотипны. Критерием оценки режима, отнесения его к царству свободы или царству насилия, служат лишь применяемые этим режимом к своим подданным средства.

Привычка до сих пор так сильна в нас, что нам и в голову не придет назвать тоталитарным режим, в котором насилие не применяется массово, в котором нет, например, СС или НКВД.

И мы не разглядим тоталитаризм, который достиг наконец предела своих мечтаний и так подвесил подавляющее большинство своего населения на ниточках материальных наград и наказаний, что в приме-

нении массивованного насилия он ПРОСТО НЕ НУЖДАЕТСЯ. Потому что единого на всех соблазна личного жизненного успеха и столь же единой на всех угрозы личного жизненного неуспеха достаточно, чтобы заставить граждан, лишенных альтернативных ценностей, реагировать на тот или иной внешний раздражитель единообразно. А если кто-то все же ухитрится выбиться из строя, он окажется в полной изоляции. Его не будут арестовывать и пытаться те, кому это положено по работе. Над ним будут просто смеяться — все, сами, от собственной души. Это, пожалуй, страшнее.

И мы с готовностью будем называть тоталитаризм ТОТАЛЬНОГО РЫНКА так, как он сам себя называет — свободным миром. Ибо поведение индивида действительно свободно. Выбор уступить соблазну или пойти ему наперекор предоставлен как бы ему самому.

Но кто предпочтет голодать НИ РАДИ ЧЕГО? Кто предпочтет голодать собственной волей, кто выберет нищету и одиночество сам, если это ЛИШЕНО СМЫСЛА?

Представим Антигону, которой за похороны братьев грозит понижение в окладе на триста восемьдесят рублей (или долларов, если дело происходит в противоположном полушарии), а за предписанное поведение — премия в размере двух МРОТ (или оплаченной поездки на Гавайи). И она чешет в затылке: два МРОТ на дороге не валяются! А с другой стороны, вот так запросто подарить казне триста восемьдесят рублей? Да с какой стати? Да на эти деньги я... И далее следует долгий и весьма квалифицированный мысленный перебор того, что можно сделать на эти деньги и что надлежит сделать в первую очередь, приоритетно. Более ни в какие сферы пытливая мысль современной Антигоны, стоящей перед этим жестоким выбором, не заносится.

А тут еще подружки подзуживают: два МРОТ! Да я бы на твоём месте ни секунды не колебалась, дурында ты этакая, идеалистка недоделанная...

Не только рабочая сила — а даже это в своё время так не нравилось Марксу — становится товаром. Это еще пустяки. Товаром становятся ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА.

Тот, кто еще не принялся выставлять на честный, открытый, всем доступный, АБСОЛЮТНО НЕ ЗАЗОРНЫЙ рынок свою порядочность, достоинство, мужество, слабость, хитрость, нечистоплотность, сексуальность, фригидность и т.д., — в глазах всех окружающих выглядит полным дураком, с которым приличному человеку не следует иметь дела.

Кэнко-хоси, средневековая Япония: издревле среди мудрых богатые — редкость.

Но наше время родило прямо противоположную мудрость: если вы такие умные, то почему не богатые? В одной этой трансформации, как в капле — океан, угадывается направленность прогресса, предложенная евроатлантической цивилизацией.

В милитаризованное советское время эта же максима звучала чуть иначе: если вы такие умные, то почему строим не ходите?

Тоже хороши.

Правда, в советском варианте ошутима изрядная доля иронии, которая наглядно демонстрировала отстранение от вдалбливаемой государством шкалы ценностей. Даже издевательство над ней, противодействие ей — замаскированное лишь едва-едва. Так, что сама маскировка служила дополнительным смеховым фактором. Нынешний же вариант год от году произносится со все более искренним недоумением. Мало-помалу

люди действительно перестают понимать, как может ум не конвертироваться в бабки. Если не конвертируется — значит, не ум. Представление об уме все более сужается до представления о деловой сметке и хватке, оборотистости, хитрости, подлости; все иное — уже не ум, а блажь, неполноценность. Как может быть горе от ума, вы чо, офонарели? Горе бывает только от глупости!

Многочисленность философских школ и религиозных сект, сколь угодно быющая в глаза и являющаяся, казалось бы, неоспоримым признаком идейного плюрализма, ничего не доказывает и ничему не помогает.

Если приверженцы и буддизма, и иудаизма, если и агностики, и фанатики Последнего Дня, если и маоисты, и либералы, выйдя из своих храмов и проголосовав на своих съездах, ВЕДУТ СЕБЯ ОДИНАКОВО, — что толку в их богословских и философских расхождениях? Наш КГБ в свое время это вполне понимал. Говорили, что в СССР преследуют инакомыслящих. Враки. Мыслить ты мог все, что на ум взбредет, — пока вел себя, как положено. Вот когда твое поведение приходило в соответствие с твоими убеждениями, — тогда ты, что называется, высывался. Преследовали только инакодействующих; а этим, вообще-то, грешат все государственные образования.

А если разница в исповедуемых ценностях не обуславливает различий в поведении, если единственным плюсом общесоциального силового поля служит денежная прибыль, а единственным минусом служит денежная убыль, то, какие бы молитвы ни произносились людьми, жестко и единообразно в этом поле сориентированными, все их убеждения — не более чем индивидуальные вкусы в области туалетных освежителей воздуха. Свобода.

Легальное разнообразие идейных течений и духовная гомогенность общества прекрасно уживаются друг с другом.

Свобода печати тоже не способна быть панацеей. При нынешнем обилии информационных потоков отбор предлагаемых потребителям сведений, их фильтрация становятся совершенно неизбежными — уже потому хотя бы, что ВСЮ информацию предложить невозможно, ее слишком много, ее некогда потреблять. Но всякий, кто фильтрует (фильтруй базар!), не может фильтровать иначе, нежели руководствуясь какими-то критериями: что важно, что неважно? что дать в эфир, чем пренебречь? Однако фильтрация согласно критерию — это уже манипулирование сознанием урнового мяса. В лучшем случае — совершенно произвольное, совершенно невинное; но даже в этом лучшем случае все равно — манипулирование.

Многочисленность независимых друг от друга источников, по идее, должна обеспечивать разнообразие методик фильтрации. Предполагается, что потребитель будет находить информацию, отобранную по наиболее симпатичному для него критерию, и уже ею, как наиболее достоверной, руководствоваться при совершении собственных поступков. Однако с течением времени критерии отбора У ВСЕХ без исключения СМИ нивелируются, приходят к единому знаменателю, и знаменатель этот: критерий ширпотребного успеха.

Просто данный суперавторитет внедряется в сознание потребителя информации (который и так уже к материальной выгоде приник, будто к святым мощам, а от материального ущерба шарахается, как от Сатаны) на разных примерах.

В наше время тоталитаризм и даже нацизм вполне могут обойтись без тоталитарных структур и нацистских методик достижения государственных целей. Без архаично тоталитарных и архаично нацистских способов самосохранения и самовоспроизводства государства.

Есть ли еще у человека ЧТО-ЛИБО, к чему он в силах апеллировать, не желая совершать вынужденные па? Или уже нет?

Только ответом на сей вопрос теперь определяется, что мы видим и имеем перед носом: тоталитаризм или государство, которое, быть может, тшится при помощи сколь угодно жестоких средств им стать — но обречено им не стать, ибо есть у его граждан это самое ЧТО-ЛИБО.

Обречено им не стать.

Действительно, насилующий тоталитаризм всегда непрочен и недолговечен — именно потому, что у подвластных ему людей есть что противопоставить насилию в душах своих и в поведении. Но свободный тоталитаризм проклят. Он стабилен. Он не может быть разрушен изнутри. Он не может даже просто развиваться в силу внутренних факторов, ибо этих факторов нет; чисто экономическое развитие, то есть накопление материальных благ в идеологической пустыне — вот это и есть ЗАСТОЙ.

Именно поэтому неизбежно присущее любому и каждому режиму стремление продлить свое неизменное существование в вечность в наиболее свободных странах принимает форму додавливания неотмирных, идеальных, сказочных ценностей.

Именно поэтому в сфере внешней политики у этих стран основной задачей становится преобразование на свой лад всех государственных образований, еще

существующих в системе иных цивилизационных парадигм. И чем более отличается шкала ценностей того или иного традиционного общества от шкалы ценностей тотального рынка, тем большую нетерпимость со стороны государств рынка оно ощущает на себе.

В этом смысле беловежский переворот и его последствия есть лишь звено глобального процесса. Коммунизм оказался наиболее влиятельной сказкой века — и принял основной удар на себя.

Но и сам-то он был не более чем исторически кратковременной ипостасью базисной системы ценностей православной цивилизации. Поэтому он и не оказал нигде, кроме России, сколько-нибудь серьезного влияния. Его и давили-то уже не столько как коммунизм, сколько как могущественную форму антипрагматизма. И его крах действительно для многих означал доказательство несостоятельности антипрагматизма вообще.

Кажется, Бурбулис (уточнить!): мы должны провести страну через экономическую катастрофу, чтобы покончить с господством идеократического мышления.

В точку.

Умри, лучше на скажешь. Именно за тем все и было.

После такого шока Россия, при всей ее нищете (а во многом как раз благодаря ей, потому что гнаться приходится не столько за роскошью, сколько за хлебом насущным), по темпам движения к тотальному рынку, пожалуй, начала обгонять прежде безусловного лидера этой гонки в никуда — США.

Рост националистических и прямо фашистских настроений и организаций в Европе (в Швейцарии, во Франции, в Дании и во многих иных благополучных и сытых странах осваиваемые партии — уже одни из крупнейших в парламентах) есть не более чем аго-

ниальная судорога, отчаянная попытка противопоставить наступлению тотального рынка с его полной духовной однородностью хоть какую-то сказку, способную сделаться значимой для многих. Беда давным-давно секуляризованной и давным-давно прагматичной Европы в том, что единственная сказка, которую она оказалась в состоянии выдумать в новейшую эпоху, оказалась столь черной. Собственное племя как высшая цель. Неандертальский уровень мечты.

Кстати, по этой же причине у нас до сих пор столь активно голосуют за коммунистов. Им не то что симпатизируют, или разделяют их убеждения, или восхищаются их вождями, — просто еще живо ощущение, что именно и только они являются единственной действительной альтернативой наступлению инстинктивно ненавидимого царства всеохватной купли-продажи.

Конец истории человека — это момент, когда в человеческом сознании окончательно перестанут функционировать идеальные, выдуманные сущности. Когда носители одних идеальных образов перестанут взаимодействовать с носителями иных.

Разговор тогда пойдет лишь о лучшей или худшей реализации профессиональных, ремесленных или, скажем, спортивных навыков. По сути — животных навыков. Олень, который бежит медленнее, и олень, который бежит быстрее. Волк, который прыгает дальше, и волк, который прыгает короче... Все. Человек превратится обратно в животное. Пусть в индустриальное животное — от этого не легче.

Вопрос ЗАЧЕМ или РАДИ ЧЕГО сделается не просто неприятным или нелепым — он станет непонятным.

Конец истории человека настанет с окончанием диалога-поединка между различными вариантами выдумок, придающих человеческой жизни смысл.

Феномен российской интеллигенции

Действительно. Подобного племени — исключительно, как правило, порядочного по своим личным качествам, исключительно талантливого по своим научным и гуманитарным дарованиям, и в то же время отвратительно бестолкового и плаксивого, нескончаемо обвиняющего свою страну и свое государство во всех смертных грехах, в том числе и в своих личных невзгодах — нет и не было больше нигде в мире. Это давно подмечено и доказано.

На протяжении последних ста лет именно интеллигенция наиболее рьяно и неистово требовала изменения существовавшего в стране строя, наиболее настойчиво работала кислотой, разъедавшей основы этого строя, и дважды добивалась-таки изменений — во всяком случае, в огромной мере им способствовала. И оба раза оказывалась за бортом общества, которое после долгожданного изменения возникало.

И в очередной раз с недоумением и обидой всплывала руками — и, едва оклемавшись, возобновляла скулеж.

Дело, думаю, опять в специфике православной цивилизации — волею исторических судеб, единственной ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ цивилизации планеты. Общество, вся система ценностей которого построена на стремлении к некой цели — и потерявшее цель! Государство, призванное быть не более чем хранителем веры — утратившее эту веру!

Что может быть уязвимее и нелепей!

Три века назад государство начало навязывать себя обществу как единственную и конечную цель посюсторонней деятельности. Возникло непримиримое про-

творение между воспроизводящейся через искусство, фольклор, семейное воспитание культурной традицией, согласно которой государство есть не более чем материальный инструмент идеальной деятельности, — и внутренней политикой. Государственной идеологией.

Те, кто в прежних условиях, при сохранении традиционной системы ценностных координат, по своим врожденным качествам становились бы великими аскетами, подвижниками, апологетами и реформаторами, — точно свора, разом потерявшая след, принялись беспомощно тыкаться влево-вправо в беспорядочных индивидуальных потугах отыскать эрзац-ориентиры.

В первые десятилетия, когда государство одержало столько побед и добилось стольких успехов — главным образом военных и внешнеполитических (ликует храбрый росс!), — упоение внезапно обретенной мощью вскружило головы многим. Но, уже начиная, пожалуй, с Радищева, и уж во всяком случае с декабристов и с Чаадаева, начался этот роковой, без начала и конца поиск, мало-помалу вывихнувшийся в ту или иную сторону мозга всякого сколько-нибудь мыслящего человека.

Кстати: да и немыслящего тоже. С течением времени иметь какой-нибудь внутричерепной вывих стало в образованной среде чрезвычайно модным. Без вывиха тебя и за умного-то, за интересного-то не считали. Серый человек. Ничтожество. Раб.

С этого времени поиски смысла жизни приобрели в России характер национального спорта.

Сильно смахивающего на онанизм.

А государство неустанно и яро продолжало навязывать себя как финальную цель. Что именно для тех, кому на роду были написаны духовные подвиги, оказывалось совершенно неприемлемым и невыносимым.

Кстати: нет в формулировке «на роду написано» никакого мракобесия. Мы же не отрицаем врожденных предрасположенностей к математике или музыке.

И вследствие этого давления все искатели, вне зависимости от разительных отличий в позитивном содержании своих рецептов, сходились на полном неприятии государства. На требовании разрушить его до основания — а уж затем... В крайнем случае начинали свои программы с того, что государство ДОЛЖНО то-то и то-то. Но государству было глубоко начхать, что ему советуют, — даже если случайно ухитрялись посоветовать что-то дельное. Это ВВІ мне должны, отвечало оно. Стр-ройсь! Р-разговорчики!

Но главная отрава зрела даже не в этом — а в том, что цель у каждого ищущего оказывалась СВОЯ. Обусловлена-то она была лишь личными склонностями, темпераментом, профессиональными навыками и прочим личным.

Вне обусловленной традиционным суперавторитетом системы ценностей любая придуманная индивидуумом цель обречена оставаться скроенной исключительно для него самого, по его образу и подобию. Человек не изыскивает наилучший, по его мнению, путь к цели, но просто-напросто цель произвольно придумывает под себя.

А для остальных она, к изумлению того, кто ее предлагает, оказывается чудовищно искусственным, чисто рациональным построением, лишенным всякого эмоционального содержания и, тем более, притягательности.

Поэтому каждый скатывался либо в мизантропию, либо в насильственное навязывание своей цели остальным. Мизантропы горестно блаженствовали в полном и

окончательном высокодуховном одиночестве. Выйти из одиночества можно было только путем навязывания.

Но всем остальным, тоже давно уже придумавшим по себе цель, любая попытка даже сколь угодно мирного УБЕЖДЕНИЯ болезненно напоминала осточертевшее давление государства. И ее априори встречали в штыки, не особенно вдумываясь в то, что предлагалось.

Поэтому все эти люди — лично весьма, как правило, добродушные, в быту вполне склонные к компромиссам, к взаимопониманию, к миру в самом широком смысле этого слова — относительно целей друг с другом никогда не могли договориться.

И если вдруг изредка государство все-таки спрашивало их: так что делать-то? — они, десятилетиями дравшие глотки горестными воплями о том, что власть к ним не прислушивается, испуганно отбежали в сторонку, прошептав: сейчас посоветуемся. И лихорадочно советовались, быстро начиная лупить друг друга по головам зонтиками и фолиантами. А самый хитрый, у кого вывих под черепом был больше для моды, кидался к власти и подмигивал: значит так, делать вот что: во-первых — вон тех вон умников всех посадить.

Те, кто по призванию своему суть единственная преграда наступлению тотального рынка, те, чьи духовные усилия должны были бы препятствовать перевариванию России рынком, — раз за разом устраивали такой разброд, что насмерть КОМПРОМЕТИРОВАЛИ САМО ПОНЯТИЕ духовной деятельности и духовного поиска.

Практически все так или иначе вводили в свой идеал понятие свободы. Но о правовой свободе они не имели ни малейшего представления. Она им и не нужна была. И вовсе не ее они имели в виду — хотя не признавали этого, пожалуй, ни на мгновение.

Их интересовала лишь свобода от целеполагающего давления государства — то есть личная СВОБОДА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ.

За редчайшими исключениями — ЕДИНСТВЕННО в этой сфере они чувствовали себя угнетенными.

Все предоставляемые государством блага — достаток, безопасность, защищенность от внешних врагов, внутренняя стабильность — их устраивали как нельзя лучше. В подобных условиях искать смысл жизни гораздо удобней, чем среди неразберихи, скажем, гражданской войны или навалившегося тотального рынка. Поэтому в любой из предлагавшихся ими альтернативных идеалов все эти блага перекочевывали как бы сами собой. Благам, которые обеспечивались государством В НАСТОЯЩЕМ ЕГО СОСТОЯНИИ, ничего в их программах не делалось, хотя само государство тихонько пропадало пропадом.

А остальные — те, кто не склонен был к поиску альтернативных целей — вообще не чувствовали угнетения и понять не могли, с какой такой радости эти малахольные мечутся и стонут. Их стоны начинали проникать в массовое сознание лишь тогда, когда государство докатывалось до лагерей или резких экономических, политических, военных неудач. И тогда простой люд запросто подхватывал: даешь свободу! Долой самодержавие! Партия, дай порулить! Свобода воспринималась как самодостаточная и конечная панацея то от нехватки снарядов на фронтах, то от ГУЛАГа, то от самодурства начальника, то от очередей, то от отсутствия импортных шмоток, то от антиалкогольной кампании.

Однако этот бесцельный призыв к несуществующей цели было очень удобно использовать тем, кто, в отличие от идеалистов, прекрасно знал, чего хочет. Именно потому, что призыв этот был бессмыслен и реально ни-

куда не вел, он просто-таки напрашивался на то, чтобы его использовали ради чего-то куда более простого. Просто уничтожения государства. Просто разрушения страны. Просто захвата власти, наконец.

Два грандиозных катаклизма прошлого века — мертвая зыбь от второго вовсю мотает нас и по нынешний день, в начале века сего — были подготовлены теми, кто хотел свободы исключительно от целеполагающего давления государства, но оба раза их подготовительная работа была использована теми, кто добивался краха государства как такового.

Снова и снова с упорством, достойным лучшего применения, интеллигенты завоевывали себе возможность как следует помучиться похмельем на чужом пиру.

В самой обыкновенной политической борьбе самых обыкновенных государств и клик, знать не знающих и слышать не желающих ни о каких идеалах, целях и прочей интеллигентской белиберде, — они играли достойную то ли сострадания, то ли презрения роль фактора мощного, но несамостоятельного и ничего в реальном раскладе сил не смыслящего.

Трудолюбивые и незлобивые творцы, каждый из которых сам по себе оказался способен осчастливить мир кто новой теорией кварков, кто новой турбиной, кто новым лекарством, кто новой поэмой, — парадоксальным образом все вместе служили разрушению.

В первом случае из этих двух интеллигенция оказалась у разбитого корыта потому, что вдруг — для нее вдруг! — настало, наоборот, время куда более жесткой унификации общей цели. Большевики ухитрились так найти и предложить ее, и она, в отличие от интеллигентских, попала в русло традиции и явилась не более чем осовремененной модификацией извечной цели православной цивилизации: защиты и распространения истинной веры от кишмя кишаших со всех сторон более сильных и богатых басурман — посредством всей мощи государства, ТОЛЬКО РАДИ ЭТОЙ ЗАЩИТЫ

и существующего. Но те, кто исповедовал иной идеал, сразу оказались государству врагами.

А во втором — потому что все цели разом оказались не нужны, нелепы, смешны, а все высоколобые с их потугами служить хоть каким-то идеалам — разом остались в прошлой эпохе.

И тут не может не встать еще один извечный вопрос: кому выгодно?

Тотальный рынок способен скупить и применить в своих интересах любой идеал — и стремление к свободе в том числе. ДУШЕВНЫЕ СВОЙСТВА становятся товаром. Причем вне зависимости от желания покупаемого. Зачастую даже незаметно для него.

Но слишком сильна еще во мне самом интеллигентская закваска третьей четверти прошлого века, когда, скажем, о происках какого-нибудь Вашингтона порядочному человеку своей волей говорить — было просто стыдно. Совсем с ума сбрендил: повторяет лапшу, которую нам на комсомольских собраниях на уши вешают...

Пусть тот, кто помоложе, в ком нет уже такого тормоза, с этого места продолжит.

Однако вот что пусть обязательно учтет: славянофильско-патриотическое крыло диссидентства, возникнув одновременно с западничеством, очень быстро сгнуло напрочь, разбитое Комитетом наголову. Почему? Потому что оно было нужно лишь самому себе; даже от коллег по очередям на допросы любой, кто произносил слова «интересы России» или «русский народ», — мгновенно имел ярлык «черносотенца». Слыть в интеллигентной среде западником было престижно и модно, это свидетельствовало об уме; слыть славянофилом — убого и зазорно, свидетельствовало о дремучей тупости. Западническое крыло прекрасно продержалось весь застой вплоть до перестройки, стало в какой-то

момент рупором реформ, совестью нации, властителями дум и помаленьку рассосалось лишь после того, как дорвалось в конце Горбачева и в начале Ельцина до реальной власти, на деле продемонстрировав свою полную неспособность хоть как-то проанализировать стоявшие перед страной проблемы и тем более — хоть как-то справиться с ними. Да и рассосались эти граждане очень странно: став директорами новоиспеченных (в то время как вымирала вся остальная наука) социологических институтов и фондов, независимыми экспертами и осевшими в Европах вольными мыслителями, то есть опять-таки невзев на чьи дотации с очевидным удовольствием критикуя любое решительное решение и любое дельное дело любой российской власти; ума-то у них действительно палата, и вполне настоящие недостатки они способны мгновенно найти в чем угодно, было бы желание. Именно западники с самого начала получали моральную и интеллектуальную, издательскую и финансовую подпитку извне страны.

То есть на рынок, механически стремящийся все перекроить и перелопатить по своему образу и подобию, были предложены два типа товара, но спросом пользовался лишь один, и производство другого быстро зачахло, став уделом фанатичных и безграмотных кустарей, вконец его скомпрометировавших своими жуткими поделками. Можно, конечно, сказать, что патриотическое направление было архаизмом, а западническое угадало магистральный путь развития, потому так и получилось. Но вот в братских же республиках именно прозападническое диссидентство было шутя разгромлено Конторой и испарилось, а националистическое, несмотря на репрессии, расцвело — и после распада Союза стремглав пришло к власти, лишь после этого начав становиться в той или иной степени прозападническим. Почему? Да потому, что именно оно являлось наиболее опасным и разрушительным для

наднациональной идеологии и интернациональной структуры страны. Западники разных республик могли сохранить единство; националисты обязательно его разорвали бы. И потому внешнюю подпитку в республиках получали не западники, но националисты. То есть опять-таки было предложено два товара — и опять-таки был востребован лишь один; а уж потом он начал модифицироваться на потребу вкусу потребителей.

Важно еще вот что понять. Государства, как и отдельные люди, и группы людей, ежели они осознают некую цель и переживают некий смысл своего существования, вполне способны, затрачивая определенные усилия, использовать рынок для себя, применять его, как собственный инструмент, подчинять его. При отсутствии смысла и цели они, напротив, сами становятся безвольными инструментами рынка и РАБСКИ (вот еще кстати о рабах) идут у него на поводу. Вся законодательная и исполнительная мощь государства совершенно естественно направляется тогда на тотальное искоренение того, что не рынок, того, что не продается и не покупается за обыкновенные деньги.

Две цитаты:

Государь рассмеялся.

— Людей талантливых всегда достаточно. Помнишь ли ты время, когда их не было? Талант — всего лишь орудие, которое нужно уметь применять. А посему я и стараюсь привлекать к себе на службу способных людей. Ну, а коли не проявляют они своих талантов, — и нечего им на свете жить! Если не казнить, то что прикажешь с ними делать?

Бань Гу.

Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует... Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором; борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех.

Протонон Аввакум

В сущности, это два полярных состояния интеллигенции — между которыми ее и крутит, время от времени выбрасывая аж за край.

Прикормленность и сравнительное благополучие при том или ином деспоте, возможность работать — не для себя, разумеется, а для него, — но все-таки неоспоримая возможность реализовывать свои способности и таланты; зато, однако, полная от него зависимость, вплоть до живота своего. Ну действительно, если не проявил таланта с пользой для деспота, — что с тобой делать? Не оставлять же самого по себе! Делать-то с тобой владыка что-то должен — ведь он **ЧТО-ЛИБО ДЕЛАЕТ ПОСТОЯННО И СО ВСЕМИ.**

И на другом полюсе — полная ошеломленность после опьянения свободой, которая наутро оказалась совсем не похожа на ту, долгожданную... Полная личная ненужность в новом мире. Никто не помилует.

Потому что **НЕ ДЛЯ ЧЕГО.**

10. Товарищ Бероев

Я читал допоздна.

Под конец башка уже малость опухла от этих умствований, — видимо, крупноватую дозу я попытался усвоить зараз. А усваивалось непросто. То одинаковость плоха, то, наоборот, разброд; впрочем, я тут не новость — еще на заре цивилизации один из героев «Махабхараты», раздражаясь, что мир слишком сложен и неоднозначен, восклицал: «Противоречивыми

словами ты меня сбиваешь с толку! Говори мне лишь о том, чем я могу достигнуть Блага!»

А, так? Ну слушай, проще не бывает: магазин примкнуть! Огонь во время комендантского часа открывать сразу на поражение. Патрулирование местности производится...

И тогда, разумеется, из каждой подворотни аналогичная простота: получай, фашист, гранату!

Вот и получился диалог равных. Думские прения. Беседа прошла в деловой, конструктивной обстановке. Стороны обсудили... И, главное, все только тем и занимаются, что достигают Блага. Стопроцентная занятость.

Однако оставлять текст на полуслове — вернее, полумысли — мне было невмозготу. Увлекся. Заразился.

Умен ты, Сошников, думал я, в начале четвертого укладываясь спать. Умен, лох ты мой серебристый.

Но дальше-то что?

Ценностные координаты...

А ведь он надорвался, Сошников. Надорвался под неподъемным грузом высших задач, которые сам себе придумал; теперь в этом сомневаться уже невозможно. И побежал на рынок отдохнуть. Быть таким, как он описал, он не хотел, но... Понять ошибку — значит, начать ее исправлять, да, конечно; однако чтобы завершить ее исправлять, надо не только понять, в чем ошибка. Не худо бы еще понять, в чем ее нет.

Я перевернулся с боку на бок.

Дальше-то что? Он тоже не знал.

Нанизать такую уймишу умных слов и фраз и доказать неопровержимо: нужна вера. Вера нужна!

А вот ее-то и нет. От умных мыслей и неопровержимых доказательств ее все равно не прибавляется.

Тогда — геть на рынок.

А у меня с этим как?

Опять перевернулся.

А Бережняк?

Вот уж ему веры не занимать — но во что? Так сразу и не сообразишь. В государство? Нет. Как я понял, для него государство российское, при всей к нему не поймешь какой любви, лишь средство, инструмент — то есть, по Сошникову, он тоже функционирует в рамках этой самой парадигмы православной, только в ее грубо усеченном, без неба, большевистском варианте. Может, в классовую борьбу? Нет. И ему очень легко вообще отмазаться от необходимости понимать, ради чего идет он на свои странные дела: партизаны мы, партизаным помаленьку... Вот оккупанту кишки выпустим, сразу заживем, как в раю.

Лучше рынок, чем такая вера.

Наверное, не я один до сей глубокой мысли додумался. За последние полтора века примеров, ее доказывающих, была такая убойная прорва, что и слепой-глухой мог ее усвоить — на ощупь. Даже если пальцев после лагеря некомплект.

Потому рынок и побеждает. Не он всемогущ — мы безоружны.

Хорошо ли, что он побеждает? Сошников утверждает, что нет. Складно утверждает, но вряд ли его складные фразы меня бы тронули, если б я сам не ощущал: что-то тут не то. Некрасиво как-то, не по-людски.

А утром, занимаясь рукомашеством, я понял, что в навороте последних событий мелькнула еще одна странность — такая мелкая, что я ее, собственно, и не отследил, только занозил душу. И вот теперь заноза догнила до того, что сознание обратило на нее внимание. Странность вот какая: жена Сошникова была готова к тому, что с ее бывшим мужем должна произойти какая-то беда. И очень ненатурально сокрушалась о срыве его зарубежной поездки.

Жена-то тут при чем?

А дочка сказала: жене отнюдь не по нраву был отъезд Сошникова.

И антивирус в виртуальных погонах. Его интересовало — как и в случае со мной, кстати! — кому жена говорила о готовящемся отъезде.

Искал утечку?

Так кустарно искал утечку эфэсбэшник? Держите меня трое...

Ну и клубок.

И, со слов дочки, мама сказала антивирусу какую-то очень странную фразу, обрывок фразы... Я же вам сама. А потом, как выразилась дочь, осеклась и сидит в перепуге.

Жену придется прояснить. Не хочу я оставлять в тылу такое.

Вот так я спозаранку решил, но мне не дали. Все разъяснилось само собой в рабочем, так сказать, порядке.

Репродуктор на кухне пропиликал девять ровно и принялся вываливать очередной ворох тошнотворных новостей, когда в комнате заблеял телефон. Я двинулся туда, поспешно дожевывая и доглатывая. Почему-то мне казалось, что это Кира, и нарочито осаживал себя, не бежал, хотя пуститься вскачь ноги так и норовили. Умом я знал, что это не может быть Кира. Просто очень хотелось. Но опять-таки умом я соображал, что, даже если это она звонит, и вот сейчас я подниму трубку и услышу ее голос — какие слова мы начнем говорить друг другу?

Никаких.

Так что это не могла быть она.

— Алло? — спросил я.

Конечно, голос был мужской. Серьезный, крепкий голос. Незнакомый.

— Могу я попросить Антона Антоновича Токарева?

— Я у телефона.

— Очень приятно. Извините за несколько ранний звонок, но дело довольно спешное, а вчера я, хоть и звонил вам несколько раз, вас не застал.

— Вчера я был у родителей и вернулся очень поздно.

Чего это я объясняюсь неизвестно перед кем, одернул я себя. Странно. Мне это не было свойственно.

— С кем имею честь? — светски осведомился я.

— Полковник федеральной безопасности Денис Эдуардович Бероев, к вашим услугам, — не менее светски ответили с того конца.

Так. Гость пошел просто-таки косяком. И все специфический какой!

— Очень приятно, — сказал я, по возможности напятав голос иронией. — Хотя, сколько я понимаю, скорее я к вашим услугам.

— Надеюсь, обоюдно. Мне бы очень хотелось с вами побеседовать.

— Заезжайте, — ответил я, уже совершенно обнаглев.

Кто бы знал, как меня эта каша достала за какие-то несколько дней! Тут, понимаешь, личная жизнь рушится, надо угрюмо и печально пребывать в прострации....

— Безусловно, — отвечал Бероев с полной невозмутимостью, — я почел бы за честь посетить вас.

Экий Монплеизир. Впрочем, я сам виноват, задал тон.

— Думаю, однако, удобнее было бы у нас. Нам могут по ходу разговора понадобится какие-то справки, уточнения, которые легче делать из моего кабинета.

— Понимаю, — сказал я. — Командуйте, Денис Эдуардович.

Почти Эдмундович, подумал я мельком. Ну-ну.

— Помилуйте, Антон Антонович, я всего лишь прошу. А в случае вашего согласия выполнить мою просьбу — начну предлагать.

— Предлагайте, — сказал я. — Уже можно.

Он и предложил.

Ровно в одиннадцать я был у проходной, и пропуск меня уже дожидался. С чувством не из приятных я

миновал несколько уровней заграждения, на каждом демонстрируя паспортину и каменным лицом выдерживая тягучие сличающие взгляды; в генах, что ли, застряло нечто не располагающее оказываться в подобных заведениях. Как, по слухам, любили повторять в тридцатых: у нас зря не сажают. С тех пор, наверное, и укоренилось в извилинах: лучше с ними даже взглядами не встречаться, а то икнуть не успеешь — и уже сидишь не зря.

Бероев, однако, мне понравился, вот парадокс. Крупный и массивный, красивый, пожилой. Да не в этом дело. От него веяло непритворным стремлением разбираться и натуральным желанием делать это вместе. Уже немало.

— Присаживайтесь.

— Благодарю.

— Еще раз прошу простить за ранний звонок.

— Ничего. Я понимаю, служба.

— Вероятно, я несколько нарушил ваши планы на этот день.

— Сманеврирую. Лишь бы польза была.

— Польза, надеюсь, будет. Закуривайте, пожалуйста.

— Благодарю, не курю.

— Ага, так мне и сообщали. Но, с вашего позволения, я курю. И закурю.

— Ради Бога, Денис Эдуардович.

— Надеюсь, у вас нет аллергии на сигаретный дым, и не курите вы просто из спартанских свойств характера?

— У меня курящая мать и некурящий отец. Импринтинг. Я же мужчина.

— Bravo, Антон Антонович...

Вот так мы выкрутасничали минут, наверное, семь. Я, естественно, не собирался взваливать на себя инициативу перехода к делу — это его забота, раз уж это он меня звал. Хотя интересно мне было не передать как. А ему было, я чувствовал, очень трудно взять быка за

рога. Я понял так, что разговор нам предстоял тягостный — и для него, похоже, значительно более тягостный, чем для меня.

— Я успел немало о вас выяснить за истекшие сутки,— честно сообщил он затем.— Не скрою, чем больше я этим занимался, тем больше вы оказывались мне симпатичны. И буквально в последний момент я решил построить нашу беседу на очень редко применяемом и совершенно бессовестном приеме: на полной откровенности. Причем, коль скоро беседу начинаю я, мне и придется показать пример. Я не стану брать с вас никаких подписок о неразглашении, и просто буду надеяться на вашу уникальную порядочность.

С Кирой или, еще лучше, с тещей ему бы про мою порядочность проконсультироваться, мельком подумал я. Много услышал бы.

— Звучит, как райская музыка,— ответил я, опять подпустив в голос иронию. Но он действительно делал над собой колоссальные усилия. Даже если б не дар Александры, я, наверное, почувствовал бы это по тому, как он курил, то взглядывая на меня, то напряженно и мрачно уставляясь перед собой.

— Позавтракать вы успели? — вдруг спросил он.

— Так точно.

Он вымученно улыбнулся и наконец прыгнул в разговор по существу. По-моему, чуть неожиданно для себя. По-моему, он надеялся еще потянуть, предложив мне, например, чашку кофе.

— Лет пятнадцать назад,— мертво лекционным голосом и заранее подготовленными фразами начал он, не глядя на меня и то и дело присасываясь к сигарете,— в нашем ведомстве, с понятной целью создать очередной эликсир правды, был синтезирован весьма неприятный и сильнодействующий препарат. Я не биохимик, вы не биохимик, и я не буду останавливаться на частностях. При даже самой легкой передозировке

он не выплескивал вовне содержание памяти... э-э... подследственного, но попросту стирал ее. Оставались лишь самые начальные рефлексy и какая-нибудь ерунда, осколки...

Очень характерные эмоции Бероев испытывал. Он говорил правду, и это стоило ему серьезных усилий — разглашал не подлежащее, по-видимому. Но это первый слой, а второй: как он относился к сим изысканиям своего ведомства. Как к малоприятной, но рутинной неизбежности. Как хирург к необходимости хирургических вмешательств. И ему было сейчас противно и стыдно не более, чем хорошему врачу за бездарных коллег: дескать, выдумали тоже — циркульной пилой фурункулы вскрывать...

— Препарат признали неудачным и опасным, работы с ним прекратили, но опытные образцы, естественно, были сохранены. И вот четыре года назад они исчезли.

Он сделал паузу. Я молчал, слушая с доброжелательным спокойным интересом. Он мельком вскинул на меня урюмый взгляд и опять усталился в стол.

— Ну, что значит исчезли... Довольно быстро выяснилось, что их просто-напросто продали. Нашли, кто продал. Нашли даже часть проданного. И все виновные понесли заслуженное наказание. И, в знак особого к вам доверия, могу даже сказать: не все по суду. Отхватившему основной куш майору-химику мы просто...

— Не надо,— поспешно прервал я его.— Не надо подробностей. А то вам потом, боюсь, по долгу службы меня ликвидировать придется.

Бероев помолчал, опять вскинув на меня взгляд исподобья. И прикурил новую сигарету — прямо от предыдущей.

— Мрачновато вы смотрите на последствия моих отчаянных попыток наладить конструктивное взаимодействие,— глухо сказал он.— Хорошо, учту.

— Не обижайтесь,— с искренним раскаянием попросил я.

— Ни в коем случае. Итак, вкратце. Примерно треть препарата исчезла бесследно. Мы уже начали надеяться, что она и впрямь исчезла... тьфу, пристало! — он неподдельно нервничал. — Однако чуть больше года назад у нас возникло подозрение, что препаратом кто-то пользуется.

Сошников, подумал я. Вот чем его...

— Одной из моих персональных обязанностей, Антон Антонович, исстари является присмотр за, как бы это сказать, мозгами. Времена изменились, мы теперь эти мозги не промываем и в секретности их не топим, что они хотят, то и вытворяют, если деньги есть... но присматриваем. Учет и контроль. Вернее, просто учет. И вот один из отъезжавших за рубеж господ, не так давно еще связанный с тематикой довольно щекотливой, после банкета в дружеском кругу внезапно превратился в... э... крыжовинку на кусту, капусточку на грядке. Точь-в-точь как полагалось бы после передозировки нашего эликсира. А был тот господин, между прочим, одним из ваших пациентов.

— Тематикой ученых занятий своих пациентов мы специально не интересуемся,— сразу заявил я.— У нас иные критерии.

— Понимаю. Тематикой как раз мы интересуемся, и только благодаря тематике случившееся заметили. Поздновато заметили. Когда мы до упомянутой крыжовинки добрались, прошло уже несколько дней, и выяснить, чем его обработали, если и впрямь обработали, не представлялось возможным. Убедиться ни в чем не удалось. Обмен веществ свое дело знает туго. Следствия были налицо, но причины давно ушли в канализацию.

— Знаю, о ком вы,— сказал я и назвал фамилию из перечня, подготовленного для меня моим журналистом.

Но на Бероева это не произвело впечатления.

— Был уверен, что вы вспомните.

— Мне нечего вспоминать. О том, что с ним случилось после окончания лечения, я узнал лишь вчера.

— Ага. Хорошо. Возможно, вы расскажете мне, почему вы этим вчера заинтересовались. Но сначала я закончу.

— Извольте, — содрогаясь, как говорится, от светскости, уступил я.

— Вопрос, таким образом, оказался открытым. Однако мы себе этот случай отметили, — он глубоко затянулся. — Заподозрили неладное. И вот, по счастливой случайности, повтор. Случайность состояла в том, что собирающийся отъехать человек попал в поле нашего зрения заранее, и наш сотрудник смог его навестить буквально через сутки после обработки. А анализы вашими стараниями были сделаны и того раньше. Взять его к нам для более углубленных изысканий без форсирования ситуации не получилось, но и полученных данных хватило, чтобы понять: опять ничего. А это, доложу я вам, является прекрасным косвенным подтверждением, что оказавшееся на больничной койке следствие обязано своим появлением именно нашей причине. Потому что как раз нашу причину уже вскорости после обработки последственно обнаружить в крови, моче и прочем — невозможно.

Ай да Никодим, подумал я. Как он это дело мигом просек!

— Быстрая разлагаемость и выводимость была одним из старательно достигавшихся положительных качеств препарата. Она означает, что буквально сразу после обработки, которой последственный, разумеется, сам не помнит, никакими способами нельзя выяснить, что где-то его обработали и что-то из него вытянули. При прочих равных такой препарат для конспирации полезней. Я не слишком длинно излагаю?

— Все это чрезвычайно интересно, — искренне сказал я. Полковник не врал ни единым словом. Стеснялся говорить, злоупотреблял фиоритурами и эвфемизмами,

избегал, как я его и просил, подробностей — но колелся, как на духу. Поразительно. — Речь идет, как я понимаю, о Сошникове.

— Именно о Сошникове, Антон Антонович. И, что любопытно, — он тоже ваш пациент!

— А, — сказал я понимающе. — Так это ваш сотрудник был в больнице буквально сразу после меня?

— Да.

— А какого рода была та счастливая случайность, о которой вы столь любезно упомянули?

Бероев испытующе поглядел на меня.

— Вы, кажется, сами просили избегать детализации...

Он не хотел говорить. Вот как раз об этом — он явно не хотел говорить.

— Это как раз та подробность, которую я хотел бы знать.

Он отчетливо, хотя и недолго, колебался. Но, видимо, раз решившись, теперь шел до конца.

— На него бывшая жена наступала, — нехотя сказал он. — Откуда эта гадость в людях до сих пор, — ума не приложу. Классический донос в органы: мой бывший муж по роду своей деятельности имел доступ к архивам партии и правительства и собирается вывезти копии многих еще не рассекреченных документов за рубеж за большие деньги... Сволочная баба. Я тут поразбирался с этим немного. Видно, ей до слез обидно стало, что ее бывший, которого она за недоделанного держала, вдруг выберется в землю обетованную, а она-то, дура, тут останется! А если бы не развелись, так с ним бы в Америке шикавала! Невыносимо женщине такое, а, Антон Антонович?

— Пожалуй, — сказал я.

Вот и еще один кусочек мозаики встал на место. У меня в ушах прямо-таки явственней явного зазвучали ее причитания: надо же, беда какая... ах, судьба... ах, он очень неприспособленный... И так бывает в семейной

жизни. То есть, постсемейной. Конфликт в рублевой зоне постсемейного пространства. Когда я сказал, что меня к нему не пустили, она поняла, что я не из органов, про донос не знаю, и ей надо изображать соответствующие чувства. А если б я сказал, что с ним виделся, — она бы решила, что я из Гипеу. Интересно, как бы она себя повела.

— А ведь, Денис Эдуардович, она уверена, что это вы его отоварили.

Несколько секунд Бероев молча курил и смотрел на плавающие в воздухе дымные мятые простыни.

— Пальцы бы ей отрезать, которыми телегу писала, — мечтательно сказал он потом. — И ведь, понимаете, Антон Антонович, — сигнал получен, мы обязаны реагировать. Пошли с Сошниковым разбираться, а он уже — того, — помолчал. — Вот такие наши счастливые случайности.

А у меня будто расстегнули молнию на темени и щедро полили обнаженные полушария крутым кипятком.

— А к ней вы разбираться не ходили?

— А на хрена... — мрачно пробормотал Бероев.

Я покосился на него даже с неким недоверием. Но он, странное дело, опять не врал.

Тогда значит, антивирус, лже-Евтюхов мой, которого я совершенно точно ощутил как из ФСБ... Полушария дымились под гуляющим влево-вправо носиком немолчаливого чайника. Она ему сказала: я же вам сама...

И осеклась! И перепугалась!

Ну еще бы! Он к ней пришел выяснять, не говорила ли она кому о его близком отъезде!!! И про донос ее — не знал!!!

Ох, поразмыслить бы, ох, поразмыслить! Какая жалость, что я, на досуге почитывая детективы, всегда интересовался главным образом, ЧТО и КУДА движет героев, и по диагонали проскакивал — КАК оно их движет... Схемку бы нарисовать!

— Денис Эдуардович, а не могло случиться так, что без вашего ведома, в обход вас или по собственной инициативе, кто-то из ваших сотрудников беседовал с Сошниковой?

Он только покосился на меня, как на слабоумного, и не ответил.

— Что же вас теперь интересует, Денис Эдуардович?

Он вздохнул.

— Каналы распространения и применения препарата,— сказал он.

— Вы полагаете, что это мы? Скажем, замечая следы неправильного лечения, что ли? Или еще по каким-то...

— Не скрою,— процедил Бероев,— возникала такая мысль. Хотя теперь я ее уже отбросил. И позвонил вам, рассчитывая на вас уже совершенно в ином, отнюдь не подследственном качестве.

— Вот так ходишь-ходишь,— сказал я,— и до последнего момента уверен, что страшней всего — это с женой поругаться... Вас интересуют, вероятно, знакомства и контакты Сошникова?

— Не просто знакомства и контакты. А знакомства и контакты в связи с лечением у вас. Рабочая гипотеза такая: ваша психотерапия как-то пересекается с нашей химией. Устойчиво пересекается. Приглашаю вас подумать со мною вместе, где, как и зачем это происходит. Если происходит. В конце концов, никто лучше вас не может знать обстановку, в которой ваше заведение работает.

Тут он в точку попал.

— Понял. Айн момент. Скажите, а наших других пациентов, которые ничем секретным и, как вы выразились, щекотливым не обременены,— вы не совали под микроскоп?

— Нет.

— А вообще не приходило в голову посмотреть статистику разнообразных несчастных случаев, за последние

годы имевших место в среде интеллигенции — скажем, во время пьянок?

— По-моему, вы надо мной издеваетесь.

— Ни в коем случае.

— Тогда вы превратно представляете себе наши современные функции, — он опять закурил. — В свое время небезызвестный товарищ Андропов на горе и унижение честным офицерам КГБ и на радость подонкам... подонкам не только в конторе, но и среди интеллектуалов, заметьте, — организовал специальное подразделение, которое должно было заниматься исключительно интеллигенцией. Сам он, по слухам, был уверен, что сделал это от бережного к интеллигентам отношения: не хочу, дескать, чтобы одни и те же громобои занимались и настоящими шпионами, и, скажем, писателями, которые чего-то не то пишут.

Он вдруг неторопливо воздвигся из своего кресла и пошел наискось по кабинету — руки в карманах, окурок на губе. У стены повернул и пошел обратно. Лицо его стало буквально черным.

— Сомнений относительно того, что писателями и прочим контингентом вообще надлежит кому-то из конторы заниматься, у него, как и у старших коллег его из Политбюро, не было ни малейших, — продолжил он наконец, перехватив недокуренную сигарету левой рукой. — Умные люди ему объясняли: если возникнет подразделение, которое только этим станет заниматься, оно уж, будьте благонадежны, сделает все, чтобы объектов для упражнений у него наблюдалось как можно больше, а выглядели они для страны как можно опасней. Оставьте демагогию, был ответ... — он помолчал. — Довольно долгое время мне довелось быть среди этих несчастных. И на скольких же мелких подонков из вашей среды я насмотрелся... Но, — он глянул на меня едва ли не испуганно, или даже виновато, и тут же отвел взгляд, — именно тогда мне довелось заочно познакомиться с вашим отчимом и... и я был бы, честно

говоря, счастлив познакомиться по-человечески. Он... он знал, зачем живет.

— Он и сейчас знает,— сказал я.— Только мне пока не говорит.

— У нас скажет,— страшным голосом произнес Бероев, и я сразу почувствовал, что этой несколько нелепой шуткой он пытается сбить разговор с котурнов, на которые тот грозил взгроздиться. Но я даже не улыбнулся. Бероев, неловко съезжившись, сделал еще круг по кабинету, потом проговорил: — Кажется, попытка сьуморить оказалась неуместна. Простите. Я это к тому, что был бы рад, если бы нам с ним как-то удалось оказаться представленными друг другу.

— Я вам верю, Денис Эдуардович. Но все-таки еще не знаю, как к вам относиться.

Он опять помолчал, а потом немного по-детски про-бормотал:

— Я и сам не знаю.

На этот раз пауза оказалась особенно долгой.

— Иногда мне кажется, что, по крайней мере, мрачное чувство гордости можно было бы испытывать за тогдашние подвиги,— негромко проговорил он.— Дескать, защищали державу, держали диссиду в узде. А как выпустили ее из узды, так и пошло все в разнос. Но не получается гордиться. Наоборот, тошнит. Не всех, конечно,— некоторым до лампона... Меня вот тошнит. Даже виноватость иногда подступает. Как-то не так мы ее защищали, державу эту.

Он был искренен. Я чувствовал его смятение и боль. Он прошелся еще, но так и не смог сдержаться.

— Господи,— с мукой выговорил он,— ну хоть бы один умный человек нашелся, сказал бы, как ее на самом деле защищать! ЧТО В НЕЙ защищать, и ОТ ЧЕГО!

— Вот наш с вами Сошников свой труд последний оставил мне на память,— помедлив, осторожно сказал я.— Он там утверждает, и довольно здраво,

что под давлением парадигмы православной цивилизации...

Совсем неубедительно у меня это зазвучало, и я сразу осекся. Что-то литературное напомнило. Я не сразу сообразил — а когда сообразил, меня просто скрючило.

Расположение звезд Аш-Шуала и Сад-ад-Забих, завел Ходжа Насреддин старую песню еще бухарских времен...

И Бероева тоже скрючило. Буквально перекосило.

— Антон Антонович,— воскликнул он с какой-то даже обидой в голосе.— Ну вы-то хоть! Это же кошмар какой-то, конец света: никто не верит, но все крепятся!

— Верит кое-кто.

— Ну, а даже и верит. Мне-то что! У меня жена русская, и дети, и живу я тут всю жизнь, но родственники все — в Казани и в татарской глубинке. И уж если бы я верил в кого,— так, наверное, в Аллаха, представьте. И что мне тогда эта ваша парадигма?

Действительно, подумал я в некотором ошеломлении. Я об этом совсем забыл по запарке. Да и Сошников в азарте от открывшейся истины, похоже, запамятовал. Хоть Союз и распался, цивилизационные разломы никуда не делись и внутри России.

Вот так. Посюсторонние цели оказываются миражами,— и у людей руки опускаются. А потусторонние разделяют и разводят по конфессиям. И что можно придумать еще? Сошников! Надо дальше думать!

Тут я сообразил, что Сошников вряд ли что-то умное теперь придумает. Если меня так взяли за живое его писульки,— то и придумывать теперь мне.

— И все-таки вам надо это прочесть,— сказал я.

— Ну, прочту, если вы советуете...— без энтузиазма сказал Бероев. Он, похоже, уже пожалел о своей вспышке. Вернулся к столу, сел.— Я это к тому, что теперь всю уйму интеллигентов мы, разумеемся, не отслеживаем.

А я вдруг подумал: в каком-то смысле коммунизм, наверное, был всего лишь попыткой перекинуть на носителей неправославной традиции православную систему посюсторонних ценностей — в том ее виде, в каком она была усвоена самим коммунизмом. Через коммунистическое воспитание обезбоженное православие надстраивалось на неправославные фундаменты. И так пыталось втянуть иные культуры в свою цивилизационную орбиту...

И, судя, скажем, по этому Бероеву — небесполезно и небезуспешно.

Эх, с Сошкой бы обсудить!

— Я понял, — сказал я, тоже старательно переключая себя с кухонно-философского тона на деловой. — И вот что я вам в порядке обмена любезностями покажу.

Я достал распечатки, взятые вчера с работы. Я их не хотел оставлять в столе и запихнул зачем-то во внутренний карман. А вот пригодились.

— Это, как вы понимаете, далеко не вся статистика. Только та, что была мне доступна, причем с пожарной скоростью. Посмотрите.

А пока он углубился — срочно подумать. Самому подумать. С учетом новых данных.

Во-первых. Сошников действительно потому так взволновал всех, что он — исключение из правила, или, точнее, некое возвращение к неким прежним правилам. То есть давно уже что-то случалось с теми, кто не едет, а он грохнулся, как в первое время, когда грохались те, кто едет.

Во-вторых. Бережняку нужен канал информации, чтобы знать, кто едет. Зачем? Примем как рабочую гипотезу, весьма похожую на правду, — ему это надо для того, чтобы не давать уехать. Гуманненько так, не проливая крови, превратить в дурачка. При этом учесть: нужда в канале возникла лишь совсем недавно, после того, как порешили Веньку, который был информатором прежде.

В-третьих. Это принципиально, и этого я не знал еще утром. Антивирус лже-Евтюхов ходит сам по себе, никого не посылая и никому не передоверяя, с риском засветиться, и выясняет... что? Фактически вот что: откуда пошла информация, что Сошников едет. То есть, в сущности: откуда такая информация пришла к Бережняку. При этом учтем: я могу поручиться, что он из ФСБ. И сошниковской бывшей он, судя по всему, так представился. При этом учтем еще: Бероев о лже-Евтюхове не знает. А лже-Евтюхов даже не знает о доносе на Сошникова!

Мы можем из этого предположить — что? Что? Скользит, зар-раза, егозит и зудит в извилинах, а на зуб не дается...

Систематизируем, систематизируем... последовательно...

Опять-таки, во-первых: если Бережняк, явный вождь, стремился травить и увечить тех, кто едет, действуя при этом на основании полученной от Веньки информации, и с какого-то времени получалось, что травились и увечились те, кто не едет, значит... значит, Венька зачем-то на белое говорил: черное, а на черное — наоборот. Причем реальной информацией располагал — иначе не смог бы с такой точностью менять черное и белое местами. Правдоподобно? Да. Кроме того, учтем: информация о Сошникове пошла ВЕРНАЯ и пришла НЕ ЧЕРЕЗ ВЕНЬКУ, а, как мы можем предположить, через дочку Сошникова, ее парикмахершу и как-то далее... то есть траванули Сошникова, так сказать, в соответствии с истинной доктриной, и как раз тут Венька приказал долго жить. Следовательно, когда начали травить тех, кто не едет, Венька и начал играть какую-то свою игру. То, что их начали травить в пику начальной доктрине, как раз и свидетельствует об этом. А полученная окольным и случайным путем информация о Сошникове вывела Веньку на чистую воду, и он получил от вождя по заслугам.

Так. Ай да я. Логичен, как фокстерьер.

Во-вторых, если антивирус так настойчиво ищет, через кого ушла Бережняку ВЕРНАЯ информация относительно Сошникова, похоже, он как-то причастен к ДЕЗИНФОРМАЦИИ. Которая шла, как мы предположили, через Веньку. Иначе чего бы ему из-за верной информации волноваться. Причем, сравнивая персоны антивируса и Веньки, можно предположить: антивирус в этой паре занимал более высокое положение. Значит, скорее всего, Венька был лишь каналом, через который антивирус подбрасывал дезинформацию Бережняку. Логично? А шут его знает, вроде — да. Весьма, правда, бездоказательно.

И антивирусу крайне важно выявить посторонний, неподконтрольный ему канал верной информации и оный пресечь.

А Бережняк уже пресек канал дезинформации.

При этом снова: антивирус из конторы, отсюда. Но сейчас действует на свой страх и риск.

Логика — страшная наука.

Ох, клубок...

Нет, нет, все уже просто. Почти. Главное... главное... что-то мелькнуло...

Кипяток на извилины!!! С одной стороны: кому выгодно? Руками Бережняка, который фанатично уверен, что уничтожает изменников Родины, травить тех, кто как раз на Родине-то и остается? Угадайте с трех раз, если духу хватит. С другой стороны — заткнутое журналистское расследование филадельфийца. Заткнутое именно в тот момент, когда канал информации был каким-то образом оседлан, пошли дезы и Бережняк начал героически травить своих. Может, и грубовато заткнутое; может, следовало его для маскировки продолжить, только направить куда-нибудь в сторону; но они, видно, попроще предпочли — вообще не привлекать к проблеме внимания. И, в сущности, преуспели — никто ничего не заметил, только я — да и то

задним числом, зная уже, что искать. Кто мог этак запросто заткнуть АМЕРИКАНСКОГО журналиста? Опять-таки — ну, с трех раз?

Аже-Евтюхов — грязный наймит империализма?

Фи, как это банально и пошло звучит для интеллигентного человека.

— Интересно,— проговорил Бероев, слегка даже осипнув от гончего экстаза. Вот он, след, вот он! — Чрезвычайно интересно. Вы это давно?

— Вчера.

— В связи с событиями заинтересовались?

— Да. Прежде никогда не пробовал следить за своими пациентами после окончания лечения.

— И как вы это интерпретируете?

— Сейчас я с вами еще одной тайной поделюсь. Коли уж такой разговор пошел товарищеский...

Он коротко глянул на меня, будто проверяя, ерничаю я, издеваюсь — или всерьез. А я и сам не знал. И в мыслях никогда не было, что вот так вот за каких-то полтора часа столкуюсь-сработаюсь с гипеушником. Разговор товарищеский, отношения товарищеские... М-да. Товарищ Бероев.

Почему-то мне это было приятно.

Может, оттого, что переел утративших смысл жизни, колеблющихся, утонченных и не востребовавшихся.

Я не стал к ним хуже относиться. И уважал, и жалел, и хотел помочь — все, как прежде. Просто, похоже, переел. А Бероев, к вящему моему удовольствию, никаким местом не мог быть отнесен к серебристым лохам. Мне с ним работалось.

И я рассказал ему про Бережняка.

Когда я закончил, он долго сидел молча и только чуть покачивал головой вправо-влево. Задумчиво и немного печально.

— Надо же,— тихо проговорил он потом.— Сколько лет... А ведь я его помню, Антон Антонович. Помню... Союз Русских Коммунистов, весна восемьдесят второго

года. Нет, процесс их не я готовил, а коллега мой, Васнецов,— он опять помолчал, потом чуть улыбнулся.— Он давно ушел от нас. Руководит теперь службой безопасности какого-то Крюгер-холдинга, и все хихикает надо мной, что на один оклад живу. Третий особняк строит... Мы, в сущности, дружили, а не так давно выпивали вместе, поэтому знаю,— вздохнул.— Бережняк...— слегка развернулся на своем вращающемся кресле и включил компьютер. Бодро защелкал было, потом коротко покосился на меня, проверяя, виден ли мне дисплей.

— Я не смотрю, Денис Эдуардович, не смотрю,— сказал я. Он дернул плечом.

— Ну конечно. Один из руководителей так называемой РККА. Российская Коммунистическая Красная Армия, создана три с половиной года назад. Какая крепость убеждений у человека, а? Какая верность идее...— вздохнул, похоже, с восхищением, или с тайной завистью какой-то.— Мы за ними присматриваем, но так, без напряжения, они тихие. Культура, социалистический быт, спорт, изучение классиков и истории СССР... Нет, Антон Антонович, это не они. Тут недоразумение какое-то. Взгляните сюда,— он приглашающе повел рукой и развернул дисплей ко мне,— может, это не он, только назвался так?

Я оценил доверие.

Посмотрел.

— Натуральный Бережняк.

Он покачал головой. Опять защелкал.

— Ну, конечно. Курирует их, как и прочих левых незарегистрированных, один наш очень дельный работник... Вот! Там у них даже наш осведомитель внедрен. Вернее, перевербован — уже почти что два года назад... Нет, это не они.

Кипяток.

Чуть больше полутора лет назад Венька стал путать черное с белым, а филаделфиец утратил всякое любопытство.

Вот тут уже логики не было. Просто сегодня все разрозненные странные мелочи так отчаянно потянулись друг к другу, что стало возможным просто пальцем тыкать: где факты из двух доселе независимых рядов вдруг сцепляются, — там и есть истина.

— Не Каюров ли Вениамин с бытовым прозвищем Коммуняка?

Это я рисковал. Сильно рисковал. Бероев медленно выпрямился в кресле, оторвался от экрана и воткнул в меня препарирующий взгляд,

— Откуда вы это знаете, Антон Антонович? — тихо и очень спокойно спросил он.

Тут уже следовало докручивать до конца. Пан или пропал, третьего не дано.

— А курирует их, значит, ваш работник. И все его курирование...

У Бероева прыгали скулы.

— Объясните, Антон Антонович, — еще тише попросил он. — Мне было бы жаль в вас разочароваться.

— А мне в вас, — ответил я. — История, которую я расскажу, очень может оказаться для вашей конторы обидной. Чрезвычайно обидной. И поэтому для начала, чтобы не рисковать обидеть вас понапрасну... Для начала прошу вас еще об одном одолжении. Если потом мои объяснения вас не удовлетворят, Денис Эдуардович, можете меня расстрелять. Я сам напишу просьбу о высшей мере.

— Перестаньте паясничать.

— Перестаньте хамить, — ответил я ему в тон. — Одолжение такое: покажите мне дельного работника.

Несколько мгновений Бероев молча смотрел мне в лицо. Потом неторопливо закурил. Потом коротко пощелкал по клавише.

— Расстреляют, скорее, меня, — бесстрастно сообщил он в пространство. — Прошу любить и жаловать, капитан Жарков.

А с экрана, тускло мерцая капитанскими погонами, уставился антивирус лже-Евтюхов.

Вот и все, подумал я, почему-то проваливаясь в жуткую и вязкую усталость. Наши, как всегда, победили. Сила Гипеу во всенародной поддержке.

И вообще, как там... Достоинство встретим Столетие Краснопресненского восстания!

Дальше — дело техники. И, вероятно, не моей.

Очень хотелось обнять Киру. И почему-то именно теперь, от черной, наверное, этой усталости — до меня окончательно и бесповоротно дошло: это мне уже совсем не светит.

Надо же быть таким козлом. Постелить любимую жену невесть кому — и, главное, из самых гуманных соображений.

Как гуманист Бережняк.

Бероев выжидательно смотрел на меня и не торопился.

Ладно, возвращаюсь сюда. Но эту свежую мыслишку вечером надо как следует продумать. Лишь бы не забыть в суете. Мысль такая: это же надо оказаться настолько козлом!

— Я так и знал,— сказал я с тяжким вздохом.— Теперь слушайте. Только... У вас на Востоке, говорят, есть старый добрый обычай, вроде как специфическая разновидность гостеприимства. Гонцу, принесшему дурные вести, в глотку заливают расплавленное олово. Или свинец, кому что нравится. Так вот чур мне не лить.

— Посмотрим,— серьезно ответил Бероев.

Взгляд сверху

«Ну, вот, думал Симагин, несясь к химчистке. Ну, вот. Вокруг все сияло. В золотом мареве рисовались странные видения — чистые, утопающие в зелени города, небесно-голубая вода причудливых бассейнов и каналов, стрелы мостов, светлых и невесомых, как облака.

Сильные, красивые, добрые люди. Иллюстрации к фантастическим романам начала шестидесятых шевельнулись на пожелтевших страницах и вдруг начали стремительно разбухать, как надуваемый к празднику воздушный шарик. Лучезарный дракон будущего в дымке у горизонта запальчиво скрутился нестерпимо сверкающими пружинистыми кольцами, вновь готовясь к броску на эту химчистку и этот ларек. А ведь, пожалуй, накроет, сладострастно трепеща, прикидывал Симагин».

Много лет он не творил столь безоглядно. Страницы слетали с каретки, как вылетают из клеток птицы в ослепительную лазурь. В полуденную свободу неба. Сердце готово лопнуть, — но страха нет, восторг, прорыв; клокочущее торжество извергающегося протуберанца — не в пустоту безответности, не в затхлый склеп немоты, не в кристаллические теснины незатейливых, апробированных клише, сквозь которые продергиваешься извиистой безмолвной змеей, оставляя черные лоскутья змеиной кожи на острых холодных гранях... Сами собой, инстинктивно и безошибочно, вскидывались над бумагой живые люди, разворачивались один из другого, набухали кровью — его кипящей расколотой кровью, осколков которой хватало на всех; осколки рвались соединиться, но обретали единство лишь в те мгновения, когда живые люди на белой бумаге начинали прощать и болезненно боготворить друг друга.

Вербицкий откинулся на спинку кресла и, не торопясь, закурил. Его била сладкая дрожь. Я это обязательно напишу, думал он, победно выдувая в сумрак зыбко мерцающую струю. И буду ко всем понимающе беспощаден. Сострадающе беспощаден. Только одному человеку я не стану сострадать. Себе. Понять попытаюсь — и то будет довольно.

Обязательно напишу о временах, когда мы были молодыми и нам еще дозволялось мучить друг друга, потому что будущее сияло радугой далеко впереди, а не хрустело под каблуками.

Как скорлупа от не нами сожранных яиц.

Из которых, хоть мы до них и добрали за двадцать лет, ничто уже не может вылупиться.

Он, ленись вставать, потянулся к стеллажу и выскреб из ряда книг одну, а потом, сызнова осев в любимом кресле, открыл ее на закладке. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое».

Вербицкий нагнулся и с полу поднял тонкую белесую брошюру. Открыл на закладке.

Читать подряд наукообразную тягомотину величественной, как принято было говорить, Программы — не было никаких человеческих сил; глаза, как бойкие лягушки, сами собой запрыгали по строчкам, слизывая мух пожирнее. «Коммунизм — это бесклассовый общественный строй... с полным равенством... где вместе с всесторонним развитием людей... свободных и сознательных тружеников... все источники общественного богатства польются полным потоком...»

Вербицкий выронил брошюру, и та рыхлым комом глухо шмякнулась об пол.

Лезть в статьи Сахарова и, тем более, в бесчисленные нынешние речи и программы он не стал. Это уж совсем мелко. Третья и четвертая производные. Суть везде и у каждого одна: се, творю все новое.

На то, что мы, выкручивая один другого, как белье выкручивают, отжимая, — вдруг сотворим все новое, и тогда оно уже само всех нас осчастливит, рассчитывать теперь не приходится. Только на себя — и друг на друга. Пора. Сегодня и самим.

Он аккуратно положил недокуренную сигарету на край пепельницы и снова наклонился над пишущей машинкой, которая так и жила с ним единственной его опорой — с тех самых светлых, странных и по-своему тоже жестоких времен.

И продолжение потом напишу. И про сына их напишу. Надо спросить, где он теперь, я же ничего о нем не знаю.

«Резкими фехтовальными взмахами, звеня, соударялись и перехлестывались судьбы. Казалось, опрокинуло некую плотину, и все, что он узнал или почувствовал за эти годы, вдруг обрело смысл, получило наконец вещество и лихорадочно принялось распорядиться им, строя себя. Даже то, что, пока он — в одиночестве и прокуренной трескучей тишине, она — там, кормит того, спит с тем, вызывало лишь добродушную улыбку, ибо самое главное, что может женщина, она все равно делала здесь, и он лился в нее, как муж, падал в нее, как зерно, как звезда, и через нее — в полуденную свободу неба, в ослепительную лазурь. В людей».

Теперь это было правдой.

11. Грязный наймит империализма

И выпал снег, и растаял снег, и выпал снова.

И я шагал по серой полупрозрачной слизи, расшмякивая ее толстыми подошвами предусмотрительно надетых теплых башмаков. Мне сегодня долго ходить.

Кишел час пик. И уже смеркалось. И все было серым — даже воздух, мокрый насквозь и мутный от серой влаги. Меня то и дело толкали измученные толчеей люди, вконец сатанеющие от малейшей дополнительной преграды, — особенно в горячих точках: у выходов из метро, возле остановок... И я толкал; ничего не попишешь, идти-то надо.

— Первый троллейбус, подходит к остановке, — сказал голос Бероева из ворса моей шапки, прямо над ухом.

А когда из присевшего на остановке троллейбуса, заваленного на бок весом прущей на выход толпы, принялись, как мокрая картошка, вываливаться люди, я

пошел напролом и толкнул одного из прыгнувших в слякоть особенно сильно. Он едва не упал, и я поддерживал его:

— Простите...

Он обернулся.

— Ба! — воскликнул я. И обрадовался. И остановился, продолжая на всякий случай поддерживать его за локоть. — Ну и ну! Вот так встреча!

У него заморгали глаза — не веками, а где-то внутри, в подноготной; он очень быстро ерзнул взглядом вправо-влево, словно проверяя что-то.

Например, один ли я.

Или: нет ли щелки, чтобы юркнуть.

Но коловращение толпы приплюсовало нас друг к другу.

— А я ведь вас искал, Сергей... Сергей Васильевич, правильно?.. искал, да! Я даже звонил в вашу редакцию, только мне сказали, что такой не работает. Вы там внештатным, что ли?

Все. Есть зацеп. Локоть можно выпускать, теперь не убежит. Сам за мной поскачет, ведь надо же узнать, зачем я его искал. Да вдобавок и выяснил уже, что в редакции он не числится.

Теперь толпа только мешала. Она свое дело сделала, не дала разомкнуться в первые мгновения. Теперь, наоборот, могла растащить.

— Сергей Васильевич, простите, но раз уж так получилось, — давайте отойдем на пять минут, если вы не против. Вы не очень спешите? — просительно, даже как-то умоляюще, сказал я. Вальяжный барин, привыкший к комфорту, уюту и достатку, но неожиданно попавший в невразумительную беду.

Это я о себе. Вернее, о своей маске.

— Нет, совсем не спешу, — ответил антивирус, приходя в себя. Нервы у него были высший сорт. Пока я выдавливал униженные обрывки начальных фраз своей роли, он успел настолько взять себя в руки, что сумел

приветливо мне улыбнуться. — Что такое стряслось, Антон... э-э... Антон Антонович?

— Ох, сейчас расскажу, — и я, снова взяв его за локоть — но теперь уже с демонстративной целью: чтобы показать, как боюсь с ним разминуться, — поволок Жаркова подальше от свалки при содрогающихся перепонках троллейбусных дверей.

— Я проверял... — растерянно и обескураженно лепетал я, пока мы в лабиринт пробирались к углу ближайшего дома, где людской поток не грозил нас смести и растолочь. — Я проверял, ваша статья в «Деловаре» еще не вышла...

— Так быстро дела не делаются, — с достоинством, совсем уже придя в себя, отвечал Жарков. — Послезавтра, может быть.

— Со мною после вашего ухода странные дела твориться стали, — сбивчиво заговорил я, когда мы остановились. Жарков пристально уставился мне в лицо. — И кто-то явно втягивает меня в игру, которая мне совершенно не понятна. Но, по-моему, очень неприятную игру, опасную...

Бероев мне и поверил, и не поверил. По-человечески поверил — но как полковник конторы не смог поверить, не смог заставить себя поверить НАСТОЛЬКО, чтобы немедленно заняться Жарковым всерьез. Тут он должен был быть уверен не на сорок, а на девяносто процентов. Потому что — коллега. Одного муравейника. Чтобы взять в разработку, скажем, меня, хватило бы и тридцати процентов, это товарищ Бероев честно признал, по-товарищески, — но тут...

А время дорого.

Впрочем, оно всегда дорого.

И мы, не отходя от кассы, вместе придумали простой, как мычание, план. Но, собственно, набор шаблонов у спецслужб не так велик, и очень редко каким-нибудь гениям удастся его хоть как-то разнообразить. Суть, как я понял, не в принципиальной новизне —

именно экстравагантные методики, как я понял, легче всего раскалываются противником; суть в применении того или иного штампа там, тогда и таким манером, чтобы он наверняка сработал. Простенько, правда? Но, поразмыслив, в это можно поверить; в конце концов, люди практически одинаковыми движениями дают друг другу в нюх уже много тысяч лет, и коллизия эта в каждом конкретном случае для каждого конкретного потерпевшего оказывается совершенно внове.

План был: провокация. Провокация такая: надо Жаркова напугать. Напугать тем, что вот-вот случайно случится то, что на самом деле случайно уже случилось. А именно: я попаду в контору и как-то его там дешифрую. В данный момент сам я не понимаю ничего, лох серебристый обыкновенный; но стоит мне в конторе изумленно сказать: так это ж он ко мне приходил, вот этот журналист, и спрашивал про отъезды, — как граждане с опытом уже поймут все, и так поймут, что костей журналисту не собрать. И, следовательно, времени на то, чтобы обмыслить план действий, который почти наверняка сведется к плану бегства, — у него ровно до того момента, как я попаду на первую беседу.

Конечно, тут некий для меня риск. Убрать дурака психиатра — и нет вопросов. Но мы надеялись, что от первых импульсов его удержит обилие народа кругом, а потом он возьмет себя в руки и сообразит, что и это не выход. Да и меня уже под руками не будет.

И, таким образом, мы с максимально возможной быстротой выясним все. Если Жарков на меня посмотрит как на придурка и посоветует, например, обратиться к компетентным органам, — стало быть, моя фокстерьерская логика завела меня не в ту нору. А вот если засуетится...

Тут уж нет сомнений: камни, и под каждым камнем рак.

Но осуществить сей хитроумный план нам надлежало с Бероевым исключительно вдвоем, не ставя

покамест в известность никого. Чтобы убедиться, понимаете ли. Честь мундира и все такое прочее. Бля-бля-бля, как в подобной ситуации закончил бы Кирин отец.

Впрочем, именно благодаря такой самодеятельности определенная новизна в нашем штампе все-таки возникла, только Бероев про то не ведал.

Дар Александры.

— Понимаете, я просто вынужден обратиться к защите прессы... — лопотал я.

Насчет прессы я, кстати, наворожил.

— И это просто-таки очень кстати, что ваша статья уже как бы, я надеюсь, на выходе... Просто в нее надо вписать немножко. Вы могли бы?

— Да скажите же вы толком, в чем дело, Антон Антонович! — не выдержал Жарков.

Для меня сомнений уже не было. Когда я толкал его пять минут назад — были, честно скажу. Но теперь — нет. Я чувствовал, слышал, видел — да, порой я считывал и визуальные образы, мелькающие перед мысленным взглядом собеседника, вот недавно очумелое лицо Сошникова из бабульки считал, — как Жарков изнывает: ну, что там случилось? что этому докторишке стало известно? неужели Сошников, как Венька и предупреждал, после обработки не полностью утратил память и действительно что-то сболтнул в больнице? но некого было в больницу послать, некого! а самому — это уж слишком рискованно...

Такой вихрь у него крутился, — я едва поспевал. Полнокровный протокол допроса.

А Бероев сидел в «Волге» без шофера на дистанции абсолютно безопасного и незасекаемого удаления, метрах в трехстах, и слушал, как я лопочу.

— Понимаете, мне очень трудно рассказывать толком, — я жалко улыбнулся. — Чтобы рассказать толком, надо понимать, в чем толк заключается, правда ведь? Надо хоть немножко понимать, что происходит... Значит, так. Буквально следом за вами появляется у

меня некий мрачный тип, громила, право слово, и говорит, что он из какой-то там, я не знаю — Коммунистической Армии.

Ох, какой от этих слов штопор закрутился у Жаркова в потрохах! Любо-дорого! Лицо осталось неподвижным, но в потрохах — ах. Жаль, не видно Бероеву.

— Что послал его какой-то, прости Господи, комбриг. И начинает меня шантажировать. Причем я толком даже не понимаю, чем! То говорит, будто у них есть данные, что часть денег мы прикарманиваем, и на меня донесут в налоговую, и я сяду на много лет. А этого быть не может, у нас довольно чисто все. Как у всех. То вдруг заявляет, что они украдут моего сына, ведь он сейчас со мной не живет, и молодая беззащитная женщина им, мол, не помеха, они и ее... Понимаете?

— Пока нет,— ответил Жарков, и у него был уже голос особиста, а не журналиста. И взгляд тоже. Цепкий, ледяной, расчленяющий.

— Ну, они действительно живут сейчас отдельно, и Кира такая безалаберная, такая балованная... а этот — ему ничего не стоит! А он вдруг заявляет, что неприятностей можно избежать, если я... и вот почему я о вас то сразу вспомнил, вы тоже меня все пытали, кто из пациентов едет за рубеж, помните?

— Нет,— машинально ответил Жарков. Это был прокол, он действительно об этом много спрашивал, да потом еще якобы расшифровывал интервью и статью писал; не мог он забыть. Но в нем уже вспенился страх, и он понимал: то, что он меня настойчиво спрашивал о перспективах зарубежных поездок — нитка. Знак. Признак.— Мы, Антон Антонович, о многом с вами говорили, так что, может, и эта тема как-то всплывала,— но меня интересовала главным образом финансовая сторона вашего предприятия. Его социальная ориентация.

Пой, родимый, пой.

Но он сам, видимо, почувствовал ненатуральность своей реакции, потому что вдруг воскликнул:

— А, вспомнил! Вы, значит, так это поняли... Мы говорили о том, принимаете ли вы какое-то участие в судьбах бывших пациентов после лечения. Следите ли, как сложилась их дальнейшая карьера. Странно вы меня поняли, — со значением повторил он.

— Ну, возможно, — я буквально отмахнулся от его занудных поправок. Меня-то оттенки эти мало волновали, у меня земля горела под ногами! — Во всяком случае, взамен он потребовал, чтобы я как раз выяснял, кто из пациентов собирается за, как он выразился, бургор. И им сообщал регулярно. Понимаете?

— Зачем?

Ну, вот и ладушки. Судя по заинтересованности, клиент потек.

— В том-то и дело! Нам, говорит, необходимо это знать в целях борьбы с империализмом. Ну бред просто! У нас, говорит, был свой человек, но скурвился, мы его убрали, а предварительно еще допросили с пристрастием, попытали слегка... Вы понимаете? Я, мирный предприниматель средней руки...

Представляю, как сейчас веселится в своей «Волге» Бероев. Послушайте, я не узнаю вас в гриме. А, ну как же: Иннокентий Смоктуновский!

— ...Такое должен был выслушивать! Уж не знаю, пытали они кого или нет, это не мое дело, но он же меня перепугал, просто перепугал! И он это нарочно! И ему это удалось! Перепугал!

— Что им рассказал тот... кого убрали?

Очко, товарищ Бероев, очко. Уже одним этим вопросом наш пациент себя с головы до ног и ниже... Ничего, понимаете ли, журналиста в моем рассказе не заинтересовало — только то, что выдал на пытке расколотый информатор.

— Да не помню я, чушь всякую! Не в этом же дело!

— А вы постарайтесь,— жестко сказал Жарков.— Мне писать надо будет, значит, понадобится как можно больше вопиющих фактов.

Он меня уже совсем за дурочку взял. Впрочем, в такой панике, в какой находился сейчас мирный предприниматель, средний и потому беззащитный, люди действительно остатки ума теряют.

— Ну, что, мол, он на самом деле осведомитель ФСБ, и что фамилии тех, кто едет за бугор, ему списками время от времени давал его шеф из конторы... Ужас! Он нарочно меня пугал! Все с ухмылочкой, с подробностями с жуткими...

— Экое криминальное чтиво выдумали,— проговорил Жарков и улыбнулся побелевшими губами. А внутри: горю! горю!

— Я в милицию — они меня на смех. Я, извините, на вас сослался, что об этом скоро статья будет, так что все всерьез...

Антивирусу тут как молнией расколело череп: докторишка меня уже засветил!

И последний штрих.

— А наутро мне повестка! И впрямь из ФСБ, понимаете? Явиться завтра, понимаете, прямо вот завтра... Мне не к кому обратиться. Я же не банкир! Я не нефтью торгую! Напишите об этом, умоляю, это хоть какой-то шанс. Они же меня втянут! Они же меня убьют! Или жену! Или сына! Или налоговиков натравят!

— Какое безобразие,— чуть силло сказал Жарков и как бы невзначай откашлялся. Горлышко у бедняжки перехватило.— Конечно, у вас одна защита, Антон Антонович,— гласность. Я постараюсь. Давайте... а что мы здесь стоим? Я живу рядом, давайте зайдем, и вы мне поподробнее расскажете, под диктофон.

Ну уж дудки. Я еще не успел как следует продумать мысль, как можно было оказаться таким козлом, а ты уже хочешь меня прекратить. Не согласен.

— Да я все, собственно, рассказал...— я виновато заморгал, поводя плечами и ежась от неловкости.— Я, собственно, в «Вавилон» — вот, за угол, а парковка паршивая... Я там всегда жене подарки покупаю. Срочно мириться надо, а то они с сынишкой и впрямь одни, понимаете?

Вот заодно и свое появление возле его хаты замотивировал.

— Не бывал,— сразу утратив ко мне интерес, сказал Жарков.— Я ведь даже не средней руки предприниматель. Для меня там дороговато.

И опять покрутил по сторонам нехорошим взглядом. Час пик. Не получится. Собственно, для профессионала час пик не помеха, но нужен какой-никакой инвентарь. А откуда вдруг? Кто мог знать, что он понадобится?

Все. Отыграли. Минут пять я еще погундосил, умоляя, потом расшаркался и рассыпался, он — взаимно, и все обещал. Все и сразу, и в лучшем виде. И пошел, солнцем палимый.

Пока мы играли, совсем свечерело. Рубиновые трассеры бесчисленных габаритов шили и стегали тесные сумерки улиц, полные смутных отблесков шевелящегося железа. Поток трудящихся на слизистых тротуарах поредел. Но все равно не разгуляешься; знай крутись, лавируй. И скользко. Не прогулка — работа.

Теперь мне предстояло напрячься предельно. Вести аспида визуально я не мог; тут и профессионалу лучше было не рисковать, поскольку Жарков был на взводе и полном алерте. Не знаю, как в таких случаях поступают в конторе, когда все делается по теории,— наверное, ведут попеременно. Но я был один, и Бероев в машине был один. Мне предстояло водить Жаркова исключительно на слух. Фибрами.

Сейчас Жарков шел до хаты. Ему было близко, но шел он медленно — проверялся, кажется. Здорово я его... В хате он задерживаться не собирался, дождусь.

— Вы его видите? — озабоченно спросил голос Бероева у меня между шапкой и черепом.

— Да,— сказал я одним горлом себе в воротник.

— Врете. Невозможно видеть на таком расстоянии. Я сейчас проехал мимо него, и вы его видеть не можете.

— Не валяйте дурака, Денис! — зашипел я, словно кот во гневе.— Обговорили же все! Стоит ему засечь ваш «Волгешник», и конец!

— Я уже отъехал. А поток тут адов.

— Я его вижу,— я прислушался.— Он повернул направо. Остановился на переходе, горит желтый. У него перед носом — тумба с афишами, на афише — Мотя Сучкин со своим банджо. Вот свет сменился на зеленый, объект пошел. Достаточно?

Я смотрел сейчас глазами Жаркова. Мыслей я, увы, не читал — но вот устремления мне были ясны: спастись! Дать сигнал! Какой сигнал — я не знал и считать из вражины не мог. Ничего, узнаю. Как только он начнет думать о сигнале конкретно, сработает его моторика, как бы легонечко репетируя будущие движения, и я мышцами своими пойму, что это за зверь — его сигнал.

Бероев молчал.

— Достаточно? — еще раз спросил я. Не приведи Бог, не сдюжит связь. Если дистанция как-нибудь случайно перевалит за четыреста...

— Да,— сказал Бероев. Еще помолчал.— Это феноменально. Это невозможно. По-моему, Антон, вы не всеми своими секретами со мной поделились.

— Вы со мной тоже не всеми,— ответил я.

— Я держу при себе множество секретов, но не своих, а государственных.

— А я — своих. Из вашей, Денис, фразы имплицитно следует, что ваша скрытность простительна и достойна уважения, а моя — непростительна и достойна наказания. Поскольку секреты государства — это всегда что-то очень важное, а секреты индивидуума —

всегда что-то плевое. Я патриот, и понимаю, что так часто бывает. Но и вам пора понять, что так бывает далеко не всегда. А то вам, например, с па Симагиным будет очень трудно разговаривать.

Бероев опять помолчал, и я испугался, что его обидел. Да, конечно, у нас уже возникло нечто вроде фронтового братства,— и все же познакомились-то мы меньше шести часов назад!

— Как сказал бы,— ехидно произнес Бероев у меня между шапкой и черепом,— великий русский писатель Фазиль Искандер: абанамат!

У меня отлегло от сердца.

— Понял,— сказал я.— Это мне за восточное гостеприимство со свинцом в глотке.

— Приблизительно,— подтвердил он.— А вообще-то я буду думать вашу мысль. Но позже. Работаем.

— Работаем, работаем...— проворчал я.— Вы уверились наконец, или еще нет?

Он помедлил; а когда ответил, голос его был мрачен, и я понял, что всем предшествовавшим балагурством он просто оттягивал миг... даже не поражения, а просто признания вслух того, что ему так больно было признавать.

— Я полагал, что в ходе последней интерлюдии ваша, Антон, правота стала настолько очевидной, что даже и говорить-то об этом излишне.

— Мне очень жаль,— искренне сказал я.

— Да при чем тут... Это мне надо всенародно каяться. Я с ним работал двенадцать лет, а не вы. Пусть он не был в моем непосредственном подчинении — все равно. С-сука!

— Как сказал бы великий русский поэт Муса Джалиль,— добавил я.

Он фыркнул. Связь была превосходной; я даже услышал, как он закуривает: щелканье зажигалки, затяжка, потом затяжной кашалотский выдох узким дыхалом губ, собранных в гузку.

— В свое время я вычитал у Житинского фразу: есть ли за границей иностранцы? Ее можно инвертировать. Есть ли в России русские?

— И Достоевский с Шульгиным были евреи,— сообщил я.

Он опять фыркнул.

— Все-таки вы типичный интеллигент, Антон. Только бы повитийствовать да поглумиться. Вы объект-то не потеряли?

— Нет. Он вошел в дом.

— Будем ждать?

— Непременно.

Я-то чувствовал, что он поднимется в квартиру буквально на пять минут. Что-то взять. Такое небольшое, прямоугольное, шероховатое и светлое... чем чертить, да. Мелок! Именно этим мелком, сиреневым, надо чертить, когда «сос».

— Не мерзнете? — словно отец родной, вдруг спросил Бероев.

— Стакан с вас,— ответил я.

— Заметано. Как объект, не появился?

Я чуть не ляпнул в ответ: вот-вот появится, уже обратно на лестницу вышел. При том, что стоял снаружи, на противоположной стороне улицы и наискось, метров за полста. Что бы подумал Бероев, даже гадать не хочу.

— Нет пока.

— Может, мы все-таки ошибаемся? — спросил Бероев с надеждой.

— Может быть,— уклончиво ответил я. Мне правда было Бероева жалко.— Вышел. Озирается. Идет налево.

Объект шел метрах в восьмидесяти впереди, и я держался за ним, как пристегнутый, не ближе и не дальше. Дальше я его перестал бы слышать, я и так уже выбивался из сил — далековато, и вдобавок кругом толпа, круговерть эмоций, какофония. Ближе было

опасно: он профессионал, а я нет. Десять минут... пятнадцать... Долго я в таком режиме не протяну. Либо пожалею себя, перестану тужиться и тут же потеряю его, — либо в обморок свалюсь, прямо в грязь. Еще один пьяный... нет, не пахнет... ну значит, ширнутый, грузи его! Объект шел к какому-то определенному месту. К некоему предмету, я еще не мог понять точно, длинному такому и твердому, на него он хотел опереться и поправить как бы развязавшийся шнурок — тоже свежая мысль, наверняка войдет в сокровищницу разведок мира. Дальше я пока не чувствовал. А вот почему он шел именно к этому определенному предмету, почему именно там следовало подать этот пресловутый знак... Нет, не будем торопить события. Вот, вот уже...

Столб! Обыкновенный столб с фонарем и проводами. Так. Прислонились. Боком, спиной, ладонью. Шнурок, понятно. Чирк! Прямо под задницей, никто ничего не видел.

Пошел дальше.

— Есть, — сказал я.

— Что?

— Погодите-ка, дойду сейчас, удостоверюсь.

Ну, конечно. Я поравнялся со столбом. Как мычание... опять как мычание.

— Третий столб направо от парфюма «Риччи». Подруливайте, я дальше пошел.

— Что там? — у Бероева от охотничьего азарта срывался голос.

— На уровне чуть выше колена появилась горизонтальная черта. Объект оперся на столб и, поправляя шнурок, мазнул сиреневым мелком. Дети, понимаете ли, балуются...

— Сигнал! — застонал Бероев. — Кому, зачем? Знать бы!

Я чувствовал, что по этой черте тот, кто может спасти Жаркова, поймет, что его надо спасать. Кто-то,

кто этот столб видит каждый день, проезжая мимо. Это знал Жарков, и я теперь узнал. Вернее, почувствовал — если бы я мог узнавать, я бы все тут же прояснил: кто, откуда, как...

Но с этим кем-то, похоже, сначала надо еще встретиться? Нет, не встретиться, Жарков не личной встречи ждет, а... Трудно описать. Невозможно описывать физиологию, нет для нее слов — а ощущения были чисто на физиологическом уровне. И вдобавок смутно. Где болит? Вот тут где-то... А может, тут? Может, и тут. А как? Стреляет? Нет. Ноет? Нет. Ломит? Да нет же!

— Повернул,— сказал я.— Обрато повернул.

— Похоже, к дому.

— Да. На сегодня представление окончено.

Я чувствовал, что окончено. Тот, кто должен был увидеть сигнал, мог это сделать только завтра утром, Жарков это понимал и не ждал чудес. Только завтра утром. Проезжая мимо. На работу? На работу.

— Денис,— сказал я.

— Да, Антон,— немедленно ответил он.

— У меня, конечно, представления обо всех ваших делах — на уровне книжек, что в ранней молодости читал...

— По-моему, врите. Я это еще буду думать. Не могли вы так вести человека впервые в жизни. В принципе не могли. Вы наружник мирового класса.

Вот и нашла Родина применение моим уникальным дарованиям, подумал я с легкой и, что греха таить, горьковатой иронией. А то, понимаешь, психология, психология... Кому она нужна, твоя психология? Только психам. А кому психи нужны? Только Бережняку, да и то с известной целью. А вот Родине нужней и милей наружники, топтуны...

А мы — привыкши. Мы, блин, притерпемши.

Ведь не то что обидеться — а даже слегка гордиться собой начинаешь. Дескать, во какой я топтун классный,

во какую пользу принес! Служу трудовому народу! Служу Советскому Союзу! Служу Отечеству!

Кому только не служу.

— Ладно. Думайте, Денис, что хотите. Я не к тому. Я к тому, что не мне давать вам советы, но...

— Разрешаю,— важно сказал он.

— Так вот, в четвертом классе я из «Библиотечки военных приключений» почерпнул, что в те времена, когда у нас было совсем уж недемократическое государство, ваша антинародная контора, например, просто навскидку могла ответить: кто из чьих иностранных дипломатов по какой дороге каждое утро ездит на работу. Что-нибудь столь же ужасное у вас хоть в каком-то виде уцелело — или все развалили?

Бероев некоторое время молчал, но за связь я не беспокоился — я слышал, как он опять закуривает и шумит своим жадным до никотина дыхалом.

— Правильно мыслишь, Шарапов,— сказал он потом.

— Так ты ж у меня понятливая,— ответил я.

12. Два сюрприза — один от меня, другой мне от любимой

Разумеется, никакими стаканами мы реально греться не стали — и он вымотался, и я. То есть я просто не чаял до дому доехать, тем более, был без колес. Хорошо, что товарищ мой новый меня подбросил,— и все равно я пришел, и ослабел, и лег. Даже не нашел в себе ни малейших сил продумать пресловутую мысль о том, как можно было оказаться таким козлом.

Зато поутру меня как боднуло в начале шестого. Глянув на часы и не понимая, какого рожна просыпаться в такую рань, я старательно жмурясь, покрутился сбоку на бок — и понял, что сна нет уже ни в одном глазу. Как это Вербицкий цитировал: спозарань встань... во-во.

Пришлось вставать.

И к счастью. Потому что, едва я успел кофе пригубить, как в дверь позвонили. Повезло, что я был уже не в трусах, а — как порядочный, только без галстука. Поспешно доглатывая мелкими глотками раскаленную каву, я прямо с чашкой пошел открывать.

Опасности я не чувствовал. За дверью стоял кто-то, кого я знал; и он хотел со мной поговорить; и был это... Дверь открылась.

Это был Бережняк.

— Доброе утро, Викентий Егорович,— невозмутимо сказал я и отступил на шаг в сторону, пропуская его внутрь.

— Доброе утро, Антон Антонович,— ответил он, входя.— Как вы, однако, храбро...

И подал мне руку. И я ее пожал.

В сущности, это была честь для меня — пожать руку человеку, который в ситуации, например, с Вайсбродом против всех пошел, против всех предрассудков пошел. Который за убеждения в тюрьму пошел.

Только вот с ума сошел.

— Вы обещали подумать.

— Да. Проходите. Хотите кофе?

Он, при всем своем самообладании, внутренне несколько ошалел. Не та была реакция у меня, не та, что ему нужна. Непроизвольно он даже заозирался.

— Я один,— успокоил я его,— и только что встал. Пойдемте.

— На улице очень грязно,— застенчиво сказал он и нога об ногу, неловко, стащил старенькие заляпанные башмаки. Снял свое выдавшее виды пальто и аккуратно повесил на свободный крючок.

Мы уселись. Я налил ему кофе, предложил бутерброд.

— Благодарю, Антон Антонович, я завтракал. А вот от кофе не откажусь.

— Вам сколько сахара, Викентий Егорович?

- Без сахара, пожалуйста.
- Покрепче?
- Да, прошу вас, покрепче.

Монплеизир.

Да что там Монплеизир; научный руководитель, заботливый и строгий, и аспирант, почтительный и серьезный. Аспирант — это, разумеется, я.

— В нашем предыдущем разговоре вы, Викентий Егорович, упомянули науку биоспектральную, — проговорил я с улыбкой, — и этим, честно скажу, всколыхнули во мне самые теплые и добрые чувства.

Бережняк едва не выронил чашку.

— Это слово мне необычайно дорого, потому что в самую счастливую пору детства я слышал его от отца по сто раз на дню. Вам, Викентий Егорович, от него, кстати, большущий привет. Не от слова, разумеется, а от отца.

Бережняк смотрел на меня, как загнипнотизированный. Я даже испугался за его сердце; не случилось бы инфаркта часом. Слишком сильный эффект получился.

— Тесен мир, — мягко и будто не замечая его шока, продолжал я. — Ужиная позавчера с родителями, я упомянул о новом пациенте — ничего, разумеется, не говоря о ваших предложениях. Пациенте, который знает слово биоспектральная и носит фамилию Бережняк. И уже то, что эта фамилия оказалась настоящей, поверьте, меня сильно расположило в вашу пользу, Викентий Егорович. Отец сказал, что он вас помнит, вы были у Вайсброта чуть ли не правой рукой, когда па у него диссертацию писал. Симагин его фамилия.

— Но вы... — хриловато перебил Бережняк, и я его сразу понял. Впрочем, мне ли не понять.

— Вас фамилия моя дезориентировала, Викентий Егорович. Она по матери. У нас в ту пору было довольно запутанное семейное положение... формально. По сути как раз тогда оно было чудесным.

Я сделал паузу. Не хотелось форсировать, честно говоря. Пусть придет в себя. Я даже отпил глоточек; потом покрутил чашку, дорастаивая сахар на дне, потом сделал еще глоточек.

— А Эммануил Борисович, к сожалению, умер,— продолжил я по-прежнему неторопливо.— Папа еще сказал: жаль, Эммануил не дожил, он рад был бы узнать, что с вами, Викентий Егорович, все в порядке. Он ведь вас пытался отыскать, Эммануил...

Бережняк медленно ссутулился, уставясь в пол.

— Как звучит,— пробормотал он после долгой паузы.— Эммануил... Симагин...— чуть качнул головой, и мне мимолетно показалось, что он сейчас заплачет. Губы у него затряслись, и он вдруг сделался совсем старым.— Знаете, голубчик, а я вашего батюшку, стало быть, тоже помню. Такой... мальчик. Восторженный и добрый. Эмма говорил, очень талантливый. Как он теперь?

— Лучше многих, не отчаялся. Хотите зайти к нам на чаек?

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Па был бы рад. Он вообще очень уважительно о вас говорил, Викентий Егорович. Рассказал, например, как вы вели себя с Вайсбродом в то время, когда о нем распространяли всякие гадкие по тем временам слухи...

— Слухи всегда гадки,— тихо, но жестко сказал Бережняк, и возле глаз его собрались фанатичные морщинки.— Особенно такие. Подоплека моего поведения вашего батюшку разочаровала бы, Антон Антонович... погодите. И отчество не Симагинское.

— И отчество не Симагинское,— ответил я, продолжая улыбаться. Боюсь, несколько деревянной улыбкой. Бережняк опять качнул головой: дескать, чудны дела твои, Господи...

— Просто я очень, знаете, не хотел, чтобы Эмма уезжал,— пояснил он.— А если человека травить пусть даже одним ожиданием: вот завтра подаст документы,

вот послезавтра... ну, уж в понедельник-то наверняка, — так можно его лишь поторопить с отъездом, правда?

— Истинная правда. Все равно. Сколько я представляю себе те времена, такое поведение требовало немалого мужества.

— Минимального, Антон Антонович, минимального. Просто наши вольнодумцы даже на подобные толики мужественности совершенно, знаете, были не способны. Дальнейшие события потребовали от меня, уважаемый Антон Антонович, куда большего... напряжения воли.

— Догадываюсь, — сочувственно проговорил я. Он презрел мое сочувствие и даже чуть губы поджал.

— Я не жалею.

— А о последних годах?

Он долго и внимательно вглядывался мне в лицо. Потом перевел взгляд на кофе. Чуть дрожащей рукой тронул чашку, но не взял.

Репродуктор на кухне приглушенно пропиликал семь.

— Перейдем к делу, пожалуй, — с усилием проговорил Бережнюк.

— А мое приглашение?

— В зависимости, — он холодно улыбнулся, и я понял, что он вполне овладел собой и готов к бою. Бедный старик. Это все были еще цветочки.

— Тогда, Викентий Егорович, еще чуть-чуть относительно моего, как вы выражаетесь, батюшки, — с приятной улыбочкой ответил я. Бережнюк попытался прервать меня манием руки:

— Я рад, что у него все хорошо.

Я только повторил его жест.

— Да будет вам известно, Викентий Егорович, что за эти годы, я спросил специально, его приглашали и к Маккензи в Штаты, и к Хюммелю в Германию, и к Такео в Японию, и всем он отказал.

— Это делает ему честь, — сказал Бережнюк. — Это поведение настоящего человека.

— Да, но именно благодаря этому поведению он легко мог закончить свои дни раньше времени. Усилиями вашими и ваших нынешних КОЛЛЕГ, Викентий Егорович! — Я говорил уже совсем без тепла и пощады. — Скажу больше: он уцелел лишь благодаря тому, что на все три означенных предложения успел ответить отказами несколько раньше, чем вы, уважаемый Викентий Егорович, взялись за свою патриотическую миссию!

Он выставил челюсть вперед. Его взгляд стал презрительным и гордым. Дернулись пальцы его лежащих на столе ладоней.

— Объяснитесь.

— Охотно.

И откуда у меня речь-то ему в тон взялась? Вот ведь обезьяна, с удивлением подумал я о себе.

— Я, не желая вслепую говорить вам ни да, ни нет, постарался по доступным мне каналам провести выборочный анализ. Примерно под таким углом зрения: кого и как за последние полтора-два года не пустили объяснять тупым западным недоучкам, чем они располагают. И вот что, Викентий Егорович, оказалось...

Я встал — Бережняк дернулся, но сразу снова взял себя в руки. В прихожей я вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги. Это был итоговый перечень, составленный вчера днем уже с использованием возможностей Бероева — наглядный и простой, в две колонки. Вернулся. Бережняк, откинувшись на спинку стула, задрал подбородок, высокомерно следил за моими действиями.

— Вот что оказалось! — Я буквально кинул ему листок через стол. Листок, трепеща и дергая крылышками, сделал попытку распахнуться, но не успел. — Почитайте, посмотрите. Можете сейчас уйти и по всем доступным ВАМ каналам проверить истинность этих сведений. И потом приходите снова, Викентий Егорович, и мы снова поговорим. Только о чем мы с вами

сможем говорить? О биоспектралистике? О светлой памяти Вайсброда? Или о невинно загубленных светлых головах?

Я был, наверное, страшен в гневе: глаза метали молнии, голос перекрывал рев бури. Не узнаю вас в гриме...

Мне позарез надо было его переубедить. Извините за выражение, перевербовать. В громаде моих планов на ближайшее будущее от этого многое зависело.

Как это обычно и бывает, псу под хвост пошло мое громаде.

У Бережняка опять мелко-мелко затряслись его узкие губы. Кажется, он уже чувствовал, к чему идет. Он взял лист — ему это удалось лишь со второй попытки. Близоруко поднес чуть ли не к носу. Глаза его медленно поползли по строчкам.

Не хочу рассказывать, что я в нем чувствовал в эти мгновения.

Не приведи мне Бог когда-нибудь испытать такую тоску. Она поднималась в нем, накатывала постепенно, как неумолимый ледяной прилив: сначала по щиколотку — он еще не верил, читал дальше; потом по колено — он изо всех сил еще не верил, читал; потом по пояс... Может, он бы так и не поверил, и молниеносно уверил бы себя, что бумажка сфабрикована — и уж стоял бы на том, как на Малаховом кургане каком-нибудь... Но он уже сам, прежде, сталкивался с несколькими несовпадениями, и уже сам отдал приказ ликвидировать информатора, начавшего нечестную игру.

Мне казалось, он может закричать. Как в старых трагедиях показывают: вскочить, запрокинуть голову, вздеть руки — и закричать страшно и протяжно. Но у нашего человека все ж таки закваска крепче. Мы привыкли. Он только выронил листок и поднял на меня помутневшие глаза.

— Венька... — беспомощно пробормотал он.

Он понял. Сразу.

Нет, хватит орать на него. Мне не орать — мне его, как ребенка, побаюкать хотелось. Все пройдет, все обрзается. Усни, маленький; старенький, усни...

Я сел на свое место.

— Я не буду говорить о том, стоило ли вообще уродовать и калечить людей, — снова совсем тихо и мягко сказал я. — Вы, Викентий Егорович, свой выбор, полагаю, выстрадали, и не мне вас в пять минут переубедить. Но полтора года вы уродовали и калечили НЕ ТЕХ! Сто семь российских талантов, простите меня за пафос, сто семь, оставшихся верными своей стране — вы превратили в дебилов или уродов. На войне, как на войне, вы сказали позавчера? Вот вам ваша война.

Все. Некуда Бережняка дожимать. Он умница и уразумел все. Я ощутил, что он как-то даже угадал подноготную, хотя я ни слова о ней не сказал и говорить не собирался, чтобы не впутывать ФСБ в наш и без того сложный разговор. В Бережняке само забрезжило: информатор был перевербован; давно перевербован, а я, старый осел, преступник — теперь и впрямь обыкновенный ПРЕСТУПНИК, безо всяких идейных и патриотических оправданий, этого не разглядел...

И даже не просто преступник, не просто. Пособник врага! Моими руками враг уничтожал...

И вот тут он сотрясся — и заплакал.

Так и сидел — щуплый, прямой и гордый, задрал голову, будто на шесте; а из широко открытых глаз катились слезы.

Я вышел в другую комнату. Мне было худо. Не представляете, как худо. Наверное, легче было бы кого-нибудь отравить по его указке, честное слово.

А впрочем... Я вспомнил Сошникова. Нет уж.

И в этот момент закурлыкала трубка, валявшаяся в кресле. Я кинулся на нее, как вратарь на мяч.

Звонил Бероев.

— Доброе утро.

— Доброе утро. Я не могу сейчас разговаривать. Перезвоню.

— Не один?

— Да.

— Понял. Сотрудник по культурным связям консульства США Ланслэт Пратт. Все, пока. Жду отзвона.

Отбой. Занятые мужчины говорят коротко, но емко. Я перевел дух. Значит, угадали мы вчера. Теперь надо... Нет, это уже не мое дело. Ничего мне не надо. Мне не до них.

У меня на руках больной старик.

Когда я вернулся, он уже не плакал. Даже щеки просохли, и только в морщинах, в складках бессильно провисшей кожи — проблескивало.

— Как же это получается, Антон Антонович? — спросил он чуть дрожащим голосом, но уже совсем спокойно, словно мы некие тонкости биоспектральности обсуждали. — Как же это так получается всегда?

Я помолчал. Потом сел напротив него.

— Я мог бы, Викентий Егорович, начать нести банальщину насчет того, что насилие, пусть даже применяемое с благой целью, очень быстро начинает работать не то что мимо желанной цели, а буквально-таки на прямо противоположную цель. Очень быстро становится игрушкой в руках самых что ни на есть подонков, о благородных целях и понятия не имеющих. Но вы, Викентий Егорович...

Весь разговор я старательно вдавливал его имя и отчество чуть ли не в каждую фразу, чтобы хоть так подчеркнуть свое уважение, сострадание свое к этому человеку, так страшно погубившему себя — но, к сожалению, не только себя.

— Вы, Викентий Егорович, живете на белом свете вдвое дольше меня, и слышали все эти истины, наверное, раз в десять больше меня. Поэтому я вам просто вот что скажу: нельзя птичек убивать. Пусть поют и щебечут, где могут и как могут. Лишь бы пели. Не так

их много на белом свете осталось, настоящих-то певчих. Шумных навалом. Певчих дефицит.

Он встал. Тщательно оправил старомодный, потертый свой серый пиджак — похожий на него самого. Казалось, он оправил китель.

— Вы в войну не воевали? — спросил я негромко.

— Я тридцать седьмого года рождения, Антон Антонович, так что только в Венгрии успел. В пятьдесят шестом, — помолчал. — Подробности вас интересуют?

Я смолчал.

— Поработал. Имел две боевые награды и ранение в живот. Едва не умер от перитонита, — чуть помедлил. — А теперь получается — жаль, что не умер? — с каким-то отстраненным удивлением спросил он сам себя.

Я смолчал.

— Это можно взять? — он кончиками пальцев, будто боясь обжечься, тронул мой листок.

— Разумеется, — ответил я и встал проводить.

У двери он долго застегивал пальто, потом нахлобучил поплотнее вытертую зимнюю шапку — обыкновенный старик-пенсионер, какие балуют внучат и с редких пенсий покупают им шоколадки подешевле, но обязательно хотя бы в обертке поярче; какие в шахматы играют на скамейках и между ходами судачат о политике: Союз развалили, теперь Россию разваливают! так их же стрелять надо! а куда органы смотрят? да там все продано-перепродано!

— Надеюсь, внизу засады нет?

— Помилуйте, Викентий Егорович. За кого вы приняли меня.

Он спрятал глаза и неловко покрутил птичьей шеей в комками залегшем кашне.

— Простите, Антон Антонович. Не то сказал.

И ушел.

А я еще некоторое время стоял у двери, прижимаюсь к ней лбом, и нескончаемо видел, как он плачет.

Яду мне, яду...

Сию секундочку-с! А закусывать чем будете?

Я после первой не закусываю...

Неделю спустя я получил заказную бандероль и, когда вскрыл, — не сразу понял, что это. Там были списки и структуры РККА. И по каждой ячейке и каждому человеку — тщательный перечень функций и реально совершенных действий. Организация действительно была мирной и скорее культурно-просветительской, что ли, хотя и играла в подполье, навроде тимуровцев каких; была в ней, правда, и жуликоватая секция, деньги откуда-то брать надо — но в крупных аферах она не участвовала. Потайная экстремистская бригада, которой руководил в звании комбрига сам Бережняк — всего комбригов было пять, по числу лучей пятиконечной звезды, — насчитывала лишь семерых, а реальных исполнителей в ней было двое. Один — профессиональный киллер, минимум пятнадцать душ на нем, в розыске еще с девяносто шестого. Вот так.

Когда я, слегка ошалев, разбирался с пришедшими бумагами, самого Бережняка уже не было на свете. Вернувшись после нашего разговора к себе, он проверил наугад несколько фамилий с моего листа — все совпало; потом написал и отправил свое признание; и досуха выхлебал остатки отравы, путь которой к нему так и остался невыясненным. Наверное, Бережняку просто не пришло в голову его расписать — иначе расписал бы; его послание было, вообще говоря, пунктуально исчерпывающим — видно, что работал привыкший к систематическому мышлению ученый.

Это было его покаяние. Его епитимья.

Совершенная, хоть он и не подозревал об этом, опять-таки в рамках той же пресловутой, извините за выражение, парадигмы. Забавно, как исподволь она работает: ведь Бережняк даже не совершил греха самоубийства, — что при епитимье никак бы не смотрелось. Просто воздал себе тою же мерою.

Передозировка была чудовишной, и приблизительно но трое суток спустя он умер. То был не сошниковский вариант; врачи утверждали, что все это время мучился он страшно. Сознание распалось, даже рефлексы распались... Его нашли уже мертвым; соседи обратили внимание на смрад. Жил-то он в коммуналке, после лагеря так и не восстановился толком.

Я узнал все это от Бероева много позже. А тогда, закрыв за Бережняком дверь, я еще уверен был, что мы с ним увидимся, — и то на душе было ох погано. Дюже погано. Я вернулся на кухню, сделал себе еще кофе, — руки дрожали, как у старика. Как у только что ушедшего старика. С четверть часа не мог я придти в себя, тупо глотал и тупо смотрел в стену. Лечить люблю, лечить! Слышите? Чтобы людям становилось лучше, чем было — а не хуже, чем было!

Хотелось хоть простым физическим удовольствием как-то заглушить муку души, и я, бобыль и трезвенник, ничего лучше не придумал: снова залез в душ и снова сварился там, а потом снова обледенел. Чуток помогло.

А потом все-таки начал со скрежетом переключать мозги на очередные дела.

Я и не подозревал, какими окажутся мои очередные дела!

Ланслэт Пратт, бормотал я, одеваясь, Ланслэт Пратт... Ланслэт. По-нашему — Ланселот. Рыцарь Круглого Стола отыскался. Драконоборец. А не кажется ли тебе, сэр Ланселот, что твое место — возле параша?

В начале десятого я отзвонил Бероеву, но абонент уже был недоступен. Я еще раз выпил кофе и поехал на работу.

Опять какая-то интуиция меня вела, что ли, — едва войдя, я сызнава принялся проверять всю отчетность года. Думал просто мозги занять — а, как через несколько дней выяснилось, очень кстати.

Я успел выявить несколько мелких нестыковок, дать соответствующие вводные деду Богдану, выслушать череду

его блистательных импровизаций, дважды отзвонить Бероеву, причем во второй раз он ответил, но еще короче, чем ответил ему утром я: «Сейчас не могу. Ждите звонка»; я даже слова вставить не успел, полковник говорил так, словно бежал вверх по лестнице, причем уже, скажем, этажа с сорокового на сорок первый. Мне и Катечка нужна была, чтобы дать ей вводную по одной из нестыковок, но она что-то задерживалась, красotka наша...

А когда она появилась наконец, мне стало не до вводных.

Она вошла в кабинет неожиданно, кажется, даже без стука. Я, весь в себе и своих проблемах, сначала не обратил внимания на то, что глаза у нее распахнуты, словно от сильной боли, и закушена губа; уловил, правда, волну смятения, но заговорил деланно бодро, полагая, что смятение это связано не более чем с новым ее поклонником каким-нибудь:

— Катечка, ты мне нужна. Я тебя жду не дождусь...

И понял, что она меня даже не слышит.

— Антон Антонович, — едва не рыдая, напряженно выговорила она с порога, а потом пошла ко мне. И шла-то не своей танцующей походочкой-лодочкой, а словно бы получив по темечку и будучи движима единственной мыслью: до койки добраться. — Антон Антонович! Посмотрите! Вы только посмотрите! Какие гадости про вас пишут!

И протянула мне стиснутый в кулачке длинный и мятый раструб газеты.

Я развернул, разгладил — и сразу понял Катечку. Кресло подо мной так и поехало в никуда. На меня смотрела моя фотография, скопированная, как я сообразил после секундного замешательства, из не вспомнить какого делового журнала, где я года два назад давал полурекламное, полупросветительское интервью о «Сеятеле». А рядом с фотографией красовался

заголовок, кидающийся в глаза размером шрифта и свежестью мысли: «Наследники доктора Менгеле».

Неужели, подумал я, кто-то полагает, что широкие читательские массы помнят до сих пор, что за фрукт был доктор Менгеле. Наивный все ж таки народ. Это ведь даже не сразу сообразишь, в которую энциклопедию лезть за справкой.

И текст был, что говорить, богатый. В наивности автор с налета обвинял как раз всех читателей.

«Наивные люди полагают, будто времена изуверских экспериментов над людьми канули в прошлое вместе с разгромом фашистского рейха, вместе с крахом чудовищного нацистского режима. Будто в тот миг, когда открылись ворота концентрационных лагерей Майданека и Бухенвальда, Освенцима и Дахау, садистам, обрядившимся в белые халаты, был поставлен надежный заслон, и простые люди оказались застрахованы от того, чтобы оказаться объектами испытаний новых препаратов или нового оружия. Напрасные надежды. Времена Гитлера могут показаться патриархальным раем по сравнению с тем, что творят наследники тогдашних докторов-палачей с населением нашей страны. Вся она грозит стать, а может быть, уже стала, одним громадным концлагерем, границами которого служат ее оплетенные колючей проволокой государственные и административные границы. Начать с теперь уже полузабытой истории бесчеловечных испытаний инфразвукового оружия на улицах Минска, когда в давке погибли десятки ни в чем не повинных людей, по версии властей якобы просто испугавшихся летнего дождика!»

И так далее. Цитирую я, разумеется, не по памяти — по вырезке. И весь текст, разумеется, не стану приводить. Торопливо проглядывая первые абзацы про Гитлера да про Минск, я никак не мог уразуметь, в чем дело, и недоумевал все сильнее — но быстро дошел до сути. А Катечка, насмерть обиженная за меня

и перепуганная, наверное, тоже насмерть, так и стояла рядышком, кусая губы и едва сдерживая слезы.

«...прикрытые, словно бандитской «крышей», так называемым частным кабинетом вивисекторские психологические эксперименты человека, являющегося пасынком некоего Андрея Симагина. А между тем и сам этот Симагин, как нам любезно сообщил его бывший коллега, ныне плодотворно работающий в лаборатории профессора Маккензи в США, еще в советское время навсегда запятнал себя участием в разработке психотронного оружия. Он до сих пор живет в нашем городе, в незарегистрированном и не освященном Церковью сожителстве с матерью психиатра-выродка, женщиной без определенных занятий.....»

«...негласный заказ российских спецслужб — разработка и отработка методик скрытого манипулирования сознанием, выполнялся Антоном Токаревым не за страх, а за совесть, можно сказать, по велению сердца. Если только предположить, что у этого человека есть сердце...»

«...вопиющее нарушение элементарных человеческих прав и свобод, дрящущееся годами...»

«...число искалеченных судеб. Трудно вообразить количество сломанных жизней. Невозможно представить размер интеллектуальных, моральных и просто житейских утрат. Больно даже думать...».

«... рассказал нам один из подвергшихся этому гнусному тайному воздействию. Но вопреки ему этот незаурядный человек нашел в себе силы...»

«...будем продолжать информировать читателей...»

Видимо, в редакции решили, что материал попался на редкость калорийный и совершенно беспроигрышный, поэтому оттягивались по полной программе. Откуда утечка, лихорадочно пытался понять я, совсем уж по диагонали дочитывая морализаторскую концовку. Откуда, ради Бога, утечка? От ответа многое зависело — собственно, все зависело. Ни одной фамилии занятых в

специальных людей названо не было, хорошо. «Сеятель» в сечку не пошел, только раз упомянут как «крыша», то есть работающие в нем люди как бы и ни при чем — хорошо. Знать бы только, откуда утечка? Только тогда можно понять: вся это уже информация, или блюстители свобод придерживают козыри для следующих выпусков. Я так и этак перебирал имена друзей. Ничего не приходило в голову. Никто не мог. Мистика какая-то.

— Что за издание-то? — пробормотал я и перевернул газетную страницу. — А... Последний оплот думающих папоротников...

Клянусь, я это не сам придумал. Так главный питерский орган бронелобых, как коммунисты, демократов называют в народе уже давно; а фраза, сколько я понимаю, позаимствована из какой-то старой хохмы, еще восьмидесятых, кажется, годов прошлого века — то ли Жванецкого, то ли Карцева...

Все бы ничего. Но за родителей — ур-рою!

Я подумал так, и тут же вспомнил, как собирался за Сошникова урнуть Бережняка — и как сегодня едва не принялся этому Бережняку вытирать слезы и соплю...

М-да. Я опустил газету.

— Катечка, — сказал я ласково, — вот тут у нас обнаружилась небольшая неувязочка. Пойдем глянем. Надо срочно ее...

Нет, не получалось. Она меня просто не слышала.

— Антон Антонович, что же это такое?

— Классовая борьба, Катя. Или междоцивилизационная. Борьба, словом.

— Какая еще борьба? — Юмор до нее тоже пока не доходил. — Да как они... как они смеют! Вы же... вы...

И она лихо разрыдалась, без колебаний кинувшись мне на грудь — и уткнувшись в шею будто разбрызгивателем включенного на всю катушку душа. Я принялся ласково гладить ее по голове. Чего-то перебор плачущих у меня сегодня, подумал я мельком, а сам все не

мог перестать гадать совершенно вхолостую: кто? Кто? Катечка бессвязно лепетала, давясь слезами. Кажется, она мне пыталась объяснить, какой я замечательный и как меня в «Сеятеле» все любят.

Надо же.

Когда девочка начала успокаиваться, я перестал гладить ее по роскошной прическе, опустил руки и стал просто с некоторой неловкостью в душе и в позе ждать, когда наше положение станет менее предосудительным для постороннего наблюдателя. Каковой, к счастью, отсутствовал.

— Катя,— сказал я потом,— а Катя.

— Да, Антон Антонович.

— Я ведь не шучу насчет неувязочки. Нам буквально в несколько часов надо всю документацию привести в идеальное состояние. Чтобы комар носу не подточил. Бог знает, вдруг нагрянут.

— А?

— В чем бы нас ни обвиняли — в государственной измене, в тоталитарном культе, в свальном грехе,— проверять все равно в первую голову начнут финансы.

— А?

— Сейчас ты посмотришь, что я уже выявил, а потом общий сбор, пятиминутная летучка — и аврал. Полную явку обеспечивать будешь ты.

— Слушаюсь, Антон Антонович,— неожиданно повоенному ответила она и шмыгнула носом. И мы наконец разлепились. А потом она опять шмыгнула носом и сказала: — Вы только не сомневайтесь. Мы за вас в огонь и в воду.

— А уж я-то за вас...— начал было я, еще не зная, как продолжу фразу, и чувствуя, что у меня от усталости и обилия колотящихся вокруг меня эмоций начинает свербеть в носу, будто и я готов зарыдать. Но она меня прервала:

— А вы не должны быть за нас. Вы должны быть за всех тех, кого мы лечим. А мы — за вас.

— Кончай философию, начинай приседание,— сказал я, чтобы в носу перестало свербеть. И Катечка ответила, безнадежно попытавшись прищелкнуть каблучками:

— Цум бефель!

Вот тут меня все-таки пробрало — не слезами, так хохотом. Совершенно, должен признать, истерическим. Меня скрючило и повело по кабинету зигзагом.

— Катя! Ты только... ты... — я обессиленно тыкал пальцем в стиснутую в кулаке газету и не мог ничего сказать мало-мальски связно. — Ты, если вдруг комиссия какая придет... не шути по-немецки! Мы ж и так уже Гитлеру наследники!

Она растерянно похлопала глазами, не сразу врубаясь, — и тоже начала хохотать.

Вот это было красиво. Хохотать ей шло.

Наверное, смеяться идет всем. К сожалению, не всем удается.

— Мы их под суд отдадим! — так я закончил свою пламенную речь. — Просто и аккуратно, всех под суд. И поскольку они ничего доказать не смогут, я с сегодняшнего дня объявляю конкурс на лучшее использование пяти миллионов рублей, которые мы с них взыщем по суду в качестве компенсации морального и делового ущерба. Мой вариант: поездка всей компанией на Канары.

— Пять миллионов еще на пути туда, над океаном кончатся, — серьезно внес поправку грамотный Борис Иосифович. — И нас выкинут из самолета.

— Нет проблем. Богдан Таризелович, уточните стоимость четырех путевок на Канары, чтобы я знал, сколько с трепачей требовать.

— Будет сделано, — кивнул дед Богдан. Он даже перестал сыпать импровизами, настолько был выбит из колеи прочитанной мною вслух статьей.

В душе я не был так уж уверен, что борзописцы ничего не смогут доказать. Все зависело от того, какова

утечка. Грубо говоря, кто стукнул. И собирается ли стучать дальше, продавая, быть может, подробность за подробностью в обмен на дополнительные выплаты.

Но внешне оптимизм из меня так и брызгал. И Катечка мне подыгрывать вдруг взялась — то ли я и впрямь ее вполне успокоил и, по сути, мозги ей запудрил иллюзией пустячности происходящего, а то ли, поплакав у меня на плече, она вообразила, что нас теперь связали некие невидимые узы, и принялась в качестве особо доверенного лица помогать мне ободрять остальных. Не знаю. Даже с даром Александры не всегда разберешься в чужой душе. Особенно если в ней переживания сложные, человеческие; не то что крысиные вчера у Жаркова: замочить! сбежать! мелок скорей из дома вынести!

Стреляя глазками, с игривостью необычайной, она спросила:

— А вас, Антон Антонович, жена отпустит на Канары с нами и без себя?

— А мы ей не скажем,— мрачновато отвечивал я.

Действительно, при той интенсивности общения, что у нас установилась в последнее время, Кира вполне могла не заметить моего отсутствия в городе в течение, скажем, неделки, а то и двух.

Дед Богдан, когда все стали расходиться, задержался и буквально с отеческой заботой спросил вполголоса:

— Супруга видела?

Я неопределенно повел головой.

— Вы бы не показывали ей, Антон Антонович. В ее положении такие стрессы совсем ни к чему.

Я только через мгновение вспомнил, что днями по секрету рассказал ему об ожидающемся прибавлении семейства,— и едва на стену не полез с воем.

— Попробую,— пообещал я.

Когда экипаж занял места по боевому расписанию, я взялся было за телефон, чтобы под теми или иными предложениями («Старик! Сто лет не виделись! А не разда-

вить ли...»; «Красивая женщина, а красивая женщина! Ты как насчет повидаться? Розочку хошь?») прямо отсюда обзвонить весь спецконтингент и попробовать выяснить место утечки. Я от потрясений уже худо соображал, и мысль была, надо признать, не самая умная. Потому что, если бы кто-то к моему телефону уже подключился, он, как бы я ни шифровал разговор, просто судя по тому, кому именно я звоню, уяснил бы круг сопричастных и пошел копать дальше уже не вслепую, а со знанием дела; а если подключившихся не было, то и шифровать тему было ни к чему. Начав набирать номер, я это все-таки сообразил — и замер с трубкой возле уха и трясущимся пальцем над клавишей. А потом медленно положил трубку на место. Нет, это не метод. Не стоит суетиться; что произошло — то все равно уже произошло.

Одним словом, я начал трудиться над тем же, на что сориентировал остальных. И трудился часа два. Потом понял, что — все. Мягко говоря, не выспался я сегодня.

Было около четырех, когда я попрощался с коллегами; все наперебой старались меня как-то ободрить и снять с меня какую ни на есть пушинку. Беровев так и не звонил, и я уже не хотел его дергать сам. В конце концов, наше вчерашнее единение могло оказаться и преходящим. Все ж таки он полковник, да еще из Гипеу. Мало ли, может, уже гнушается. Хотя с утра звонил и раскрыл, в общем-то, оперативный материал, демонстративно и подчеркнуто...

Ладно. Домой.

Под низким клубящимся небом, в исподволь меркнущем сером свете, на пронизывающем ветру возле моего дома толпился народ. С лозунгами. С пивными бутылками в руках и возле уст, естественно. В основном жвачная молодежь, но и пожилых хватало. Демонстрация была из нешибких, человек восемьдесят, от силы девяносто, но — демонстрация. На одном из упруго

скачущих по ветру длинных транспарантов, который, надрываясь, держали за концевые шесты сразу двое, я промельком углядел свою фамилию и три восклицательных знака.

Игра шла по нарастающей.

Я медленно проехал мимо, постаравшись никого не потревожить, и сделал кружок вокруг дома напротив. Парусящий транспарант напомнил мне картинку четырехлетней давности, пойманную в первопрестольной нашей, в Москве. Я шел через любимый свой мостище между гостиницей «Украина» и трехлепестковым небоскребом, который с легкой руки па Симагина иначе как сэвом не называл; прямо по курсу у меня был Калининский проспект, гордость шестидесятнической архитектуры, — а в столице происходил какой-то очередной саммит-муммит, и город принарядился по этому поводу. Дул свежий апрельский ветер, солнце блистало, и по обеим сторонам моста, над каждой секцией парапета, радостно плясали на ветру российские флажки — все, как солдаты на смотре, слева направо. И тут, с удовольствием подставив лицо сияющей весенней голубизне и невольно глянув выше обычного, я аж с шага сбился. Я все понимаю, бывает ветер низовой, по реке, — и бывает верховой, на высотах, и совсем не обязательно они совпадают по направлению — но. Это все скучная наука. А зрелище было мистическое. Зрелище было символическое. Зрелище было достойно, вероятно, элевсинских мистерий — о коих никто ничего толком не знает, но все сходятся: впечатление они производили неизгладимое.

Над Белым Домом, что сахарно сиял слева за рекой, гордо реял один громадный главный российский триколор, и реял он СПРАВА НАЛЕВО! Точнехонько в противоположном направлении! Прямо против ветра!

Что тут добавишь...

И никто, кроме меня, не обращал на чудо внимания. На меня обращали — чего это тут, дескать,

человек памятником работает, когда надо бегать и дела варить. А на фантазмагорию — нет. Глаз поднять некогда. А может, видели да ничего особенного не усматривали.

Минут пять я стоял, не в силах двинуться дальше; и многое мне в те минуты открылось.

Ладно, это к слову.

Оставив машину поодаль, я пешком приблизился к демонстрантам. Они стояли довольно смирно — уже скучали. Курили. Мерзли и ежились. Хлебали «Афанасия», и «Калинкина», и «Бочкарева», и прочее. На них отчаянно лаял выведенный на прогулку симпатичный эрдель из сорок седьмой квартиры — впрочем, избегая приближаться; хозяин эрделя делал вид, что ничего не замечает. Молодая мама с коляской — кажется, с пятого этажа, не помню, как звать, но здороваюсь — торопливо катила к парадному и испуганно оглядывалась.

У демонстрантов в тылу, привалившись задом к капоту джипа, из открытой задней дверцы которого неаккуратно торчали черенки еще не розданных лозунгов, покуривал ражий парень. Сигарета то и дело срывалась искрами в ветер. Увидев меня, одиноко и неприкаянно бредущего мимо в своей куртяжке — руки в карманах, чтоб не мерзли, голова не покрыта, — парень сделал широкий приглашающий жест.

— Эй, умник!

Я подошел.

— Работаете? — спросил я. Он заржал.

— Ну! Кто с лопатами — а мы с плакатами! Бабки нужны?

— Конечно, — в сущности, вполне искренне ответил я.

Он с готовностью отшвырнул недокуренную сигарету и, чуть развернувшись, принялся неспешно и барственно, даже с некоторой брезгливостью дергать один из черенков.

— Тогда поработай с нами. Сейчас слоган тебе дам, погодь...

— А санкционирована демка-то ваша?

— Не дергайся, все схвачено. Оплата почасовая...

Плакат за что-то зацепился. Парень лениво продолжал дергать.

— Из своего кармана платишь? — спросил я.

— Зачем? Хорошие люди платят, денежные... Ради прав человека кому хочешь яйца вырвут. Да помоги, что ли — видишь, не лезет.

Я не вынул рук из карманов.

— А почему?

— Не дергайся, говорю. Ты в своем институте за год столько не зарабатываешь, сколько у меня за вечер.

Он безошибочно опознал во мне высоколобого. Классовое чутье.

— А чего демонстрируем-то?

— Вот умник! Тебе что за половая разница? Маньяк тут живет какой-то, с кофдой ходит по улицам и из людей психов делает, а менты, суки, его арестовывать боятся, он с эфэсбэшниками снюхался. Газеты читай!

Я достал из внутреннего кармана газету и показал ему свою фотографию. Уже глядя то на нее, то на меня, он на автомате еще несколько раз дернул черенок, с каждым движением все слабее, как бы засыпая; доходило до него медленно. Потом сказал:

— Ёб-тыть!

И заржал, совершенно не смущаясь. И совершенно беззлобно.

— Ну, тогда проваливай! Тебе тут не обломится.

Я вот думаю теперь, уже зная о судьбе Бережняка: а хватило бы духу воздать себе тою же мерою хоть кому-нибудь из тех, кто когда-то действительно от души, честно, и даже несколько рискуя собой, начинал критиковать недостатки своей страны, чтобы она избавилась от них и сделалась лучше... и вдруг с удовольствием обнаружил, что за это зарубежные единомышленники зовут их погу-

лять по Елисейским Полям, подкладывают им валютных премий — за свободу мышления, защиту человеческого достоинства, личное мужество и не перечесть еще за что; и целые партии от них заводятся, и свежеиспеченные отечественные миллионеры начинают уважительно при-бегать к их услугам... И в обмен ожидают лишь одного: жарь дальше! Не задумываясь, до чего язык дотянется! Концлагерь! Царство тьмы! Оплот насилия! Грядет диктатура! Непреходящая угроза мировому сообществу!

И они жарят, с каждой новой поездкой и новой премией радостно и гордо чувствуя себя все более свободными и мужественными...

Впрочем, какова тут ТА МЕРА?

Я пришел домой и лишь в полутемной безжизненной квартире понял: я не знаю, зачем сюда пришел. Я не мог не читать, ни спать, ни таращиться в ящик.

И мне совершенно нечем было себя порадовать. Разве что в очередной раз забраться в душ.

Взгляд сверху

История повторялась, как ей и полагается, фарсом. Но, может быть, оттого лишь, что время трагедий прошло и все трагедии давно уже сыграны. Теперь и трагедия воспринимается как фарс. А может быть, дело в том, что изрекший истину про трагедии и фарсы мудрец был, на самом деле, еще глупее, чем это нынче принято думать, и совсем забыл о том, что история не дискретна. А значит, всякое событие, всякое — есть фарс относительно некоей предшествовавшей трагедии и в то же время трагедия относительно некоего последующего фарса, никому не ведомо — какого... Только тот, кто смотрит сверху, это знает — но не поделится своим знанием ни с кем.

Впрочем, если принять такую точку зрения, придется признать, что жизнь действительно опошляется и мельчает с каждым годом и, тем более, веком.

Кашинский встретил Киру едва ли не там, где почти два десятка лет назад в режущих настильных лучах сухого и стылого октябрьского солнца встречал Асю Симагин, в последний раз пытаюсь сделать бывшее небывшим и повернуть жизнь вспять вместо того, чтобы дать ей течь своим чередом к никому не ведомым новым порогам. Тогда на асфальте сияли золотые и алые листья; они то дремали, то, стоило шевельнуться ветру, принимались с шуршанием ползать, как живые. Теперь под ногами была слякоть, и ноябрьская морось, мерцая, неслась по ветру в черном воздухе. Горели необъятные университетские окна, и горели на набережной оранжевые огни, за которыми угадывалась во мраке громадная, плоская пустыня Невы; но под голыми мокрыми ветвями, которые нависали над Менделеевской и тупо, глухо принимались молотить друг о друга, когда налетал особенно злобный порыв, — под ними было почти темно.

— Я знал, что вы в библиотеке. Мне сказали ваши, я звонил вам домой...

Кира молча шла своей дорогой.

— Кира, пожалуйста, постойте. Я должен объяснить.

Она не замедлила шага. Он суетливо пытался пристроиться рядом, но никак не мог попасть в ногу — то отставал, то забегал вперед, беспомощно заглядывая ей в лицо. Как когда-то — Симагин Асе.

— Вы, наверное, уже прочитали... или вам кто-то сказал? Если вы не читали, я принес газету, посмотрите!

Она шла, даже не глядя в его сторону. Словно не видела и не слышала. Оскальзываясь, Кашинский продолжал семенить рядом.

— Они там чуть перехлестнули пару раз, но это неизбежно, когда люди горячатся... а ведь они возмущены. Они действительно приняли все, что я рассказывал, близко к сердцу... и, по правде сказать, это нельзя

не принять близко к сердцу, Кира! Ведь то, что вы... что Токарев ваш творит, — поистине чудовишно! Они, в редакции, уже сами связались с Америкой, нашли бывшего сослуживца — это все правда. Я только от них узнал, что его отец — Симагин... Я ведь знал его, Кира! — он задохнулся. — Знал! Обманщик... Я мог бы вам много рассказать! Но я не об этом сейчас. Я о их негодовании. Мне даже не пришлось их уговаривать — наоборот, я пытался... да-да, Кира, поверьте, я честно пытался убедить их быть более бережными, более снисходительными и осторожными. Но ведь это люди с убеждениями!

Набережная приближалась неумолимо.

— Кира! Ну по стойте же! — отчаянно выкрикнул он. — Нельзя так! Хотя бы по стойте! Я ведь тоже человек!

Она остановилась и повернулась к нему. На какое-то мгновение ему показалось, что ему — удалось.

— Кира, я вас... — начал было он, желая наконец сказать «люблю», но она, хоть и вняла его мольбе, слушать не собиралась.

— Знаете, Вадим, раньше были такие люди — осведомители, — спокойно и бесстрастно сказала она. — Хорошо, что мы с вами их уже не застали.

Под Кашинским затрясся заляпанный слизью непогоды асфальт.

— Стоило возникнуть чему-то человеческому, настоящему — они тут как тут. Кто-то хранит фотокарточку отца, которого посадили, — надо сообщить. Кто-то на свой страх и риск читает книги по запрещенной генетике, — надо сообщить. Так я это себе представляю... Никакой Берия без них ничего бы не смог.

Она запнулась, и тут самообладание ей изменило.

— Стукач!! — крикнула она свирепо.

И Кашинскому показалось, что она сейчас его ударит или оттолкнет, он даже отшатнулся заблаговременно — и, потеряв равновесие, едва не упал сам.

Ася тогда ударила Симагина. Но Кире было мерзко даже ударить.

— Стукач!! — с невыразимым отвращением повторила она. Лицо ее исказилось так, что Антон, наверное, ее бы не узнал — такой он никогда не видел жену. Даже когда они ссорились, казалось, насмерть.

Резко повернувшись, Кира пошла к залитой половым рыжего света набережной; и больше не останавливалась.

А Кашинский еще некоторое время стоял там, где она его убила. Сердце зажалось, и не получалось вздохнуть. И тошно было доставать валидол. Ни к чему. Потом Кашинскому сделалось немного легче, и он немощно, будто старик, на подламывающихся ногах побрел в темноту, где не горели фонари, где плач и скрежет зубовой. Навсегда.

Другой взгляд сверху

— Надо же. И тэвэшники уже поспели.

— А хилая демонстрация. Народу немного, и не буняют. Так, отрабатывают свое...

— Боюсь, это только начало.

— Не бойся. Это наверняка только начало.

— Мне бы твои нервы, Андрей.

— На, — улыбнулся Симагин и подал ей две открытые ладони. — Из себя и то готов достать печенку, мне не жалко, дорогая — ешь.

— Кстати, о еде. Ты ведь голодный, наверное.

— Не очень. Я перекусил на факультете. А вот чайку — всегда с удовольствием.

— Пойду поставлю.

— Поставь.

Ася небрежно ткнула в сторону телевизора ленивчиком, и экран с готовностью погас. Тогда она встала и неторопливо пошла на кухню. А Симагин остался сидеть, задумчиво глядя в окошко, уставленное во тьму

ноябрьского вечера. Где-то по то сторону крутящейся измороси мутно светились разноцветные окна — будто лампочки на далекой елке.

Ася вернулась.

— Может, все-таки позвонить ему? — спросила она.

— Асенька, он совсем большой мальчик, — сказал Симагин. — Если мы ему понадобится, он сам позвонит. А докучать не надо. Он справится.

Ася села на диван рядом с ним, и он ласково обнял ее за плечи. Она потерлась носом о его щеку.

— Знаю, что справится, — сказала она. — Дело же не в этом. Как-то поддержать, посоветовать...

— Ну что тут можно посоветовать? И, главное, что можем посоветовать МЫ? Наше время ушло... ну, уходит. Теперь ему работать.

Она прильнула к нему плотнее и закрыла глаза. Как тепло, подумала она, как хорошо. А Антошке сейчас? Как-то Кира сможет его поддержать? Она, конечно, славная и сильная, и любит его, но тут... Ай, ладно. Матерям всегда кажется, что жены сыновей не дотягивают до нужных высот заботы и самопожертвования. Андрей прав, это уже их жизнь. Но и мы... Нет, Симагин, подумала Ася. Наше время еще не ушло. Пока ты можешь меня взять... и пока я могу... Ладно. Раньше времени не буду даже думать об этом. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Не исключено, что я тебе еще устрою сюрприз, еще удивлю на старости лет. Напоследок.

И себя удивляю, честно говоря.

Я уж думала, после всех тех дел я ничего не могу, — а вот поди ж ты. В мои-то годы... Жутковато.

Один раз я уже отняла у тебя твоего ребенка. Пусть не только по своей вине, — но и по своей тоже, я ведь все-таки не чашка, которую так легко переставить с полки на полку. А повела себя, как чашка.

Один раз отняла, но теперь сделать такую мерзость меня не заставит никакая сила на земле. Разве что смерть.

— Давай музыку поставим,— попросила она.

— Давай,— тут же согласился он.

— Рахманинова хочу.

— Давай Рахманинова. Вокализ?

— Угу. Нину Муффо.

— Ставь.

— Ну что такое, Симагин? В кухню я, за пластинкой я...

— А мне нравится смотреть, как ты ходишь.

Против этого возразить было нечего. Она улыбнулась и встала. Неторопливо и чуть позируя, как когда-то — десятиклассница Таня, пошла к проигрывателю. Обернулась на миг. Он смотрел на нее; он так смотрел на нее, что, казалось,— даже смерть ничему не преграда, досадная задержка всего лишь. И оттого ей совсем не было страшно. Жутковато, да. Но совсем не страшно. Люблю тебя, Симагин, подумала она. Люблю. Вот. И в какой уже раз ей показалось, что он все знает и понимает, никакого сюрприза не получится, он только молчит по известному своему принципу: не докучать и не приставать, покуда не позовут сами.

— Какая ты стройная,— сказал он.

13. Человек, который думал, что он хозяин

Телефон опять курлыкнул.

На сей раз это звонил Никодим — взволнованный и даже слегка ошалелый.

— Антон Антонович, вы не могли бы приехать сейчас?

Честно говоря, у меня душа ушла в пятки. Мне в тот сумасшедший день не хватало только еще каких-нибудь сюрпризов с Сошниковым.

— Никодим Сергеевич, что случилось?

— Вам лучше самому...— Никодим шмыгал вечно мокрым носом и от обилия непонятных мне чувств буквально приплясывал там, на той стороне проводов. За

нос я его не мог корить, — проведя пять минут у них в больнице, я понимал, что, сидя в ней целыми днями, не быть вечно простуженным нельзя. Но вот за это бес-толковое подпрыгивание мне всерьез хотелось его вздуть. Взрослый же человек, скажи толком, в чем дело!

Злой я был — донельзя. Отвратительное настроение, а от переутомления еще и раздражительность подскочила выше крыши.

— Вам лучше приехать и посмотреть самому.

— Никодим Сергеевич, объясните. Я очень устал. И я не хочу лишний раз выходить из дому. Вы что, газет не читаете?

— Конечно, не читаю. Что я — рехнулся, газеты читать... Да вы не бойтесь. Тут ничего худого не стряслось, наоборот. Просто я не хочу вам портить впечатление. Это надо видеть.

Ладно, в конце концов — что я теряю? Здесь торчать в унынии, то и дело бегая к окошку смотреть, редеет ли толпа, или, наоборот, прибывает, — тоже не отдых.

— Буду, — угрюмо сказал я.

— Вот и замечательно! — обрадовался Никодим. Я вместо ответа повесил трубку.

Меня задержали. Когда я вышел на улицу, и сырой ветер, нашпигованный колкой, зябкой моросью, окатил меня с головы до ног, и я побрел ему наперерез, не чая добраться до своей машины, — из аккуратной, ухоженной «тоёты», которой прежде я у нас во дворе никогда не видел, навстречу мне вышел моложавый и поджарый, не по-нашенски спортивного вида человек средних лет и пристально, как бы сопоставляя мою физиономию с неким мысленным прототипом, уставился на меня.

Процесс сопоставления оказался недолог. Человек приветливо заулыбался.

— Антон Антонович? — проговорил он с едва уловимым акцентом. — Я был уверен, что я вас застану. Я приехал посмотреть эту странную демонстрацию, и

уже я решил вас позвонить, но вот и вы. Как у вас говорят, на ловца и зверь бежит... Позвольте представиться — Ланслэт Пратт, сотрудник американского консульства. Занимаюсь культурными связями.

Опаньки, сказал я себе.

— Я хотел бы спросить у вас несколько вопросов. У вас найдется четверть часа?

— Разумеется,— ответил я.

Опасности я не чувствовал.

— Очень ветрено сегодня,— сообщил он.— Я предложу вам, например, укрыться в моей машине? Не бестактно?

— Не бестактно. Хотя мы можем, например, подняться ко мне, весь путь займет пару минут.

— Благодарю за гостеприимство. Но мне не хотелось так вот сразу доставлять вам какие бы то ни было хлопоты. Возможно, чуть позже... Чуть позже — почту за честь.

— Что ж,— проговорил я,— вольному воля.

— Спасенному — рай, кажется, так? — ослепительно улыбнулся Пратт. Эх, и зубы у них там куют, на вольной Оклахомщине, или откуда он...

Мы спрятались в салоне «тоёты», и я выжидательно воззрился на шпиона.

Он медлил, как бы не зная, с чего начать. Я был усталый, злой и раздраженный, и потому решил ему помочь, чтоб не мучился излишней светскостью.

— Почему демонстрация кажется вам странной? — спросил я, тоже по возможности ярко оскалившись.— Разве она не ваших рук дело?

У него в душе завертелись вихри образов. Ага, подумал я. Надо слушать во все фибры. Пратт, видимо, отличался большой систематичностью и четкостью мышления. Наверное, его не раз за это хвалило начальство. Теперь похваляю и я — слушать его было одно удовольствие. Не то что Жаркова вести с удалением чуть не в сотню метров.

— Итак. Вы еще более интересный человек, чем я думал,— сказал, опять улыбнувшись, Пратт. Весь этот разговор мы, сколько я помню, проулыбались дружка дружке.— Нет, представьте, пока не моих. Ваши сограждане, как у вас говорят, и сами с усами. Для меня все это полная неожиданность. Но, раз уж пошла, как у вас говорят, такая пьянка — в пару дней, я догадываюсь, подключится «Эмнести интернешнл», «Общество памяти жертв холокоста»... Много можно придумать. Короче, на вашей деятельности вы ставьте крест.

Он замолчал, выжидательно глядя на меня. Я молчал, выжидательно глядя на него. Стоящие к нам затылками люди с лозунгами редели, очень уж было холодно. Остававшиеся мало-помалу начинали согреться напитками покрепче, нежели пиво, и время от времени вскидывали быстро мутнеющие взгляды на те или иные окна моего дома, пытаюсь, видимо, угадать, где обитает гнойный пидор, по которому на зоне нары плачут.

— Я вас слушаю,— сказал я. Маяк... маленький маячок, твердо стоящая кишка, белая и гофрированная, с алым свечением на маковке; а рядом широкое асфальтовое поле и гладь Невы... Невки. Это же Парк Победы! Вон по левую руку наш с Кирой Голодай, светлые массивы домов за серой водной гладью! Яхт-клуб на Петровской косе, растопырившийся, как гигантский белый паук в полуприседе! Узнал, узнал! Зеленый забор, пляж... камни... отдельно лежащий камень у забора — тяжелый, да, но все-таки какой-то неправильно тяжелый, я его чувствую праттовской рукой. Ну, разумеется, место довольно уединенное; как-бы-камень на пляже, у самого забора, делящего общепрогулочную часть парка и какие-то разгороженные жестяными барьерами трассы — для картинга, что ли. В этом вот как-бы-камне Жарков получал упакованные туда Праттом списки фамилий, которые передавал затем Веньке, а тот перебрасывал, как лично добытый материал, Бережняку.

Уже неплохо поговорили. Ну, валяй, сэръ Ланселот, продолжай.

— Я должен сказать, что вы довольно давно в поле моего зрения. Я очень сильно интересуюсь российской культурой и, в частности, культурой вашего замечательного города. Но только прочитав эту поражающую глупостью статью, я заинтересовался всерьез и понял, что допустил непрощаемую оплошность. Ошибку. Мне давно бы следовало обратить внимание на то, что среди русских психотерапевтических салонов ваш занимает яркое положение по результатам.

Я вслушивался так, что едва слышал то, что он говорит вслух.

Сегодня Пратт послал к камню кого-то другого. Увидев утром жарковский сигнал, он подстраховался — и правильно поступил, раз Бероев уже к семи утра вычислил его безошибочно.

Какой-то ответ на свой сигнал Жарков в камне получит сегодня, но ездил сегодня к тайнику не Пратт!

— Чего вы хотите? — спросил я.

— Как у вас говорят, быка за рога, — улыбнулся Пратт. — Понимаю. Каждая минута на счету. Итак, я догадываюсь, что вы, вероятно, гений.

— Ваши заблуждения — ваше личное дело.

Первых действий Жаркова после получения посланки Пратт ждет сегодня между одиннадцатью и двенадцатью вечера. Не могу, хоть лопни, считать, каких именно действий. Не могу считать, что именно в посылке. Вот время — слышу. Так.

— Хорошо, — улыбнулся Пратт. — Во всех случаях, вы весьма одаренный человек.

Я улыбнулся в ответ.

— Не буду с вами спорить.

— Вот и отлично, потому что факты, как у вас говорится, упрямая вещь. Итак. Все одаренные люди мира заинтересованы в одном. В том, чтобы иметь наиболее благоприятные условия для жизни и для работы. А стра-

на, которая лучше всех способна обеспечить эти условия, заинтересована в том, чтобы все одаренные люди мира стали ее гражданами. Я достаточно четко формулирую?

— Бесподобно четко, я бы так не смог.

— В лучшем случае все должны сами постепенно съехаться к нам. Естественно, это не значит, что мы всем можем немедленно гарантировать институты, кафедры, собрания сочинений немедленно. Понадобится нам использовать данного человека или нет — это вопрос. Сумеет он сам проявить себя, или нет — это еще более вопрос. Но лучше уж ему заблаговременно быть, как у вас говорят, под руками... — он улыбнулся.

Государь рассмеялся, сразу вспомнил я.

— Однако в исключительных случаях — например, ваш — мы готовы звать сами и гарантировать много.

— А если какой-то одаренный человек предпочитает реализовывать свои дарования пусть и в худших условиях, но у себя? Что тогда?

— По-разному бывает. Смотря чем и в какой степени он одарен. Итак, будем говорить конкретно. Насколько можно судить по газете, если читать, как у вас говорят, между строк, — вами разработаны экстремально уникальные методики скрытого воздействия на психику через воздействие на рутинное поведение. По сути, через внешнее моделирование поведения — моделирование новых внутренних поведенческих матриц. Мы в таких методиках очень сильно заинтересованы. Очень сильно.

Ага, вот зачем я так им понадобился. Вставьте нам чипы... Понятно.

— Вы со мной говорите не только очень конкретно, но и очень откровенно. Как с заведомым покойником, — улыбнулся я. Он улыбнулся в ответ: фехтование полыханием зубов. Увы, тут у меня заведомый проигрыш, альбеда слабовато. Прошу не путать с либидо.

— Что вы! Об этом и речи пока нет, — Пратт помедлил, проверяя, оценил ли я это «пока». — Но

работать вам не дадут. Вообще не дадут. Не исключено, что возмущенная общественность доведет дело до суда. Я не очень сильно представляю себе условия ваших тюрем, но даже то, что знаю... — он, насколько позволял салон, развел руками. — Кроме того, разгневанные толпы русских фанатиков могут иметь серьезную опасность для вашей жены и вашего ребенка. Вы знаете это лучше меня.

Точно по Сошникову. В структуре, которая пытается стать тоталитарной, соблазн награды приходится форсировать страхом наказания — не клюешь на повышенную должность, тогда лагерь, не клюешь на увеличение зарплаты, тогда увольнение и полная нищета...

Ну-ну.

— А если я тоже вполне русский фанатик? — спросил я. — Плюну на безопасность жены и сына, решусь в тюрьму пойти, лишь бы не продаваться? Тогда как — ликвидация?

Он посмотрел на меня совсем уж внимательно, будто пытаюсь взглядом душу из меня откачать с целью взятия на анализ; и, судя даже по глазам его, тем более по стремительно пролетающим лоскуткам прозрачных, будто капроновые косынки, эмоций, которые я успевал уловить, — впервые за время нашего разговора он смутился.

Ему жутко почудилось на миг, что я и впрямь что-то такое ЗНАЮ; и ИГРАЮ с ним.

— Я догадываюсь, — осторожно сказал он на пробу, — что у вас самих так много экстремистов, которые жаждут кого-нибудь ликвидировать. И нам, как у вас говорят, грех возиться самим, — он чуть помедлил, присматриваясь. — Чуть направить — и, как у вас говорят, в дамки.

Я глядел на него с самым невинным видом. Нет, понял он, я ничего не знаю. Разумеется. Откуда мне.

— Мы же не убийцы, — облегченно сказал он и улыбнулся. — Ну что вы. Мы же цивилизованные люди.

Странно, как вам пришло это в ваш ум. Конечно, если предположить, что у вас возникла бы очередная, — он подчеркнул последнее слово, сызнова старательно показывая, какое дерьмо вся эта ваша Россия, — очередная черносотенная банда, которая вздумала бы убивать, например, не просто евреев, а вообще ученых...

Хороший поворот мысли: не просто евреев, а вообще ученых. Миляга парень.

Знаток России.

— ...со стороны наших спецслужб, насколько я понимаю их специфическую работу, — он польхнул зубами, — было бы совершенно непрощаемо не воспользоваться этим благоприятным обстоятельством. Вероятно, они обязательно постарались бы направить деятельность этой банды в наиболее выгодное для нашей национальной безопасности русло.

Он уже сам со мной играл. Аккуратно и с виду совершенно невинно мстил мне за то, что на долю секунды испугался, будто я играю с ним. И, конечно, попутно чуток запугивал.

— Полагаю, наши спецслужбы обязательно использовали бы эту счастливо не существующую банду для ликвидации наиболее перспективных ваших голов. Не всех, разумеется. Зачем всех голов? Лишь наиболее перспективных. Чем вы слабее, тем нам спокойнее. Вы же прекрасно понимаете: какие бы события у вас ни происходили, как бы ни менялись ваши правительства, Россия для всего цивилизованного сообщества средоточие сильного ли, бессильного ли — только такая разница — абсолютного зла. Оплот и защитница всех реакционных режимов, тренировочная площадка всех бандитов и террористов.....

— За исключением тех бандитов и террористов, которых тренируете вы.

Он искренне оскорбился.

— Мы тренируем защитников свободы!

— Мы угрожаем вашей свободе?

Он помедлил секунду.

— У вас, Антон Антонович, есть хорошая поговорка...

— Я смотрю, вы их собираете.

— Да, люблю. Вековая мудрость народа... Не полезная мудрость вымирающего народа, отдадим себе в этом отчет. Нам следует ее сберечь. Поговорка в этот раз пришла в мой ум такая: на молоке обжегшись, на вымя дуют.

Хорошая шутка, оценил я. И очень образная. Молодец шпион. То ли он решил продемонстрировать на сей раз недостаточное знание русской идиоматики, то ли, напротив, столь хорошее ее знание, что, дескать, может даже осмысленно шутить на этом поле. И тут я понял. Конечно, оговорка была намеренной. Потому что вода, на которую дуют в подлиннике, была сейчас ни при чем. Пратт в очередной раз давал мне понять, что социализм ли у нас, капитализм ли, холодная ли война или стратегическое пресловутое это партнерство — все сие не более чем молоко; а вот Россия — и есть вымя, истекающее тем ли, иным ли, но вечно и навечно нежелательным для них млеком.

— А еще у нас говорят: не дуй в колодец, пригодится молока напиться, — ответил я.

И он понял, что я понял.

— Ну, разумеется! — улыбнулся он. — Бриллиантовая поговорка! Мы это помним и понимаем. Этот колодец мы будем беречь. Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько он нам нужен и полезен. Мы его постепенно вычистим и отремонтируем, я обещаю вам. Но взамен мы наполним его той ВОДОЙ, которую предпочитаем пить мы.

И улыбнулся опять. Чи-из!!

— А тот, кто нам поможет в этом, проявит сильный ум, широту взглядов и умение перспективно мыслить, — добавил он. — Естественно, и большое личное мужество. А все эти качества нами уважаемы и

заслуживают материального и морального награждения. Так что, может быть, закончим с теорией и перейдем к разговору?

— Методики разработаны мной и известны только мне,— решительно сказал я.

— Мы согласны их купить и оставить вас на покое в вашем колодце. Хотя нас, безусловно, волнует не только вопрос обладания ими, но и вопрос, чтобы никто ими не обладал, кроме нас. Однако такая покупка, возможно, была бы наилучшим выходом для вас. Возмущение общественности так скомпрометирует вас, что вы никому здесь уже не сможете предложить свои услуги. Но останетесь на Родине, если уж это для вас...

— Не продается,— быстро сказал я. Надо было кончать этот треп. И мне срочно нужен был Бероев — а не при этом же хмыре ему названивать!

Пратт кивнул. Ему показалось, что он успешно провел прелиминарии и теперь разговор вошел в конструктивное, как обтекаемо выражаются дипломаты, русло. То есть превратился в торг.

— Может быть, все зависит от суммы?

— Исключено. Нет на планете таких денег, извините меня.

— О! — на сей раз он не просто улыбнулся, а засмеялся даже, поражаясь моей наивности.— Вы просто не представляете, сколько на планете денег!

Тут уж и я засмеялся. Его самоуверенность, его наивная наглость просто поражали. И возникла обычная в разговорах с американцами коллизия, я не раз в нее уже попадал и всегда умилялся,— каждый из собеседников считал другого великовозрастным ребенком. Остановившимся в развитии недорослем. И симпатичный, и глупый, и пороть вроде нельзя,— а надо бы ума вогнать, потому что элементарных же вещей человек не понимает, но свою голову не приставишь...

Наверное, потому так получается, что взрослый — это человек, адаптированный к своему миру, уже всей

плотью влитый в него. И каждый из нас был вполне адаптирован к СВОЕМУ миру. Но ИНОГО, привычного для собеседника мира напрочь не представлял — а потому видел своего визави просто-напросто еще не вполне адаптированным, еще не совсем влитым в единственно возможный мир; то есть растущим, как говорится, организмом, подлежащим воспитанию.

Ужас. А еще гуманоидов ждем. Радиосигналы посылаем к иным звездам, доисторическими культурами занимаемся. Дебилятник полный.

Он расценил мой смех как признак близкой капитуляции. Счастливый смех человека, впервые узнавшего, что денег на планете — много. Ну, дескать, если уж их действительно так много, тогда и вправду есть о чем говорить!

— Разумеется, однако, — развернул он еще более заманчивую перспективу, — мы предпочли бы, чтобы не только сами методики оказались у нас, но и их уникально одаренный разработчик выбрал бы свободу.

— Что такое свобода? — спросил я.

— Антон Антонович! Понтий Пилат тоже интересовался, что есть истина, — и чем кончил?

Я уже просто расхохотался. Ну как такого уроешь? Нанашки ему, максимум. Он еще будет меня Новому Завету учить! Это я, значит, Пилат, а он — Христос!

Как говаривал один мой друг, большой эрудит: ну что англосаксы могут понимать в христианстве, если даже Иоанн Креститель по-ихнему будет всего лишь Джон Баптист!

Надо закружаться.

— Газета вышла только сегодня, — как бы мысля вслух, сказал я. — О моих подпольных плясках вы узнали лишь вместе вот с этими беднягами, — я мотнул головой в сторону кучки работающих из последних сил, совсем уже продрогших, но, видимо, совсем уже изничтожавших трудящихся, осененных последним лозунгом, на котором я с такого расстояния, да в темноте, да на

ветру, мог разобрать лишь начальное «Не позволим...». — Так что, сколько я понимаю, серьезных полномочий у вас нет.

— Ах, вот что вас беспокоит,— буквально обрадовался он. Как же ему не радоваться, болезному: базар пошел, базар! Настоящая жизнь! — Но я успел установить связь со своим непосредственным начальством...

— Ваше непосредственное начальство, мистер Пратт...

— Можете звать меня Ланслэт. Нам еще, как я понимаю, встречаться много раз.

— Очень приятно, Ланслэт. Тогда уж и вы меня — Антон.

— С удовольствием, Антон.

— Так вот ваше непосредственное начальство, Ланслэт, мало того, что звучит это расплывчато донельзя,— оно для меня не авторитет.

— Я понимаю. Но поймите и меня вы. Чтобы выходить в более высокие инстанции, мне нужны минимальные гарантии. Вы пока ничего конкретного мне не сказали. Вообще ничего.

— А каких конкретных слов вы ждете? Конкретной суммы? Конкретного места, где я хотел бы жить? Калифорния, Луизиана, Мэн... Конкретной должности в конкретном университете?

— Это разговор,— серьезно подтвердил он.

Я помолчал. Потом сказал со старательной угрюмостью, на всякий случай играя в человека, припертого к стенке:

— Похоже, надо подумать.

— Это часто необходимо,— согласился он.— Хоть не всегда приятно.

— Я люблю думать. В том числе и о собственном будущем.

— Это очень полезное качество, Антон. Очень полезное. Итак, конец, как у вас говорят,— делу венец. Мне известны ваш адрес и телефон, я вас побеспокою

снова в несколько дней. Если вы придете к какому-то решению быстрее, тогда вот вам моя визитка.

Он и впрямь достал визитную карточку и подал мне. Я аккуратно упаковал ее в бумажник.

— Но я даю вам мой совет — не затягивайте. Русские любят думать десятилетиями, — он улыбнулся. — Как правило, о вопросах, не стоящих выеденного яйца. Давно уже решенных всем остальным миром. Такой подход к жизни очень ее укорачивает, — и он со значением посмотрел мне в глаза.

— Договорились, — сказал я. — Приятно было познакомиться, Ланслэт.

— Счастливо, Антон. Бай-бай.

— Бай-бай, — ответил я машинально.

Неужели они действительно так у себя говорят, мельком засомневался я, выползая из угрюмого салона на промозглый ветер. Или это он русское представление об американцах уважил?

Уважительный какой.

Я побежал к своей «ладушке». Мне срочно нужен был Бероев.

14. Мы

Я едва успел утвердиться на сиденье и завестись, как телефон у меня в кармане подал голос сам.

— Алло?

Это и был Бероев.

— Приветствую вас, Антон. Наговорились с Праттом?

Я аж передернулся, как вылезший из мутной речки старый кобель.

— Кого пасете — меня или его?

— Его, разумеется.

— Слышали разговор?

— Слегка. Жучка еще не вогнала, к сожалению, но лазерным микрофоном стекло машины слушали. Он,

увы, тоже не фэраер — мотор-то все время работал на обогрев, вибрация здорово мазала...

— Вы где?

— Неподалеку. Но уже становлюсь дальше, — Пратт поехал, мы за ним. Я так понял, он вас покупал.

— Да. Вообще-то мне конец, меня в газете засветили.

— Демонстрацию я, представьте себе, заметил. Вы та еще штучка, Антон. Сколько меня ждет новых сюрпризов?

— Не до шуток, Денис. Впору с собой кончать, на самом-то деле.

— Не надо. Вы мне нужны, я еще не нашел истину.

— Я тоже.

— Вместе легче.

— Быть с вами вместе, Денис, как я погляжу, себе дороже. Надеюсь, мою квартиру вы своими микрофонами слушать не станете?

Я спросил и сразу вспомнил, как утром Бережняк спросил меня: надеюсь, внизу засады нет?

Вот житуха пошла. Куда ни кинь...

— Нет, разумеется, — ответил Бероев.

Скажет он, держи карман шире. Это я мог Бережняку ответить честно; а Бероев, как бы он лично ко мне ни относился, — на работе. Хуже того — на ОКЛАДЕ. Всего можно ожидать.

Хоть он мне и нравится, — но это вот обстоятельство надо постоянно иметь в виду.

— Антон, нет, — будто угадав мои мысли, повторил он. — Нет. Честное слово.

— Ладно, — сказал я, — проехали. Дурацкий вопрос. Как Жарков?

Бероев засопел.

— Пропал.

— То есть что значит пропал?

— Вот то и значит. Лучше не травите душу, не злите меня, я и так злой. Мы вычислили Пратта, это его ездка на работу, где сигнал Жарков поставил. Водили

его весь день, но он — никуда. А спохватились — дома Жаркова нет, на работе нет... Вилы!

— М-да,— сказал я.— Через месячишко вынырнет где-нибудь в Люксембурге и насчет интервью раскидывать и книжки писать, как у нас все продано-куплено, испачкано-измызгано, но все равно он любит свою великую Родину шибче всех, кто тут остался...

— Почитаем,— сказал Бероев и, поразмыслив, добавил: — Если не поймаем.

Потом подумал еще и сказал:

— Хотя я предпочел бы поймать.

Ну и выбор у меня. Опять.

Была не была, пусть думает, что хочет! Пусть просвечивает меня своими лазерами. А вот Жаркова я урою. Жаль, не считалось у меня с Пратта, сколько и на какой счет Жарков получал за каждый переданный Веньке список... Да и вряд ли он только этим занимался. Ценный кадр был, наверное. Урою. Будь что будет.

Конечно, даром мне это не пройдет. Товарищ Бероев из меня потом всю душу вынет этак по-товарищески, выясняя, как я ухитрился...

Все одно пропадать. А Жаркову прощения нет. За сирот и вдов, за слезы матерей... За Сошникова, за Бережняка. Словом, за Пятачка-а-а!!!

Будь что будет.

— Денис,— сказал я,— сейчас вам будет еще сюрприз. Извините, что по телефону, но время поджимает. Кто услышит — я не виноват.

— Ну? — опасливо спросил Бероев.

— Давайте так считать. Вы ведь сами сказали, что слышали отнюдь не весь наш разговор с Праттом, да? Так вот я его малость расколот.

— Что?! — вырвалось у Бероева. Очень смешная была интонация. То ли возмущение, то ли презрение к штафирке...

— Дело вот в чем,— я не обратил на крик его души никакого внимания.— Пратт третий оказался. Увидев

сигнал Жаркова, он на всякий случай отреагировал не лично, а через кого-то из сошек. Некая инструкция оставлена Жаркову в тайнике. В нем же, кстати, Жарков получал списки фамилий для передачи Веньке и далее к Бережняку. Тайник замаскирован под длинный такой, с полкило весом, камень, на огурец похож. А лежит сей бел-горюч камень на пляже напротив яхт-клуба, вплотную у зеленого забора. От Петровского моста налево до упора, и дальше снова влево, к речке по песочку. Там есть немалый шанс взять Жаркова с камушком в руке. По темному ему большой резон к тайнику идти, нежели днем.

Я говорил и все больше удивлялся, что Бероев меня не прерывает. Даже опять встревожился, не разъединилось ли. Закончил, а он все молчал. Но связь работала, я слышал в трубке какие-то звуки — дыхание, сопение, курение...

— Вы предлагаете мне вот так вот вам поверить? — напряженно спросил Бероев потом.

— Я предлагаю ехать туда немедленно! — заорал я. У меня уже нервы рвались, проклятый день. — И брать эту сволочь с поличным! Ничего я не предлагаю, решайте! Все!

Он долго молчал. Долго курил, долго.

— Знаете, Антон... То, что я вам сейчас подчиняюсь, сам я могу объяснить лишь комплексом вины, который, оказывается, во мне за эти годы расцвел пышным цветом. Перед вашим отчимом, перед... — даже в телефон было слышно, как скрежещут у него голосовые связки. — Перед всеми вами. Проклятое ваше племя, никогда не знаешь, чего от вас ждать. Еду. Провались все пропадом, еду.

С непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство...

— Цигиль, цигиль ай лю-лю, — сказал я. Он фыркнул и отключился. Я отдулся, с силой провел ладонью по лицу и положил ладонь на рукоять скоростей.

Да, похоже, я пропал, как-то отстраненно размышлял я, буквально на автопилоте руля по вечернему городу. Расплываясь в мороси, плыли назад уличные огни, на обгоне продергивались мимо габариты лихачей. А вообще-то — тьма. Равнодушие к себе меня просто изумляло; казалось, мне уже нет до себя ни малейшего дела. Из этих жерновов, думал я, целенькими не выпрыгивают. Нет, не выпрыгивают. Машину затрясло и заколотило на трамвайных путях. Прыг-скок — подвеска йок. Способна ли православная парадигма хоть раз уложить асфальт как следует? Хотя бы в двадцать первом веке от Рождества Христова — если уж в двадцатом не смогла? Или, по формулировке Сошникова, и в двадцать первом тоже ТАК СОЙДЕТ? Целенькими не выпрыгивают... Прыг-скок. Говорят, страдания и невзгоды облагораживают. На конька Иван взглянул И в котел тотчас спрыгнул — И такой он стал пригожий... Это сказка. А вот реализм: Два раза перекрестился, Бух в котел — и там сварился!

Кажется, крыша едет.

Все, берем себя в руки. Чем-то сейчас порадует Никодим?

— Ну, я уж думал, вы передумали, — шмыгая носом, сказал он. Врачу, исцелился сам. — Идемте.

— Вы можете толком сказать, в чем дело? Я теперь в таком состоянии, Никодим Сергеевич, что запросто укусить вас могу. И мне ничего не будет, потому что я маньяк.

Он, похоже, и не вслушивался. Сопел и тащил меня за рукав в палату, как муравей соломинку.

— Идемте, идемте...

Похудевший, заросший по щекам редким и длинным серым ворсом Сошников сидел на кровати, храбро глядя в неведомую даль.

— Ну? — спросил я. Убью Никодима, убью...

— Да вы что? — возмутился Никодим.

И тут до меня дошло.

Сошников МОЛЧАЛ.

На его подбородке и недоразвитой бороде не было ни малейших признаков слюны. И он не пел свою проклятую «Бандьеру». Губы его были вполне осмысленно сжаты, и он смотрел. Слепые глаза не болтались расхлябанно туда-сюда, а всматривались во что-то впереди.

— Никодим Сергеевич... — обалдело прошептал я. Почему прошептал — понятия не имею. От благоговения, по всей вероятности. Боясь спугнуть чудное виденье.

— Ну! — воскликнул Никодим с восторгом и тоже вполголоса. — Врубилась? То-то. Я днем прихожу... Молчит. Молчит! И вы знаете — смотрит! Вы в глаза-то ему загляните!

Я сделал шаг влево и чуть нагнулся, чтобы лицом попасть прямо в поле зрения Сошникова. Несколько мгновений он еще вглядывался в свое прекрасное далёко, — а потом его взгляд ощутимо зацепился за меня. Неторопливо и пытливо пополз, осматривая мою, кажется, щеку; потом лоб.

— Смотрит... — прошептал я.

— Угу, — прошептал Никодим.

— Говорил что-нибудь?

— Нет. Просто молчит. Рот закрыл. Смотрит.

— Добрый вечер, — отчетливо и мягко произнес я. — Добрый вечер, Павел Андреевич.

Губы Сошникова шевельнулись. Он величаво — совсем теперь, к счастью, не думая, насколько он смешон или жалок — поднял худую руку, нелепо торчащую из необъятного рукава больничного халата, и тонкими пальцами взял меня за плечо. Так могла бы взять меня за плечо синица.

— Спаситель, — немного невнятно сказал Сошников.

— Ё-о-о... — потрясенно высказался Никодим и сел на пустую койку позади.

Я накрыл холодные, влажные пальчики Сошникова своей ладонью, продолжая глядеть ему в глаза. И он продолжал меня разглядывать.

— Ну какой же я спаситель,— негромко и спокойно проговорил я, не шевелясь и не отводя взгляда.— Я, Павел Андреевич, в лучшем случае просто предтеча.

— От скромности вы не умрете, Антон Антонович,— ехидно шмыгнув, сказал у меня за спиной Никодим.

— Я от нее уже умер несколько лет назад,— не оборачиваясь, ответил я все так же негромко.— Теперь я просто зомби.

— Зомби тоже может играть в баскетбол,— понимающе шмыгнул Никодим.

— Во-во.

— Спаситель,— повторил Сошников уже четче.

Я вернулся домой в начале десятого, как-то странно успокоенный и умиротворенный. Вряд ли Сошников поправится полностью. Возможно даже, что он придет в себя именно настолько, чтобы осознавать бедственность своего положения, и не более. Это будет для него лишь ужаснее. А может, и нет, может, я чересчур мрачно смотрю. Во всяком случае, хоть что-то сместилось к лучшему, хоть на миллиметр,— и оттого на душе полегчало. И даже некая символичность тут мерещилась: уж если даже он, вконец одурелый, после буквально нескольких дней не Бог весть какой златообильной, зато искренней человеческой заботы все же перестал бубнить, как заведенный, про красную бандьеру и сдюжил осмысленно сфокусировать взгляд,— может, и все мы раньше или позже сможем? Во всяком случае, мертвенная измотанность моя превратилась в здоровую усталость, от которой хочется много есть и долго спать. А для меня уже и это теперь было блистательным достижением.

Хорошо, что Никодим меня заставил приехать в больницу.

Рассеянно и с некоторой даже ухмылкой мурлыча себе под нос «Бандьеру», я принялся ляпать себе торопливую яичницу. Потом, поразмыслив, достал из холодильника ломтик сала, который приберегал для ситуаций, когда есть надо шустро и сытно, и мелко порезал, чтобы спровадить в сковородку. Говорят, еда — естественный транквилизатор. Вот мы и накатим вместо колес.

Когда я поднес ко рту первую ложку жарко и вкусно дымящейся пищи, зазвонил телефон. Я аж ложку выронил, подскочив на стуле; первой мыслью было: Бероев! Взяли?!

— Антон, ты дома? — сказал из трубки голос Киры. Замученный голос. Без жизни, без света...

— Да,— сказал я.

С учетом того, что звонила она не по мобильному, это явно был уже разговор двух сумасшедших.

— Ты можешь разговаривать?

— Вполне.

— С тобой все в порядке?

— Конечно. А ты? У тебя голос больной, Кира...

— Что ты думаешь с этим делать?

— В суд подавать,— сразу поняв, о чем она, наотмашь ответил я.— Знать бы только, какая зараза стукнула. Ждать мне еще утечек, или это все.

— Это все.

— Откуда ты знаешь? — оторопел я.

Она помолчала.

— Антон, это я.

— А это я,— ответил я, еще не понимая.

— Это я стукнула. Так получилось. Если ты сможешь со мной общаться теперь, я тебе потом расскажу подробно.

Я не стоял, а уже сидел. И сказать «Ё-о-о!» в беседе с женою не мог. Поэтому просто одеревенел.

— Антон,— позвала она.

— Да, Кира. Я тут, тут.

Но я уже был не совсем тут. Не весь. Я уже думал о том, как я сам-то от великой мудрости и доброты сдал ее какому-то там Кашинскому; и попробовал бы я объяснить ей, как это произошло.

— Не надо рассказывать подробно,— сказал я.

— Антон.

— Да, Кира.

— Знаешь, говорят, если кого-то простишь, то как бы становишься к нему гораздо ближе. Можно даже опять полюбить того, кого простил. Ты не хочешь попробовать меня... простить?

Все-таки общими усилиями они довели меня до слез нынче. Отчаянно защемило переносье, и в углы глаз будто пипеткой накапали кислоты.

Я проглотил тяжелую, разбухшую пробку в горле и сказал:

— А ты меня?

— А я тебя уже простила. И, ты знаешь, люди все правильно говорят. Так и получилось. Полюбила.

Я молчал и только, будто Никодим, шмыгал носом, стараясь делать это как можно аккуратней и тише.

— Знаешь, я вдруг сообразила наконец, что за тебя отвечаю. Даже если мы поссоримся, все равно отвечаю. И рождение Глебки с этим вовсе не покончило... Не только за то, чтоб ты был начищен-выглажен,— она прерывисто вздохнула.— За то, чтобы ты смог сделать то, что хочешь. До меня это прежде как-то не доходило. За судьбу. Победишь ты жизнь или надорвешься. Останешься собой или не сдюжишь. Сохранишь цель или сил не хватит. Вот за все это.

— Кира...

— Мы хотим к тебе. Хотим быть с тобой, когда эти завтра опять под окна придут. Ты не мог бы за нами заехать? Сейчас вот прямо, если только ты не...

— А Глеб не против? — вырвалось у меня.

— Он по тебе очень соскучился. Но он же гордый, Антон, очень. Как ты.

Я помолчал.

— Если не хочешь, так и скажи. Но я все равно за тебя отвечаю.

— Хочу. Но дай мне четверть часа...

— На размышление,— договорила она за меня.

— И сборы.

— Хорошо. Мы ждем. Если ты звонишь — значит, не едешь. Если едешь — мы ждем, когда ты войдешь, можешь и не звонить, только приезжай скорее. И как бы ты ни решил,— можешь смело подавать в суд, утечек больше не будет, и единственный свидетель откажется от показаний.

Она первой положила трубку.

Ну и денек...

Я вытер глаза и взялся за ложку. Некоторое время подержал ее у рта, потом опять отложил и опять потянулся к телефону. Что же я за падла такая, даже родителям не отзвонил, что жив-здоров; они ведь наверняка волнуются.

— Привет,— сказал я как ни в чем не бывало, когда па Симагин знакомо и уютно алекнул с той стороны.

— О! — обрадованно сказал он.

— У вас порядок?

— Да. А ты как?

— Ну, сам понимаешь... Прессу читаешь, ящик смотришь?

— Не отрываемся.

— Мама как переносит?

— Стойко. Рвется позвать тебя переехать к нам, пока все не уляжется.

— Пока не стоит. А у тебя какие соображения?

— В детстве мы говорили: кто как обзывается, тот сам так называется.

— Мы, представь, говорили так же.

— А есть еще вот какая мудрость: блажен принявший хулу за Господа.

— Считай, я приободрился. Приблагенился.

Па засмеялся и сказал:

— Я на это и рассчитывал.

Хорошо с ним все-таки разговаривать. И без котурнов, и без сю-сю. По-товарищески.

Товарищу Симагин...

— А вот скажи, па. Бог все может простить?

— Нет,— серьезно ответил он. Я несколько опешил. Честно говоря, я ждал совершенно иного ответа.

— Нет?

— Нет. Только то, в чем человек искренне и исчерпывающе покается.

— Ах, вот как Бог это делает...

— Да. Не ерничай. Тут довольно тонкая вещь. Я в молодости сам не мог понять, как это так: одному раскаянному грешнику Господь радуется больше, чем десятку смиренных праведников. С точки зрения обыденного здравого смысла некрасиво получается по отношению к праведникам, да? А с точки зрения информационных структур? Почему раскаянный грешник ценнее? Потому что он уходил из системы, но вернулся в нее и способен ее обогатить чем-то, не бывшим в ней прежде. А конформным братьям блудных сыновей не на что обижаться: скорее всего, они столь смирны не от праведности своей, а из корысти и лениности духовной. А если б волею обстоятельств ушли, то опять-таки по безвольности своей никогда не сумели бы, не решились бы вернуться. Просто были бы конформистами уже в каком-то новом месте. И, по сути, ничего не могли бы дать там — так же, как нечего им было дать и по прежнему месту жительства. Чтобы оказаться способным духовно обогатить свое гнездо, надо развиваться самому, а значит, нельзя не стать отличным от гнезда, нельзя не пройти через момент измены гнезду. Нельзя перед ним не провиниться. Однако и гнездо в таких ситуациях всегда виновато. Оно ведь не может не начать произвольно выталкивать того,

кто стал от него отличен. И затем лишь акт покаяния-прощения, всегда — обоюдный, восстанавливает разрушенную связь и делает возможным обогащение системы.

— Ну ты даешь.

— Спросил — так слушай. Пригодится. Великие богословы откуда-то ловили крупинки этого знания. Как именно, — трудно сказать, бывает иногда всякое.

Уж нам ли с Александрой не знать, как это бывает, подумал я. Только вот что-то с горних высей я покамест ничего не улавливал.

Или улавливал, да не понимал, что это — ОТТУДА?

— Ну, например, Плотин: в мире том нет взаимосопротивления, а только — взаимопроникновение. Все там — красота, соединяющая все и вся с ее источником Богом. Там нет никакого разделения, как на земле, там — единство в любви и целое выражает частное, а частное выражает целое... И замечают себя в других, потому что все там прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо со всех сторон.

— Ты тоже этот текст знаешь? — вырвалось у меня. Я читал выдержки из него на сошниковской дискете.

— Ну, а почему бы и нет? — спросил он, и по голосу было слышно, что он улыбается. — Это же описание взаимодействия информационных пакетов, способных к комбинации в единую сложную структуру, — он помолчал несколько секунд. Странно: я даже забыл, что тороплюсь. Секунды и минуты уже ничего не решали. Решали не они.

Как это сказал Бероев: я еще не нашел истину?

— Мы тут суетимся, кочевряжимся — и создаем эти пакеты в душах своих. Что способно влиться в единую структуру, не будучи, в то же время, повтором того, что уже в ней существует, — то и вливается. Что не способно, — не обессудьте. Одинаковое не вписывается — и не способное к взаимодействию не вписывается. Помнишь, у Иоанна Богослова: и кто не был записан

в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное... Имя озеру — забвение. Вечное исчезновение. Ад. Информация, не взаимодействующая с единством, утрачивается уже необратимо, навсегда. А книга жизни — вот эта самая единая информационная структура, которая из нас всех помаленьку строится. Где все элементы, не сдавливая друг друга, в реальном своем состоянии, без прикрас и притворства, сочетаются каждый с каждым. И каждый новый — со всеми предыдущими и со всей системой в целом. Не устал?

— Еще терплю.

— Молодец. Я даже вот что думаю: именно по книге жизни структурируется потом следующая Вселенная. Ну, после очередного Взрыва, понимаешь. Эта структура и есть Творец. Бог. Вселенную создает ее Бог, но Бога каждой последующей Вселенной общими усилиями создают души существ, населяющих каждую предыдущую. Потому так важно одновременно и необозримое разнообразие элементарных пакетов, и их комбинаторное единство. Представь, что было бы с миром, если бы, например, постоянная Планка и постоянная Хаббла оказались бы тождественны? Или, наоборот, скорость света и масса фотона не простили друг друга за то, что они такие разные, и не согласились бы работать вместе?

Еще один разговор двух сумасшедших, мельком подумал я, боясь пропустить хоть слово. Ну и денек.

— Это структурирование материи последующей Вселенной после конца света, то есть схлопывания предыдущей, наверное, и есть то воскресение телесное, которого чают в молитвах. Весь веер мировых констант, которые так bravо дополняют друг друга, так изящно и точно сочетаются, — но ни в коем случае не сводятся к одной или нескольким немногочисленным. Или, например, ДНК.

— Как-то не очень соблазнительно праведнику воскресать всего лишь в виде нуклеиновой кишки, а, па?

— А откуда ты знаешь, как выглядели и что из себя представляли праведники предыдущей Вселенной?

Да, тут он опять меня уел. Невозможно представить.

— Нам этого не вообразить, как не вообразить доквантового и доволнового состояния материи вообще. Ровно так же вся мудрость нынешней церкви не способна вообразить, каким будет телесное воскресение праведников нынешних. Чаем воскресения, ведаем, что станем неизмеримо прекраснее нынешних тел, — и все. Будет что-то качественно иное. А какое именно — это мы, сами того не ведая, предопределяем сейчас. И не камланием каким-нибудь, а самой своей жизнью.

И умолк.

— Па, — сказал я, поняв, что продолжение следует, только если я сам о том попрошу, — а вот вопрос на засыпку. Откуда ты все это знаешь?

— Ответ на засыпку, — ответил он, и я понял, что он опять улыбается. — Не скажу.

Вот так, наверное, было Бероеву слушать мои невесть откуда взявшиеся откровения. Знаю — и баста. Несовременно, в высшей степени несовременно.

Но он мне — поверил.

И, если не опоздал, — правильно сделал, что поверил.

— Ну, ладно, — сказал па. — Кире привет передавай.

И мне, как часто бывало, показалось, что он подсматривает откуда-то сверху и знает все, что у нас тут с Кирой накрутилось. Наваждение...

— Маму позвать? — спросил он.

— Конечно, па, — ответил я. — Спасибо.

Разговора с мамой я пересказывать не буду. Все разговоры с мамами одинаковы. Одинаково прекрасны и одинаково благотворны для души. Собственно, все или почти все разговоры с папами тоже одинаковы, — но на этот раз па, честно скажу, просто себя превзошел.

Гены как телесное воплощение праведников предыдущей Вселенной... До такого и Сошников бы не додумался. Это выглядело настолько безумно, что и впрямь могло оказаться истиной.

Мне не суждено было съесть свою заскорузлую яичницу. Я опять замер с ложкой у рта, потому что мне сызнава плеснули под череп кипятком.

А не помочь ли Богу?

Знать как можно больше, помнить и понимать как можно больше — и прощать как можно больше... И в сошниковскую доктрину цивилизационной цели это впишется. Знать и помнить — это колоссальное развитие информационных технологий, электроники, средств связи и слежения, разведки, наконец... Обеспечивает вполне высокотехнологичную суету промышленности. А прощать — на это компьютеры не способны, это национальный характер, широкая душа. Кто обиду лелеет, — тот не русский... Кто старое помянет, — тому винч вон!

М-да.

Вот только стоит преобразовать сие в унифицирующий код государственной идеологии — икнуть не удастся, как по просьбе трудящихся прощенные воскресенья сделают еженедельными, да еще субботники введут по дням рождения каждого из апостолов. А ночами тебя начнет вызывать какой-нибудь оберштурмпрости-тель с добрым голосом и ледяным взглядом, в белоснежных ризах и белом венчике из роз с вплетенными алыми лепестками — знаками различия, сажать перед собой и, поигрывая карандашиком, вопрошать: «Наша лучшая в мире аппаратура, брат Антон, показала, что сегодня вы прощали врагов своих недостаточно искренне. Что вы можете сказать в свое оправдание?»

Проходили.

Вряд ли Бог нуждается в такой помощи. Он уж лучше как-нибудь сам, своими силами...

И все же тут есть что-то. Просто надо додумать. Я опять, в который уже раз на дню, начал переодеваться

из домашнего в уличное, бормоча: «Завтра встану на рассвете — И решу проблемы эти; Право слово, не брешу — Все проблемы я решу»...

Но — завелся. И остановиться уже не мог.

Значит ли это, что использовать государство для созидания будущего невозможно и, следовательно, вся традиция ошибочна? Неужели максимум, которого можно добиться, — это сделать государство средством защиты НАШЕГО будущего от НЕ НАШЕГО настоящего?

Но это тоже немало — и, в сущности, значит, что традиция все-таки верна, только нельзя требовать от нее слишком много. Нельзя требовать от государства, чтобы оно создавало будущее ЗА НАС. Нельзя ему это передоверять.

Между прочим, сообразил я, накидывая куртку, если строго держаться сошниковской схемы, передоверять-то стали лишь начиная с большевиков.

Я так и оставил тарелку с иссыхающей яичницей и испачканной ороговевшим желтком ложкой посередине стола. Приеду с Кирой и Хлебчиком, — пусть видят, как я торопился. Подозрительно обвел квартиру взглядом — как тут насчет лазерных микрофонов? Вибрация, говорите, мешает? Сестра, включи потромче телевизор...

И пошел из квартиры вон.

Вот, собственно, и все пока.

Что было дальше? Много чего, но все такое неважное... Самым важным в этой истории, не поверите, — оказался звонок Киры. Самым важным.

Ну, если уж кому невмоготу, — взяли, взяли Жаркова с его камнем за пазухой. Я и доехать-то до Киры не успел, — позвонил Бероев, изможденный и радостный, будто его только что телесно воскресили.

А вот что будет дальше?

Не знаю. Никто не знает. Что-нибудь да будет. Мы с Кирой и с мамой, с па Симагиным и с Бероевым, с

Никодимом, и с журналистом моим, и с коллегами из «Сеятеля», и, между прочим, с Вербицким... и, надеюсь, когда-нибудь — с Глебом... мы об этом позаботимся. Пусть писатель Замятин перевернется в гробу, пусть хоть ротором там завертится,— МЫ.

ОБ ЭТОМ.

ПОЗАБОТИМСЯ.

Сентябрь—ноябрь 1999,

Коктебель—Судак—Санкт-Петербург

Содержание

Пролог. И я поплыл	5
1. Последний осмысленный разговор с Сошниковым	25
2. Тень, так сказать, минувшего	48
4. Задание моей жены	95
5. Настоящий журналист и ненастоящий журналист	148
6. Выпил рюмку, выпил две — оказалось двадцать две	176
7. Хмурое утро	202
8. Телефон и другие	210
9. Он на зов явился	241
10. Товарищу Бероев	293
11. Грязный наймит империализма	318
12. Два сюрприза — один от меня, другой мне от любимой	332
13. Человек, который думал, что он хозяин .	360
14. Мы	372

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ



ЛУЧШИЕ
КНИЖНЫЕ
СЕРИИ

СЕРИЯ "ЗВЕЗДНЫЙ
ЛАБИРИНТ"



Лучшие произведения отечественных писателей-фантастов! Признанные мастера: Андрей Лазарчук, Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко - и молодые, но не менее талантливые авторы: Владимир Васильев, Александр Громов и многие другие. Глубина мысли, захватывающий сюжет, искрометный юмор - все многообразие фантастики в новой серии нашего издательства.

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140 АСТ - "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ



ЛУЧШИЕ
КНИЖНЫЕ
СЕРИИ

СЕРИЯ
"КООРДИНАТЫ ЧУДЕС"



Лучшие из лучших произведений мировой фантастики, признанные мастера, живые классики жанра и талантливые новые авторы последнего поколения фантастов, буквально ворвавшиеся в литературу...

Величайший фантастический шедевр нашего времени — трилогия Дэна Симонса "Гиперион", "Падение Гипериона" и "Эндимион", неподражаемо оригинальные романы Дугласа Адамса из цикла "Автостопом по Галактике" и остросюжетный, полный приключений сериал Лоис М. Буджолд о космическом герое Майлзе Форкосигане, великолепные Грег Бир, Конни Уиллис, Джонатан Летем, Джордж Мартин и многие другие...

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:
107140, Москва, д/я 140 АСТ — "Книги по почте".
Издательство высылает бесплатный каталог.

**ПОКЛОННИКИ
РОБЕРТА ДЖОРДАНА,
ЭТО ДЛЯ ВАС!**

Вы хотите еще раз оказаться в мире,
где обитают короли, королевы
и женщины, которые одни способны
пользоваться Единой Силой,
вращающей Колесо Времени?

Хотите еще раз побывать на
извечной войне между защитницами
Света и Отродьями Тьмы?

Хотите узнать, как все начиналось?

Читайте новый сборник «Легенды»
и новую повесть Роберта Джордана
из цикла о Колесе Времени. Новый
эпизод одной из самых знаменитых
саг за всю историю фэнтези.

Не пропустите!

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140 АСТ — «Книги по почте»

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ

Анджея Сапковского
ВЕДЬМАК



**ЛУЧШИЕ
КНИЖНЫЕ
СЕРИИ**

**СЕРИЯ
"ВЕК ДРАКОНА"**



В серии готовятся к выпуску произведения признанных мастеров жанра фэнтези — Анджея Сапковского, Роберта Джордана, Лоуренса Уотт-Эванса, Кристофера Сташефа, Глена Кука, Терри Гудкайнда, Дэйва Дункана, а также талантливых молодых авторов: Мэгги Фьюри, Марты Уэллс, Грегори Киза и других.

"Век Дракона" — это мастера мечей и волшебства, войны с кровожадными чудовищами и ошеломляющие поединки, великие герои и отважные воительницы, невообразимые страны и невероятные приключения...

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140 АСТ — "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

Поклонники таланта Стивена Кинга, —
ЭТО ДЛЯ ВАС!

Поклонники цикла
«Темная башня», —
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Мы предлагаем вам
НОВОЕ
произведение «короля ужасов»,
повествующее о **НОВЫХ** приключениях
Роланда и его друзей на пути
к таинственной Темной Башне, —
повесть «Смиренные сестры Элурии»,
в антологии «Легенды»
(Золотая Серия Фэнтези).

Помимо Стивена Кинга, специально для этой антологии написали повести *Терри Гудкайнд*, *Роберт Джордан*, *Орсон Скотт Кард* и другие знаменитые «творцы миров».

Антологию «Легенды» и другие книги издательства АСТ можно купить в наших фирменных магазинах или заказать по почте по адресу:

107140, Москва, а/я 140, АСТ — «Книги по почте»

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ



ЛУЧШИЕ
КНИЖНЫЕ
СЕРИИ

СТИВЕН КИНГ

Имя, которое не нуждается в комментариях. Не было и нет в «литературе ужасов» ничего, равного его произведениям. Каждая из книг этого гениального автора — новый мир ледящего кошмара, новый лабиринт ужаса, сводящего с ума.

Читайте Стивена Кинга — и вам станет по-настоящему страшно!

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140 АСТ — "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

Вы — поклонник «черной литературы» — мистики, ужасов, «темных фэнтези»?

**Тогда не пропустите книги новой серии
«Темный город»!**

В этой серии вышли:

Антология «Темная любовь» — двадцать две истории страсти-Одержимости, страсти-Кошмара. Двадцать две истории Безумия, Боли, Безнадеги, которые дарят вам лучшие мастера современной литературы ужасов, от неподражаемого Стивена Kinga до элитарной Кейт Коджа и обжигающего Джона Пейтона Кука.

Антология «Холод страха», которую составляют рассказы, представляющие собой всевозможные направления «литературы ужасов» — от классической ее формы до психологического саспенса, изящного «вампирского декаданса» и черного юмора, от ранее никогда не публиковавшейся в России новеллы Стивена Kinga — до ироничного ужасика Мервина Пика.

«Запретный плод» и «Смеющийся труп» Лорел К. Гамильтон — первые две книги одного из самых культовых «вампирических» сериалов мира, стильные, пряные и эффектные хроники бытия «тех, кто охотится в ночи», и тех, кто посвятил свою жизнь изысканному и опасному искусству охоты на «ночных хищников».

«Дом» — первый роман блистательного Бентли Литтла, любимца Стивена Kinga. История страха, крови, смерти. История людей, вырвавшихся из ада — и по собственной воле в ад вернувшихся.

«Кровавая купель» Саймона Кларка — роман, который потрясает не только воображение, но и душу. Воскресным утром мир рухнул. Апокалипсис наступил. И выживут только юные. Только прошедшие очищение в кровавой купели войны и убийства.

Следите за серией «Темный город»!

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

107140, Москва, а/я 140 АСТ — «Книги по почте»

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ



**ЛУЧШИЕ
КНИЖНЫЕ
СЕРИИ**



СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Это книги, написанные по мотивам самого знаменитого телесериала планеты, бесценный подарок для всех, кто верит, что мир паранормального ежесекундно сталкивается с миром нормального. Монстры и мутанты, вампиры и оборотни, компьютерный разум и пришельцы из космоса — вот с чем приходится иметь дело агентам ФБР Малдеру и Скалли, специалистам по расследованию преступлений, далеко выходящих за грань привычного...

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140 АСТ — "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ

МИРЫ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ



ЛУЧШИЕ
КНИЖНЫЕ
СЕРИИ

СЕРИЯ

"МИРЫ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ"

Братья Стругацкие... Их знают не только те, кто любит фантастику. Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди - независимо от возраста, образования, убеждений. На этих книгах выросло не одно поколение читателей. Каждый находит в них что-то для себя, каждый черпает из них что-то свое, словно бы предназначенное именно для него. Братья Стругацкие - это "знак качества", фирменная марка, символ и идеал, к которому так хочется стремиться.

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:
107140, Москва, д/я 140 АСТ - "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

ЛУЧШИЕ

КНИГИ

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

◆ **Любителям крутого детектива** – романы Фридриха Незнанского, Эдуарда Тополя, Владимира Шитова, Виктора Пронина, суперсериалы Андрея Воронина "Комбат", "Слепой", "Му-му", "Атаман", а также классики детективного жанра – А.Кристи и Дж.Х.Чейз.

◆ **Сенсационные документально-художественные произведения** Виктора Суворова; приоткрывающие завесу тайн кремлевских обитателей книги Валентины Красковой и Ларисы Васильевой, а также уникальная серия "Всемирная история в лицах".

◆ **Для увлекающихся таинственным и необъяснимым** – серии "Линия судьбы", "Уроки колдовства", "Энциклопедия загадочного и неведомого", "Энциклопедия тайн и сенсаций", "Великие пророки", "Необъяснимые явления".

◆ **Поклонникам любовного романа** – произведения "королев" жанра: Дж.Макнот, Д.Линдсей, Б.Смолл, Дж.Коллинз, С.Браун, Б.Картленд, Дж.Остен, сестер Бронте, Д.Стил – в сериях "Шарм", "Очарование", "Страсть", "Интрига", "Обольщение", "Рандеву".

◆ **Полные собрания бестселлеров** Стивена Кинга и Сидни Шелдона.

◆ **Почитателям фантастики** – циклы романов Р.Асприна, Р.Джордана, А.Сапковского, Т.Гудкайнда, Г.Кука, К.Шашефа, а также самое полное собрание произведений братьев Стругацких.

◆ **Любителям приключенческого жанра** – "Новая библиотека приключений и фантастики", где читатель встретится с героями произведений А.К. Дойла, А.Дюма, Г.Манна, Г.Сенкевича, Р.Желязны и Р.Шекли.

◆ **Популярнейшие многотомные детские энциклопедии:** "Всё обо всем", "Я познаю мир", "Всё обо всех".

◆ **Уникальные издания** "Современная энциклопедия для девочек", "Современная энциклопедия для мальчиков".

◆ **Лучшие серии для самых маленьких** – "Моя первая библиотека", "Русские народные сказки", "Фигурные книжки-игрушки", а также незаменимые "Азбука" и "Букварь".

◆ **Замечательные книги известных детских авторов:** Э.Успенского, А.Волкова, Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто, А.Линдгрэн.

◆ **Школьникам и студентам** – книги и серии "Справочник школьника", "Школа классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все произведения школьной программы в кратком изложении".

◆ Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач, пособий для подготовки к экзаменам. А также разнообразная энциклопедическая и прикладная литература на любой вкус.

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав

БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

по адресу: 107140, Москва, а/я 140. "Книги по почте".

Москвичей и гостей столицы приглашаем посетить московские фирменные магазины издательской группы "АСТ" по адресам:

Каретный ряд, д.5/10. Тел. 299-6584, 209-6601.

Звездный бульвар, д.21. Тел. 232-1905.

Б.Факельный пер., д.3. Тел. 911-2107.

Арбат, д.12. Тел. 291-6101.

Татарская, д.14. Тел. 959-2095.

Лутанская, д.7. Тел. 322-2822

2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.

В Санкт-Петербурге: Невский проспект, д.72, магазин №49. Тел. 272-90-31

Книга-почтой в Украине: 61052, г. Харьков, а/я 46, Издательство «Фолион»

Литературно-художественное издание

Рыбаков Вячеслав
На чужом пиру

Ответственный редактор А.М. Лактионов
Редактор Л.И. Филиппов
Художественные редакторы О.Н. Адашкина, А.Е. Нечаев
Компьютерный дизайн: А.С. Сергеев
Технический редактор С.А. Калинин
Корректор В.Г. Степанова

Подписано в печать 23.03.00.
Формат 84×108¹/₃₂. Усл. печ. л. 21,00.
Тираж 11 000 экз. Заказ № 4285.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

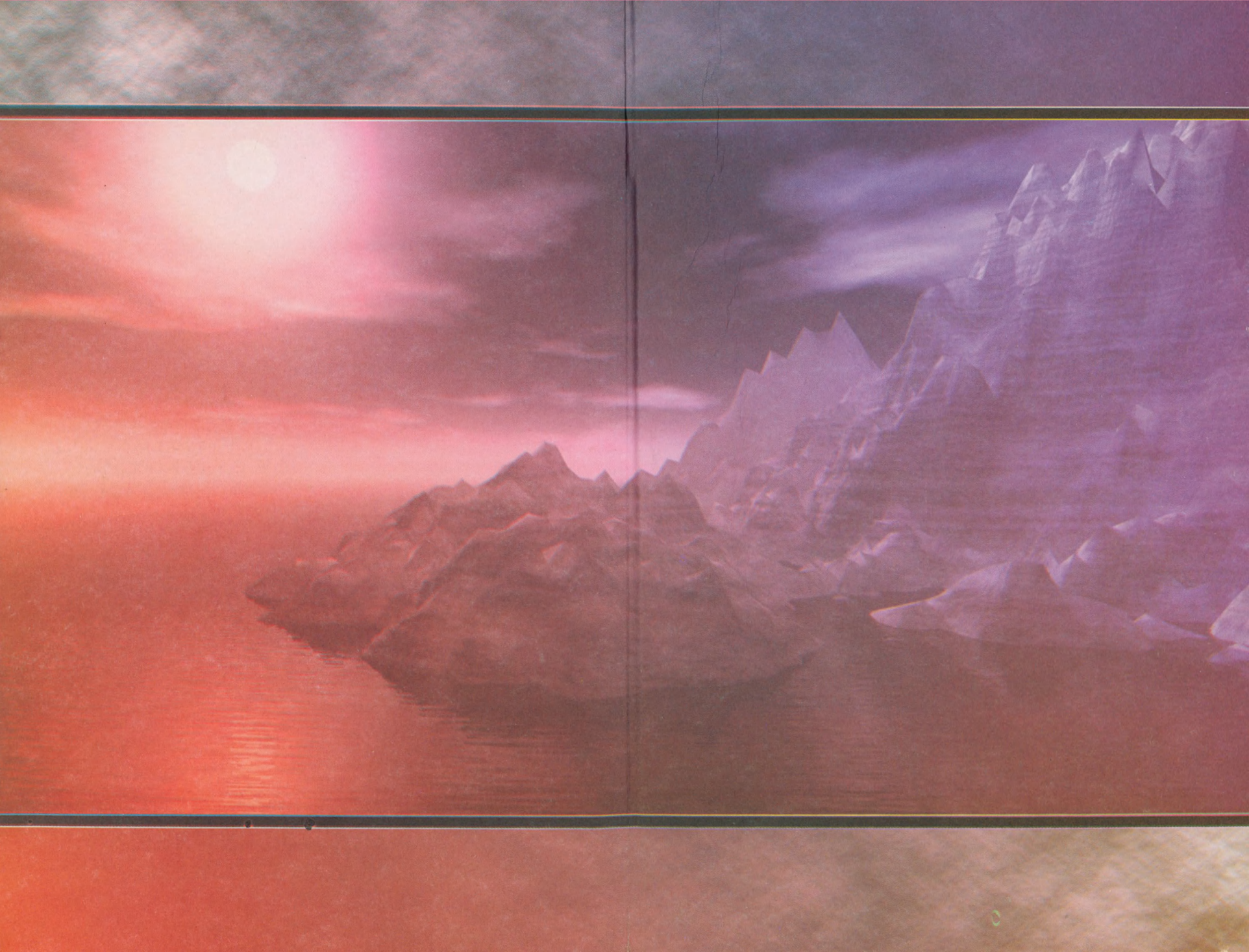
Гигиенический сертификат
№ 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98 от 01.09.98 г.

ООО «Фирма «Издательство АСТ»
ЛР № 066236 от 22.12.98.
366720, РФ, Республика Ингушетия,
г.Назрань, ул.Московская, 13а
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

Издательство «Terra Fantastica» издательского дома
«Корвус». Лицензия ЛР № 066477. 190121,

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 1/44Б.
Электронные адреса:
WWW.TF.RU, E-mail: TERRAFAN@TF.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Госкомпечати России
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.



ISBN 5-237-05438-2



9 785237 054385



Можно ли написать в наше время фантастический роман о любви? А фантастический шпионский роман? Можно — если за дело берется Вячеслав Рыбаков.

«Очаг на башне». «Человек напротив». И вот теперь — «На чужом пиру».

Первая книга — о прошлом. Недавнем прошлом.

Вторая — о настоящем. ТАКИМ оно могло бы стать. ТАКИМ оно не стало.

Третья книга — о том, КАКИМ стало. О недалеком будущем. Нашем с вами — или нет?

Говорят, будто в научной фантастике уже нет новых идей?.. Вот они — в новом романе Вячеслава Рыбакова!..

НА ЧУЖОМ ПИРУ

ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ЛАБИРИНТ



ЗВЕЗДАНЫЙ